

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

8 '89





О. КОКИН
Храм. Из серии «Чудеса Нечерноземья»
Офорт. 1981 г.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ

8⁽⁴¹¹⁾ '89



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

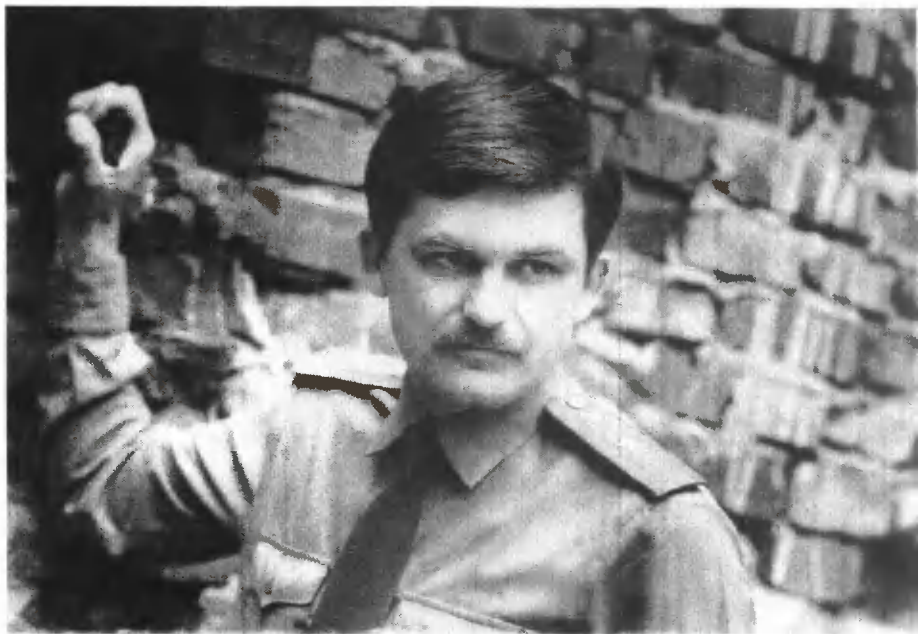
Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Сергей ДЫШЕВ

Сергей Дышев родился в 1956 году на Вологодчине. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище и Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. В 1982—1984 годах, будучи корреспондентом газеты Туркестанского военного округа «Фрунзевец», принимал участие в боевых операциях в Афганистане.

*Дебют в
«ЮНОСТИ»*



Повесть **ДА ВОЗДАСТСЯ...**

Солнце здесь чужое и злое. Оно безжизненное и белое. Такого же цвета земля. Раскаленная земля, похожая на слежавшийся пепел. В полдень воздух становится недвижимым и как будто загустевает. Надвигаешь панаму на брови, но это не спасает, нестерпимый свет выедаёт глаза. В такие минуты чувства умирают, и равнодушие — самое эмоциональное ощущение. Шагаешь медленно вдоль столбов с колючей проволокой. По эту сторону — воинская часть, родная, многострадальная взчэ такая-то, а по ту сторону — все остальное: минное поле, долина, камни, рваная кромка гор на горизонте.

Стоят палатки. Когда-то они были зелеными. Теперь уже стали белыми. Одна палатка — это взвод. Четыре палатки — рота. Стоят они строго ровными рядами, и в каменной долине, среди хаоса гор на горизонте кажутся слепыми и чужеродными. Из-за своей выровненности.

Только вчера рота вернулась с боевых. Припелись все живыми, хотя дважды попали под обстрел. Все как один грязные до черноты, ободранные, провонявшие потом: чуть-чуть до вшивости. В глазах — тупая усталость.

Все это Прохорову вспомнилось, будто что-то смутное и далекое, будто и не вчерашнее. Прохоров слышал, как ротный докладывал потом по телефону: начальство выясняло результаты. На что ротный, выматерившись в сторону, прокричал в трубку: «Главный мой результат — то, что все живы!» Прохоров не знал, что по этому поводу ответило начальство, но молчаливо согласился с ним.

Ротный — тяжелый человек. Он давно разучился разговаривать обычным языком — все время криком. Раз в месяц он обязательно срывал голос и сипел как дырявый пионерский горн. Из-за этого его плохо понимали, ротный делал страшное лицо и распалялся еще больше. Повторять не любил. Когда он терял голос, наступало относительное затишье. Крики взводных и сержантов — просто жалкие отголоски по сравнению с рыком Боева. Прохоров знал, что ротный к тому же давно разучился чему-то удивляться, смеяться или просто радоваться. Эта пугающая перемена произошла с ним после того, как убили его друга — замполита Марчука. С тех пор Боев ожесточился, и брови его никогда не расходились на переносице. Похож он на оготенный комок нервов. Даже спокойно ходить не может: бегают, точнее, даже не бегают, а движутся странными рывками, будто какая-то бесовская сила постоянно подталкивает его. На боевых же он совершенно меняется, становится спокойным, даже неторопливым, и это спокойствие, хочешь не хочешь, передается людям. Только взгляд из-под сомкнутых бровей еще более пристальный, сверлящий, будто ротный все время сосредоточен на одной и той же мысли. Об этой потаенной мысли, которая как нечто пульсирующее и упругое живет под его каской, знает каждый солдат роты. Мысль эта проста, как веревка, за которую держишься над пропастью. Думает же ротный о том, как бы уберечь солдата от пули. А «результат» — как приложится. Однажды командир батальона за это «приложится» при всех назвал Боева сачком. Ротный дернулся, сжал зубы, но смолчал. В строю же один из молодых хохотнул, правда, тут же получил по уху от стоявшего сзади «деда». Вызвали потом этого молодого, Кругалю, на собрание стариков. Хотели дополнительно морду набить, но Прохоров заступился. Не любил он, когда вот так

Фото
Леонида Шимановича

Журнальный вариант.

запросто человека быют. Хотя всыпать салаге не мешало бы. Простили, потому что глуп по молодости. И еще потому что не трус. Был у них один подлец. Зажал в правом кулаке взрыватель и рванул кольцо. Отшибло палец. Орал потом, кричал, каялся, что вроде случайно все вышло. Случайно! Лопухов нашел! В Отечественную войну за такие шутки с ходу к стенке ставили. А эту суку так отпустили. Комиссовали. Сейчас на гражданке кайфует. Да и черт с ним. Прохоров вздохнул, потому что и сам вдруг подумал о доме, о матери и отце. Посмотрел на сбитые на вчерашних боевых руки, задрал штанину. Корочка на колене уже подсохла. Он потрогал ее пальцем. Ну и хорошо. Болит, правда, еще немного. Он поправил штанину и снова принялся за чистку автомата. После боевых — это первое дело. Протер еще раз разобранные детали и стал неторопливо собирать. Щелкнул ствольной коробкой, нажал спуск и поставил на предохранитель. Хороший автомат. Любый афганец подтвердит. Прохоров провел рукой по стволу. Изящная завершенность форм. Мужская игрушка.

Прохоров встал, потянулся, глянул еще раз на черные свои руки с обломанными ногтями и усмехнулся: «Видела бы сейчас меня мама. Вот с такими руками. А ведь с детства приучала к чистоте. Босиком бегал, но каждый вечер обязательно мыть ноги. Как закон... Хотя, какие ноги, иной раз не успеваешь лицо сполоснуть». Он медленно направился к палатке.

У входа на табурете сидит сержант Черняев, замкомзвода, и нараспев, как школьный учитель, отчитывает молодых:

— А кто газовую камеру чистить будет — дядя? Или, может быть, я — сержант Черняев? Забирай, — он швыряет автомат в грудь бойцу.

Тот еле успевает словить. Это Птахин по кличке Червяк — длинный увалень, земляк — с Брянщины, как и Прохоров.

А Черняев уже распекает Кругалю. Голос его занудливый и противный пробирает до самых костей. Ох, и въедливый же черт! Но для молодых он бог: Красная Звезда, медаль «За отвагу». Предел мечтаний! Знали бы, что этот бравый вояка по ночам пишет стихи о любви. И никому, кроме Прохорова, не показывает. Потому что Прохоров молчун и слушать умеет. Но стихи — это так, отдушина для успокоения. Маленькая слабость, сдвиг по фазе. Каждый имеет право на небольшой сдвиг по фазе.

Прохоров отнес автомат в землянку и пошел разыскивать своего лучшего друга Женьку Иванова. Знал его с бесштаных еще времен, потому что родились и жили они в одном селе. Даже хаты стоят напротив. Вместе призывались, вместе написали рапорта и по личному желанию попали в Афганистан. Повезло.

Иванова он нашел в тени у клуба — здорового ангара, в котором, наверное, мог бы поместиться целый дирижабль. Он сидел на камне и занимался любимым делом: строчил письмо домой. Писал он регулярно, как только ротный объявлял «свободу до ужина». Шел к ангару, подкладывая устав и отключался от внешнего мира. Только Прохоров всегда недоумевал: о чем можно писать, если они порой целыми неделями пропадают на боевых? О службе, о нарядах? Если не писать про бои, о чем они договорились в первый же свой день в Афгане, то оставалось лишь рассказывать о погоде, да улыбках миролюбивых афганцев. Сам Прохоров писал два раза в месяц. Одно письмо родителям, одно — Зойке. Получал же за этот срок два от родителей и одно от нее, иногда по три конверта сразу. И первым читал Зойкино письмо. Но сегодня утром получил одно. Зойка оканчивала техникум и в своем письме строила самые серьезные планы на будущую жизнь в городе. Прохоров задумывался, глубоко вздыхал. Не хотелось ему никуда ехать. В колхозе дел хватало, да и родители были бы под присмотром. Старость не за горами. «Ладно, потом разберемся», — думал он и ничего конкретно не писал. Не время пока.

Прохоров молча уселся рядом.

— Чего Зойка пишет? — спросил, наконец, Иванов, не отрываясь от листа.

— Да разное... Про панков каких-то, про концерты, кино... Все хочет в городе остаться.

— Погоди, допишу сейчас, расскажешь.

Прохоров подождал минут пять, но Женька по-прежнему строчил, отрывался время от времени, смотрел вверх и снова черкал кривыми строчками по листу. Взгляд его в такие минуты становился туманным, а лицо выражало напряженную работу мысли.

Прохоров устал ждать и, кряхтя, поднялся.

— Погоди, сейчас закончу.

— Пиши. Пойду флягу наполню. Вот письмо, сам почитаешь. — Он достал сложенный пополам конверт и протянул Женьке. Про любовь там ничего не было, да если б и было, то все равно Женьке можно.

— Ага, хорошо...

Прохоров побрел к «водопою» — огромной цистерне под навесом, открыл кран, сполоснул лицо, потом наполнил флягу. Вода была теплой, с резким запахом хлорки. Он выпил сразу полфляги, на лице моментально выступил пот. Вытираться не стал: бесполезно. Жара...

Последнее время ему часто снились снега: огромные сугробы в полроста высотой, до самого горизонта, там, где неясной кромкой чернел лес. В этих снах его самого как бы не было, но тем не менее он явственно слышал запах снега, чувствовал, как щекощет и укалывает лицо сухая поземка.

Прохоров решил постирать телник, сходил за мылом, но только намочил свою полосатую майку, как мимо промчался ротный, а через несколько мгновений послышался истошный крик «тревога!». Уже получали оружие. Прохоров хотел было кинуться к клубу, но Иванов уже находился в ружейке, отрешенно и терпеливо ждал, пока первые разберут свои автоматы, магазины, гранаты.

Появился старшина роты, стал раздавать сухой паек.

Прохоров привычно бросил в рюкзак банки с кашей и сгущенным молоком, галеты, туда же рассыпью — патроны. Потом сунул в «лифчик» четыре магазина, поспешно рассовал по карманам гранаты и уже напоследок на ощупь проверил, на месте ли медальон — трехкопеечная монета с ушком. Зойка на прощание повесила ему на шею. 1965 года выпуска, тот год, значит, когда они с ней родились.

Строй стоял серой молчаливой массой. Ждали. Появился комбат. Боев отрывисто скомандовал. Строй дрогнул, будто разбуженная змея, выровнялся. Ротный скороговоркой положил, комбат глянул влево-вправо, буркнул «вольно». Строй вновь зашевелился, послышались кашель, вздохи. Потом офицеры собрались вокруг комбата, и по отдельным репликам стало ясно, что тот принялся за Боева, а Боев смотрел в сторону и что-то отвечал сквозь зубы. Прохоров расслышал всего несколько слов: «Люди устали, на пределе, им надо отдохнуть». Но было ясно, что вопрос решен, и решен, видно, командиром полка, а Боеву просто надо излить свою злость.

Наконец комбат махнул рукой, ротный повернулся и своей раскоряченной походкой направился к строю. С минуту он стоял, будто подыскивал слова, и воцарившееся двустороннее молчание, казалось, вот-вот разрядится искрой.

— Через полчаса — вылет, — наконец хрипло бросил он строю.

Прошелестел единый глухой выдох. Кто-то вспомнил чью-то мать.

— Идут все, дембеля тоже... Больные есть?

Женькина спина перед Прохоровым вдруг качнулась, будто Иванов потерял опору. Неслышно шагнул из строя. Прохоров от неожиданности обомлел, а Женька замедленно и неловко повернулся, встал к ним лицом. Смотрел он в сторону блуждающим взглядом, обреченным и спокойным. Он действительно казался больным.

— Что случилось, Иванов? — после долгой паузы спросил Боев.

— Нога... Натер сильно, — чужим голосом отозвался Иванов.

Ротный медленно подошел, встал перед Женькой почти вплотную.

— Покажь!

Иванов стал расшнуровывать ботинок, как назло затянулся узел, он с треском рванул шнурок, сорвал драный носок. Боев склонился, сморщил лицо, покачал головой:

— Да-а, волдырек... Дрянное дело, конечно. Разотрется до крови, а по горам бегать надо, не похромаешь... Верно? Иванов стоял бледный, с нелепо поджатой ногой, и даже издали было заметно, как стекают по его лицу крупные капли пота. Определенно сам не свой.

— Кто еще? — бесстрастно произнес Боев.

— У меня тоже... нога, — послышался голос.

Прихрамывая, из строя вышел Птахин и нерешительно остановился рядом с Ивановым.

— Червяк, а ну, в строй! — сержант всплеснул руками, будто очнувшись, обернулся к взводу. — Вот, сука!

За его спиной зароптали.

— Разувайся, живо! — так же невозмутимо произнес ротный.

— Может, у тебя еще и чирей на ж...? — не унимался Черняев. — Мне через неделю домой — и я иду без всяких. А эта салага еще полгода здесь не служит...

— Черняев, сейчас говорю я!

Иванов и Птахин, каждый в одном ботинке, торчали перед строем, другая нога на цыпочках, утопала прямо в пыли. Боев неторопливо осмотрел покрасневшие немые мыслы Птахина, бросил: «Обувайтесь».

Строй обмяк, зашевелился, но тут откуда-то сбоку хлестануло «отставить», на роту обрушился комбат: высокий лоб искривлен морщинами, губы изломаны жесткой гримасой.

— Трус! — выдохнул он, нервно повел плечами и по привычке выставил подбородок. Потом пружинисто подлетел к совсем приунывшей парочке, вперился поблещшими глазами, будто одним взглядом хотел вытрусить душу обоих.

— Это подлость! — задохнулся комбат. — Подлость к своим боевым товарищам.

— Иванова надо оставить, — раздался тихий и совершенно спокойный голос Боева. — И заменить его кем-нибудь из другой роты. Мои, что остаются на охране, — совсем дохляги.

— Что?! — Комбат отступил на шаг, с высоты своего роста взглянул на коротышку Боева. — Почему другая рота должна расхлебывать за твоих трусов?

— У меня в роте трусов нет. А насчет расхлебывать — мы здесь все расхлебываем. И надо еще посчитать, кто больше нахлебался, товарищ майор!

— Много рассуждаете, товарищ капитан!

Самое смешное в этой перебранке — слово «товарищ».

— А вы, товарищи солдаты, свои волдыри, чирьи и разны там поносы будете лечить дома. Всем ясно?

— Так точно, — вякнул тусклый голос.

— Никого оставлять не будем. — Комбат рубил фразу за фразой. — Поставить в строй не менее восьмидесяти человек. В третьем взводе должно быть двадцать пять. И вы, Боев, пойдете с этим взводом и делом докажете, что у вас нет трусов. Это приказ...

«Вот и все, — подумал Прохоров. — Черта подведена. Одно слово решило судьбу. Но разве комбат ее решает?» Раньше Прохорову казалось, что командир батальона — и бог, и царь, и высший судья, но потом понял, что и он такой же подневольный исполнитель, только стоит на несколько ступенек выше. Еще есть командующий, а еще сколько выше — ого-го! Лампасное право — власть над судьбами людей. Но и оно не последнее... Как все началось — трудно сказать. Густые брови сдвинулись к переносице, невнятно, но веско прозвучало пожелание. И открылись границы, и отправились сотни и тысячи людей на далекую землю... А комбат — что комбат!..

— И смотрите, товарищ капитан, — майор произнес совсем тихо, но слышно было почти каждое слово, — чтобы опять у вас чего-нибудь не случилось. Я имею в виду к рукам не прилипло!

— У меня никогда ничего не прилипает, — громко и хриплоотреагировал Боев. — И будьте уверены, товарищ майор, что с памятью моей тоже все в порядке, и я ничего не забываю.

«Помалкивает пока ротный, — размышлял Прохоров. — Молчим и мы, хотя догадываемся и знаем всю эту историю. Афган научил молчанию. Молчание — производное терпения. Нетерпеливые здесь гибнут первыми. Великая вещь — терпение... А комбат все хочет подцепить Боева на афганах».

С полгода назад рота накрыла исламский комитет. Взяли среди других трофеев кассу: около пятидесяти тысяч «афоней». Был там и старенький магнитофон. Этот магнитофон ротный и решил подарить Савченко. Боевой парень, но ни одной награды не получил, хотя посылал. Вот Боев и вручил перед всей ротой этот магнитофон. С тех пор потянулся слушок, вроде бы ротный к тому же часть «афешек» прикарманил. Сам комбат заварил это дело, потому что после одного случая боится своего ротного и все хочет рот ему закрыть...

— Становитесь в строй, — раздраженно скомандовал Боев. Иванов просунул грязную ногу в ботинок и с носком в кулаке медленно прощажал на свое место. А Червяк поспешно наклонился, поднял ботинок и тоже побрел в строй.

— Разойдись, никому не отлучаться.

Ротный ушел, а на его место тут же выскочил Черняев.

— Стоять, взвод!.. Я не понял, обалдели, что ли, все?

Иванов, какого черта? Трусов у нас еще не было. Ротный правильно говорит. И не будет. Разойдись...

Прохоров остался около Иванова. Тот не смотрел на него, укладывал вещмешок.

Степан вздохнул, поширил по карманам, достал катушечку пластыря.

— На вот, заклей. А хочешь, ботинками поменяемся? У меня попросторней. Носки тебе дам...

— Не надо, — глухо ответил Иванов, но пластырь взял.

Подошел Черняев, долго смотрел на Иванова.

— Какого ты полез со своей дурацкой ногой? — наконец зло выкрикнул он. — Ведь в последний раз идем, Женька! Салаги смотрят на нас. Ты хоть думай!

— Ну, трус я, трус! — Иванов швырнул на землю вещмешок. Лицо его искривлено как от боли, а глаза — суженные, будто сыпануло песком. Только черные зрачки горят. — Это хотите сказать? Говорите. Только все это мне уже осточертело. Не могу! Все, хватит! И катитесь вы к черту. Ротный спросил — я сказал. Болен, да! Катитесь все...

— Сволочь ты! Не думал, что ты такой. — Черняев не на шутку рассвирепел. — Думаешь, мне сейчас охота под пули лезть?

— Ладно, не трожь его. — Прохоров встал между ними. — Иди. Не маленький, сам все понимает.

Иванов махнул рукой, опустился на корточки, закрыл лицо руками. Прохоров заметил, как крупная дрожь, будто судорога, сотрясает Женьку. Никому неохота помирять. Молодые боятся неизвестности, старики — дурацкой случайности. Все по-разному и все одинаково не хотят подыхать. Прохоров хотел добавить что-то помятче, сгладить этот идиотский, нелепый разговор, но уже крикнули строиться, засуетилась, заволновалась толпа цвета хаки, слилась в цельный строй. Угрюмые, невеселые, озлобленные колонны и шеренги.

— На вертолетную площадку бегом, — Боев сделал паузу и, глядя в сторону, гаркнул с протягом, как мужик, понукающий лошадь, — м-мы-а-арш!

Вертолеты ждали на площадке, пыльные, с закопченными бортами, будто не летали в небесах, а, как обыкновенные грузовики, тряслись по здешним дорогам. В «вертушки» погрузились с грохотом и матюками. Потом все задрезбужало, загудело, дрогнула и поплыла вниз пыль на иллюминаторах, машина зависла, снова села, потом двигатель взревел на еще более высокой ноте, вертолет резво покати по «шифферу» площадки, неуловимо оторвался, клонил носом, как насуленный бычок, и пошел, пошел набирать высоту. Прохоров знал, что теперь вертолет накренился на правый борт, в блистерах мелькнули ряды палаток, а слева ворвется ярчайшая синь, потом он выровняется и пойдет на горы. Так все и произошло.

Сейчас все казались похожими друг на друга в своих комбезах цвета светлого хаки, касках, надвинутых на брови, с автоматами между колен. И лица под один стандарт: багровые, облупленные, задубевшие. Вот только в глазах у каждого свое.

Женька Иванов задумчиво смотрит перед собой и, кажется, ничего не видит. Устал он, Женька, от этой жизни. Устал от страха смерти, от опасности, от постоянного напряжения. Вот и сорвался.

А ведь им в запас. Домой! Какое сладкое слово. Прохоров не раз представлял себе в мечтах, как приседет сначала в Ташкент в своей афганской форме и с медалью «За отвагу». Потом — самолетом до Москвы, а оттуда уже в Брянск. Он наяву видел себя среди веселых мирных улиц, черного, просмоленного, дико непривычного в этой праздничной суете. Он ловил взгляды — восторженные, восхищенные, испуганные. Люди, я вернулся!..

Птахин и Саидов сидят рядом, прижались друг к другу. Один — русский, другой — узбек из кишлака под Самаркандом. Оба сейчас на одно лицо. Понятно, чем они сейчас так похожи: круглыми застывшими глазами. Э-э, да тут уже кого-то стошнило. Укачало... со страху. Прохоров пожалел молодых. И особенно Саидова. Даже не пытается сачкануть. Призвали его из глухомани, языка не знает, на все смотрит выпученными глазами. Отправили на подготовку — и в Афганистан. А здесь — автомат, гранаты в руки, впили на борт, потом высадят нсведомо где. А зачем — аллах его знает! Наспех растолковали, куда надо стрелять, как перевязываться... А ясно же только одно: прищипнуть могут ни за что ни про что и фамилии не спросят.

— Саидов, не дрейфь! — прокричал Прохоров.

Тот повернул пустые глаза, наверное, ничего не понял.
— Земляк, а ты чего раскился?

Птахин медленно повернул голову, беззвучно разлепил рот:

— Что?

— Не бойся! — гаркнул Прохоров сквозь вертолетный рев. — Не убьют! Земляку можешь верить.

Птахин кивнул и вымученно улыбнулся. Ну вот и слава богу. Страшно ведь только до первого выстрела, а там уж — дело привычки.

За очередной грядой распростерлась долина с речкой, змейкой блеснувшей на солнце, островки-отмели, зеленые изумрудные поля. Вертолет резко клюнул, по кругу пошел на снижение. Прохоров подобрался, поправил снаряжение, тут вертушка ткнулась в землю, из кабины высочил борт-техник в застиранном комбезе, рванул настежь дверь, прокричал:

— Вперед! Бежать прямо и правее!

Вдруг возникла заминка, и тогда первым вскочил Иванов, прыгнул вниз, за ним — Черняев, потом — Птахин, Кругаль. Саидов застрял, зацепившись ремнем автомата, борт-техник досадливо подтолкнул его, солдат полетел в проем, грохнулся на карачки. Прохоров десантировался последним.

Вокруг свирепствовала песчаная метель, в лицо летели мелкие камешки, с грохотом и свистом продолжали садиться вертолеты, сбрасывали живой груз и, не медля, один за другим, взлетали. Летчики остерегались огня на подлете.

Через минуту-другую все стихло. Стали прозрачными, растаяли в воздухе вертолеты, растворились в голубизне.

Рота собралась в некое подобие строя. Солдаты отплеывались, протирали глаза, говорили тихо, вполголоса.

Прохоров взял автомат наперевес, загнал патрон в патронник, поставил на предохранитель, потом огляделся. Слева затаился кишлачок в нескольких дворах, никого не видно, двери в дувалах заперты, а рядом живые зеленые поля, разбитые на неровные квадраты.

— Нам поставлена задача обнаружить и блокировать банду. — Голос у ротного усталый и даже хрипотца не та, будто отсыревшая. — Численность около сорока человек. На вооружении — буры, автоматы. Все. Разобраться по боевым трюкам.

В тройке Прохорова — Иванов и Птахин. Они с Женькой должны смотреть за каждым шагом молодого. Это недавно придумали такие вот тройки, специально для необстрелянных. А Прохоров с Ивановым до всего доходили своим умом, нянек не было.

— Прохоров!

Взвод уже тронулся тремя колоннами, рассредоточенно, говоря по-военному. Ротный приостановился:

— Прохоров! Через час сменишь Кругаля.

— Ясно.

Речь идет с радиостанции. Тащить ее хорошего мало. Но ведь не откажешься. Радиостанция не просто глаза и уши, а последняя надежда. «Что ж, если в ostatний раз, то можно», — подумал Прохоров и посмотрел на часы. Эх, просидеть бы последнюю эту неделю в части, подправить форму, почиститься, упаковать чемодан. Правда, вез он домой всего ничего: пару китайских ручек, зажигалку отцу и небольшое гранатовое ожерелье, которое в дукане можно купить за бесценок. Это для Зойки. А вот для матери пока ничего не приготовил. Не ручку же ей дарить: что она — бухгалтер?.. Ничего, в Ташкенте можно купить. Главное, чтобы сейчас все кончилось хорошо. Не слазить бы... Ведь не зря же почти два года здесь отпахал, честь по чести, под огнем не раз, ранен, медаль заслужил. Есть же справедливость на свете! Прохоров слюнул тягучей слюной.

Ротный шел впереди, время от времени оглядывался. Лицо потное, блестит как отполированная бронза.

— Прохоров, смени Кругаля, а то отстает.

Он молча стащил со спины Кругаля радиостанцию, буркнул «подсоби». И вовсе не так тяжело. «Ничего... Мы переберемся».

Впереди обреченно тащится Птахин. Он еле волочит ноги, прихрамывает. Жара подавляет. На сгорбленной спине раскачивается вещмешок. «Плохо пригнал, — раздраженно думает Прохоров. — Салага... На привале покажу, как надо...» И еще Прохорова раздражает бульканье воды во фляге Птахина. «Наверно, уже отпил половину. Когда только успел... Не смыслит ни черта, что воду экономить надо. Воду и патроны. Ведь речка давно позади».

Ротный, чувствуется, взведен до предела. На боевых он обычно выдержаннее.

— Прохоров, стой! Всем — стой! Черняев, вышли дозор метров на сто вперед. Скидывай свою бандуру, — обращается снова к Прохорову. — Включай. Умеешь?

Прохоров кивает и начинает настраивать радиостанцию.

— Ну, что там у тебя? Кругаль, где тебя черти носят?

Кругаль подлетает, шустро садится на корточки, проверяет частоту.

— А ну тебя к лешему, отодвинься. — Боев отталкивает радиста, цепляет наушники. — Вот... Ток в антенне. Во, есть! Ноль первый, ноль первый. — Боев негромко матерится. — А! Ноль первый! Мы находимся... — Он хватается для верности за таблицу кодировки радиопереговоров и начинает шпарить одной цифровой мешаниной.

Прохоров понимает, о чем ведет речь Боев. Из-за спины командира он поглядывает в таблицу и шепчет губами. Ротный докладывает комбату, что потерь не имеют и результатов нет — по той причине, что «духов» тоже нет. Потом ротный интересуется, где его два взвода, которыми руководит комбат. На хребтах по обе стороны ущелья их не видно ни в какой наблюдательный прибор. И уже без всякой кодировки добавляет:

— Где вы застряли? — и в сторону пару непечатных выражений.

Потом Боев снова переходит на язык цифр. Прохоров понимает, что он не хочет далеко соваться в горы без поддержки всей роты.

— Все. Связь окончена. — Боев поворачивается к Прохорову и Кругалю и картинно разводит руками. Те на всякий случай улыбаются. — Все. Я в весеннем лесу ковырялся в носу... Привал, орелики. Наблюдатели, занять посты.

Странный он сегодня, Боев. Будто что-то сломалось в нем.

— Рота! Отставить, черт... Взвод, подъем. — Ротный стоит, широко расставив ноги, правая рука на автомате, а левую он упер в бок. Командир — волею судьбы — заброшенных неведомо куда волею судьбы.

— Привал закончен. Черняев — вперед!

Это уже обычный ротный. «Боев на боевых». Глаза цепко осматривают подчиненных, так, что всего лишь один взгляд распрямляет человека. Боев еще раз быстро вглядывается в лица, и если взгляд его, скажем, нельзя сравнить с пинком, то заряд все равно получаешь ощутимый.

Взвод карабкается вверх. Теперь вода во флягах булькает у каждого. У Птахина вообще чуть плещется. Каска раскалилась как консервная банка на костре. Хочется снять ее и швырнуть в пропасть.

А Птахин еле ползет. Прохоров подталкивает его стволом автомата. Карабаются все молча, местами на четвереньках, как большие вооруженные обезьяны. Впереди Птахина — Женька Иванов. Он первый в тройке. Прохоров слышит его хриплое дыхание и сам хрипит в унисон. В первые месяцы его, Иванова, Черняева и других таких же молодых каждый день в полной выкладке гоняли на одну и ту же горюшку. «Штурмовали». Потом кросс. В конце концов ни у кого не осталось ни грамма жиру, а в теле появилось новое ощущение — невесомости. Женька даже одно время курить бросил. Правда, снова начал, когда впервые увидел убитого. Из взвода. Точнее, тот парень, Сомов, был сначала ранен в живот. Разворотило внутренности. Везли его долго, хорошо попался приبلудный ишак. Но по дороге Сомов умер. Его продолжали везти, уже мертвого, и всю дорогу взвод мучился от ужасного запаха склизких почерневших бинтов. А сейчас Женька, курильщик чертов, хрипит, но лезет. Ничего, у него еще вторая дыхалка откроется. Все же не зря их гоняли. Как Женька сам шутит, главное, ему воды не давать, чтоб легче подыматься было... Такая вот боевая тройка. Двое страхуют одного молодого. Взаимовыручкой называется. В бою без этого нельзя. Если кого-то ранят или убьют, оставшиеся двое тащат своего третьего. Если убьют еще и уже некому будет тащить, все равно трупы не оставляют.

Птахин разбил себе ладонь и теперь оставляет на камнях отпечатки крови. Прохоров уже испачкал себе руку, схватившись за такой камень. Но не вытирает ее. Ведь кровь — это не страшно. Страшно, если Птахин повалится и кубарем полетит вниз, а он, Прохоров, не успеет его подхватить. И тогда эту смерть трудно будет себе простить. В Афганистане жизнь и смерть переплетены. И бывает очень просто найти начало чьего-то конца: достаточно вспомнить предшествующие события. «Финал не за горами», — по разному поводу повторяет фразу Женька Иванов. Здесь он научился мрачно шутить и сквернословить. А не так давно сказал с тихой грустью: «Дожить бы, Степа...»

Война предъявляла неумолимые счета. И они оплачивались: кто-то закономерно умирал, кто-то в срок получал награды и звания. И Прохоров не удивлялся, считал, что так, видно, всегда было. Для кого война, а для кого — мать родная. Одни не вылазили из боев, другие отсиживались на складах, снюхивались с дуканчиками и сплавляли им втихари солдатское мыло, табак, крупы... Прохоров тащил на себе распухший труп товарища, завернутый в фольгу, как рождественская игрушка. А кто-то в это время перевозил контрабандную водку: в контейнерах, бочках с горючим. Однажды на границе такую бочку вскрыли, а на поверхности, как листопад на воде, — этикетки. Оттого вся водка в Афгане крепко отдавала бензином. Как мухи на мед, слетались сюда романтичные девицы, отчаявшиеся одиночки и просто женщины, не отягощенные принципами. Прохоров вспомнил, как на днях падал со смеху весь полк: заштопали на таможне «чекистку» Иран из столовой. Говорили, что везла она чемодан чексов, а в присланной оттуда бумаге сообщили, что прятала их даже в «складках кожи».

Разделил Афган людей. И прав был Боев, когда говорил, что честный становится здесь честнее, а подлец — подлее.

— Давай, Птахин, не отставай, — задыхаясь, говорит Прохоров. — Вон заберемся на ту горушку, ротный привал объявит.

Но за той горушкой начинается другая, а Боев и не думает об отдыхе.

— Терпи, Червяк, финал не за горами, — оборачивается Женька. Лицо у него потемневшее, как у растрепанного негра, на лбу налипли волосы. — Не то наши ноги с мозолями под трибунал пойдут. Сами собой потепают.

Прохоров от смеха хрипло кашляет. Птахина поддержка приободряет. И восхождение медленно продолжается.

Боев все же объявляет привал. Все валяются снопам.

— Вызывай комбата. — Боев устало опускается рядом с Прохоровым, достает флягу, со скрежетом отвинчивает пробку. Пьет маленькими глотками.

— Ноль первый на связи, — говорит Прохоров и протягивает наушники.

— Ноль первый, находимся в...

Боев смотрит в карту, называет координаты, а Прохоров мысленно их повторяет, ему хочется запомнить эти цифры, в магической символике которых скрыт этот заброшенный уголок. Запомнить на всю жизнь. Раньше подобных желаний не возникало.

— Не могу без прикрытия, — говорит Боев. — На фиг нужен такой риск? Что? Замок, замок... — Боев срывает наушники. — Хочешь, зараза, чтоб и рыбку съесть и на бабу влезть.

Прохоров догадывается, о чем шла речь. В батальоне придумали условный сигнал «замок». Когда что-то надо скрыть от ушей полкового начальства и вовремя оборвать конфиденциальные радиопереговоры, произносилось это короткое слово. Прохоров понимает, что комбат хочет выиграть время, а Боев, в свою очередь, не хочет отрываться от основных сил. Если же ротный будет ждать комбата, то банда уйдет.

— Я в весеннем лесу пил березовый сок... — Боев задумчиво напевает себе под нос, и песня звучит здесь странно и нелепо. — Замок, замок... — усмехается вдруг он. — А знаешь, Прохоров, по чьей милости под Асадабадом нас чуть своя же артиллерия не накрыла?

— Комбата?

— Верно. — Боев сплсывает. — Все знаете. Вот и в тот раз он мне про «замок» шептал. Потом узнал, что он не доложил командиру полка, что мы давно за перевалом. Про запас, значит, оставил перевал, чтобы потом ловко доложиться. Хитер. Как мы тогда уцелели? — Он бормочет совсем тихо, будто забыл уже о Прохорове. — Повезло. Ладно, выберемся отсюда — все припомню ему...

Он замолкает, потом вдруг резко встает.

— А ну, давай Черняева ко мне.

Ротный достает карту и вместе с Черняевым склоняется над ней, потом быстро складывает и прячет карту в кармане на груди.

— Как настроение? — Боев старается сказать это как можно мягче, пытаясь смотреть на солдат, задерживает взгляд на Саидове.

— Нормально, — мрачно отвечает кто-то.

...Взвод все глубже и глубже уходил в ущелье. Прохорову казалось, что каменные стены сдвигаются и скоро совсем сомкнутся, захлопнутся за ними. Шли по мертвой долине, где не было ни реки, ни кустарника и, уж конечно, цветов.

Да и долиной это место трудно назвать: просто нейтральная полоска между противостоящими хребтами-великанами...

Боев упал первым. Он рухнул плашмя, без звука и без стона, будто внезапно потерял сознание. Прохоров бросился к нему, еще не осознав, что случилось с ротным, но откуда-то сверху громыхнула очередь, Прохоров инстинктивно упал, стащил с себя радиостанцию. Он хотел что-то крикнуть, но слова застряли в горле. Он перевернул Боева и увидел расплывающееся пятно на груди. Ротный был мертв.

Вокруг железным градом зацокали пули. Горячие градинки — отрывисто и вразнобой. Прохоров отполз назад, здесь была низинка. Где-то в стороне страшным голосом кричал Черняев:

— Рассредоточиться! Всем рассредоточиться!

Но уже было ясно: духи засели на склонах ущелья. А взвод лежал открытый как на сковородке. Горы захлопнулись. В какие-то доли секунды Прохоров осознал, что им будет туго, очень туго. Оставалось ждать наших, в худшем случае — продержаться до темноты. Черняев продолжал что-то кричать сорванным голосом, очень трудно разобрать слова, сплошной крик:

— Рассредоточиться... Не лезть... Патроны...

Прохоров осторожно выглянул из укрытия, броском подался вперед, ухватил за ремень короб радиостанции. За камнем в десяти шагах распластался Женька. А рядом на открытом месте — Птахин.

— Червяк, давай сюда, живо!

Птахин приподнял голову.

— Ползком, дурень!

Отчаянно вилась задом и пятась, Птахин сполз в укрытие. На бескровном его лице отчистливо выделялась черная щетинка. Прохоров глянул в круглые глаза Птахина, прикрикнул:

— Не дрейфь! Осторожно выгляни — и наблюдай! А я свяжусь с нашими.

Он повернул короб радиостанции и охнул: в ней зияла рваная дыра. Прохоров растерянно посмотрел по сторонам.

— Капец... Сидим без связи.

— И что теперь? — прошептал Птахин. Он еще ничего не понял, лежал на дне низинки, как на доньшке жизни, втянул голову в плечи, а автомат выставил далеко перед собой.

Прохоров так и не успел ответить. В следующее мгновение тупая волна обрушилась на него, перевернула, бросила с силой. Очнувшись он от острой боли, показалось, кто-то отрывал у него правую руку. Прохоров разлепил глаза. В ушах гудело и свистело, он ничего не слышал. Рядом кто-то копошился, судорожно рвал рукав его куртки. Прохоров скосил глаза, узнал Женьку, потом увидел залитую кровью руку, заскрежетал зубами.

— Потерпи, Прошечка, — шептал одними губами Женька. Он рвал зубами индивидуальный пакет. Наконец вытащил бинт и начал туго замотывать руку.

— Духи, суки, из миномета шпалят, — бормотал он сдавленным голосом. Будто подтверждая его слова, совсем близко грохнул взрыв. Женька повалился на Прохорова. Вокруг застелило пылью.

— Что с Птахиным? — спросил Прохоров слабым голосом и услышал себя будто издалка.

Птахин лежал в той же позе, втянув голову, одной рукой вцепившись в автомат.

— Убит...

— Женька, — прошептал Прохоров, — как же так? Как это случилось так? Нам ведь домой, Женька! — продолжал бормотать он нечленораздельно.

Он горячо шептал про дембель, Союз, про дом, про все далекое, так нелепо отодвинувшееся совсем в иное измерение. И еще не осознавал, что шагнул уже в иной мир, с неестественной логикой, несправедливой и чуждой...

— Ротного убили... И Червяка тоже... Женья! — продолжал лихорадочно шептать Прохоров, будто пытался в этом потоке слов остановить случившуюся несправедливость.

— Молчи, Прошечка... Видишь, я и то уже не трушу. Прорвемся.

— Рацию прострелили...

— Видел.

Иванов закончил перевязку, взвалил на себя раненого, пополз по низине. Прохоров уже очухался, пытался ползти самостоятельно.

— Куда ты меня?

— Сейчас, потерпи. Вот здесь — под скалу ползи.

Прохоров протиснулся в щель. Сверху нависала огромная

глыба. Потом Женька подкатил несколько валунов и полностью закрыл ими щель. Виднелась только голова Прохорова.

— Это чтобы тебя осколками или пулей не задело. Вот... Спереди еще один камушек... А теперь ты как в крепости.

— Женька, мне духов не видать!

— И не надо тебе. Давай свой автомат, все равно стрелять не сможешь.

Иванов заглянул в дыру.

— Не дам.— Прохоров левой рукой вцепился в оружие.

— Ладно, гони тогда патроны. Живее...

Прохоров молча стал вытаскивать боеприпасы, себе оставил только один магазин и гранату.

— Ну, все. Прощечка, крепись. Нам только бы продержаться.

Он быстро рассовал по карманам магазина, гранаты и уполз.

Прохоров постарался устроить раненую руку. Местами через бинты просочилась кровь, он с тупым равнодушием посмотрел на нее, потом повернулся на левый бок. Так было удобней. Рука горела огнем, раскалывалась голова. «Меня контузило»,— подумал Прохоров и провалился в темноту.

Он очнулся, с трудом открыл глаза и не сразу понял, где находится. Потом неловко повернулся, и тотчас острая боль пронзила раненую руку. Прохоров сжал зубы и подавил стон. Когда резкая боль стихла, он вспомнил об автомате и лихорадочно стал искать его рядом с собой, наконец нащупал и успокоился. В норе было совсем темно. Прохорова поразила тишина. «Душманы ушли?! А наших забрали вертушки!» Он похолодел от этой мысли и стал поспешно выбираться из норы. Камни словно вросли в землю. Он уперся ногами, напряг все силы, чтобы сдвинуть булыжник. И вдруг рядом совершенно отчетливо послышался голос. Тут же зазвучал другой — резкий и хриплый. Это случилось так неожиданно, что Прохоров содрогнулся всем телом. По полю шли двое в чалмах, каких-то серых куртках и шароварах, с автоматами наперевес.

Прохоров подтянул рукой оружие, поткнул его магазином между камней. Мушка ходила ходуном. Он вспомнил о гранате, нащупал ее холодную ребристую рубашку и положил рядом... Только сейчас он увидел Иванова. В темноте казалось, что он спал. Смутно белело лицо. Автомат валялся в стороне. Один из бородатых подошел к расprostертому телу, пнул его ногой, потом поднял автомат, забросил его за плечо.

Прохоров до боли закусил губу, в горле клокотал крик, пальцы дрожали на спусковом крючке.

Моджахеды между тем двинулись дальше, один из них снова нагнулся, поднял автомат, бросил товарищу. Тот ловко поймал оружие в воздухе.

«Все убиты? Неужели все?..» Прохоров с ужасом смотрел, как душманы медленно и деловито собирали оружие, как переговаривались, пересбрасывались короткими гортанными фразами. Прохоров стал втискиваться в свой склеп как можно глубже, со страхом вдруг подумал, что духи смогут найти его по кровавому следу. Но двое продолжали неторопливо двигаться по полю, стибаясь под тяжестью навьюченного на себя оружия. Потом они исчезли из поля зрения Прохорова, а когда снова появились, он понял, что подошли они к Черняеву. Он лежал на боку, будто прикорнул после трудного боя. Прохоров хорошо разглядел, что это был именно Саня Черняев — длиннорукий, худой и нескладный. Бородатый опять наклонился за автоматом. И вдруг грохнуло, яркая вспышка блеснула у груди Черняева, будто сам он взорвался от переполнившей его горечи. Взрыв эхом покатылся по ущелью, дробясь и медленно затихая в дальних отрогах гор. Когда рассеялась пыль, Прохоров увидел лишь разметанные взрывом тела. Дрожащей рукой он нащупал маленький горячий осколок, который срикошетил от камня. Он отрешенно посмотрел на него и пожалел, что не убит этим кусочком металла.

Откуда-то слева или справа раздались гортанные, злые крики. Голосов было много, они словно ожили, прорвались из оцепенения. Появились люди. Их было несколько десятков, они сновали, метались у трупов, обшаривали их своими цепкими руками. Несколько человек столпились у тела Черняева. Один, высокий, плечистый, что-то кричал и яростно доказывал, потрясая скрюченными пальцами.

«Что, собаки, не понравилось? Не понравилось?» — даясь от спазм, испугал Прохоров. Он сжал в кулаке свою

единственную гранату, разогнул усики от чеки. «Неохота подыхать в норе»,— подумал с отвращением, сжал зубами кольцо и приготовился. Зазвучали выстрелы, короткие, как хлопки. Он видел, как бородатый подошел к Женьке и в упор выстрелил в лицо. Голова резко вывернулась в сторону, как что-то неживое, нечеловечье. Прохоров зажмурил глаза и сжал кольцо с такой силой, что хрустнули зубы. Он поднял автомат, попытался установить его одной рукой, но оружие не слушалось, заваливалось на бок, и Прохоров понял, что вряд ли сможет в кого-либо попасть. И тогда он уронил голову на камни и тихо заплакал.

Наконец выстрелы смолкли. Душманы подняли и унесли убитых взрывом гранаты, забрали с собой все оружие и скрылись за горой.

Камень, которым был завален лаз, не поддавался, будто прирос к земле. Прохоров уперся ногами, головой и рукой, стал толкать что есть силы тяжелый могучий валун. После нескольких попыток удалось продвинуть его вперед. Выползая пришлось по-пластунски; он протиснулся наружу, встал на четвереньки, оперся на автомат и потом уже поднялся на ноги. В глазах полплыли красные круги. Он прислонился к скале, отдышался, проверил, на месте ли граната в нагрудном кармане. Потом провел рукой по лицу, нащупал под носом твердую корочку крови, стал осторожно оттирать ее ногтями. «Умыться бы». Фляга висела на поясе. На дне бутылки было немного воды. Прохоров отвинтил зубами пробку. Воды хватило на один глоток. Он снова почувствовал слабость и опустился на землю. Какое-то время находился в забытии, очнулся в ужасе: показалось, что кто-то пристально смотрит на него из темноты. Из-за горы выглянула серая луна. В неврном ее свете выделялись бесформенные пятна: тела убитых. Прохоров встал и, шатаясь, побрел к Женьке. Тот лежал в прежней позе с неестественно завернутой головой. Прохоров подошел, остановился рядом с телом, затем обошел его с другой стороны и сдвленно вскрикнул: вместо лица было черное месиво. Он опять затрясся в беззвучных рыданиях и, не чувствуя под собой ног, побрел дальше. Он увидел труп Саидова, раскосые его глаза были наполовину прикрыты, но Прохорова поразило другое: отрубленные кисти рук.

Он шел от одного тела к другому, узнавал погибших, шепотом произносил их имена. Некоторые были раздеты и белели в лунном свете. Страшные черные раны покрывали тела всех несчастных, особенно заметные на раздетых. Сейчас Прохоров наяву восстановил картину глумления, сатанинского куража, когда поверженным приносят посмертные страдания и унижения, выкалывают глаза, отрезают уши, вырывают плоть выстрелами в упор.

Он спотыкался, шатался и медленно продвигался по каменному полю, но в лица убитых не заглядывал, не останавливался, проходил мимо, потом, будто забыв что-то, возвращался и снова брел от трупа к трупу. Он тихо выли и не верил, что остался жив, ему казалось, что он, так же как и его товарищи, давно убит и теперь не сам Прохоров, а окровавленным лицом, израненный, а его тело бродит над полем в скорбном молчании. Слишком страшной была явь.

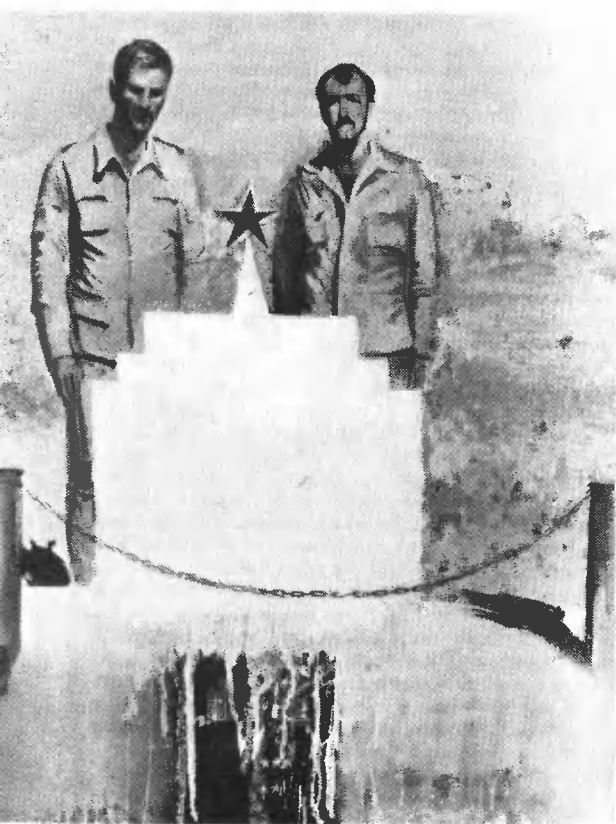
«Вы спите, ребята, спите. Добре все будет. Я ведь тоже с вами. Вы только простите меня, ребята, чуе? Ведь я ж совсем один как перст, зачем меня оставили, как же так?»

Он долго стоял, потом опустился на землю, отдышался, нашел свою пустую флягу, прицепил обратно к поясу, вытащил из норы вещмешок. Там был сухой паек на двое суток. Прохоров еще раз добрым словом вспомнил Женьку, который не забыл и об этом. Как знал... Прохоров нацепил вещмешок на плечо, сверху повесил автомат и побрел прочь. Могли вернуться душманы. До рассвета надо выбраться к своим.

В свете луны влажно блестели камни, нависшие над головой скалы казались еще выше и неприступней. Он с трудом находил дорогу, падал на острые камни, каждый шаг отдавался болью в раненой руке. Он шел в полосе бледного света, и перед ним колыхалась его слабая тень. Голова раскалывалась от боли, лицо, раненая рука, все тело горело огнем. Он понял, что начался жар. Но хуже были муки жажды.

Так он брел очень долго, пока в разгоряченной голове не промелькнула трезвая мысль: надо идти по теневой стороне. Он тут же перешел в тень и двигался теперь почти в полной темноте. Ему казалось, что наши должны быть где-то рядом. Временами ему чудились голоса, приглушенный разговор, он останавливался, сдерживал хриплое

СУРОВЫЕ КРАСКИ БОЛИ



Обелиск



Старик

дыхание, со страхом вслушивался в тишину, потом снова шел.

Время словно перестало существовать. Он смутно видел неровную дорогу, камни, горы, как вздыбленные чудовища. Они заслоняли собой небо, и Прохоров видел только прыгающую луну и помнил свои шаги. Он беспрерывно считал: «Раз, два, три... раз... два... три...» В движении заключалась жизнь.

Под утро он свалился замертво, то ли потерял сознание, то ли вконец обессилел.

Когда очнулся, солнце стояло уже высоко. Он лежал у большого камня. Возможно, в темноте наткнулся на него и упал. Автомат зажат в руке. Прохоров сел и огляделся. Вокруг простиралась, уходила вверх горы. Он нащупал флягу, отвязал ее, потряс, отвернул пробку. На распухший язык сползла последняя капля. «Надо идти!», — подумал и с трудом встал. Руку пронзила резкая боль. Пальцы сильно распухли и приобрели синюшный оттенок. Он решил сделать перевязь на груди. Пришлось повозиться, чтобы скинуть куртку, потом он таким же образом снял тельняшку, оторвал снизу полосу, связал ее в кольцо, надел на шею. Всю эту операцию пришлось проделать одной рукой. Теперь идти было гораздо легче. Рука не затекала.

К реке он вышел через час. Несколько раз Прохоров обманывался, когда видел впереди белеющие известковые породы, с отчаянием думал, что сбился с пути, но наконец вышел к долине. Впереди уже призывно блестела, искрилась вода. Вдох облегчения вырвался из груди, он ускорил шаг, потом побежал, придерживая сползающий автомат и одновременно больную руку. Он бросился к воде, погрузил в нее лицо, стал хватать ее ртом, вода затекала в ноздри, уши, он отфыркивался, хватал по-рыбьи воздух и снова пил. Она была мутной, коричневатого глинистого цвета, но удивительно холодной и вкусной. Наконец он насытился и, как уставший аллигатор, медленно сполз в воду, прямо в обмундировании, в ботинках, повернулся на спину, чтобы не замочить раненую руку.

После купания он почувствовал себя лучше. Ночь помнилась смутно, как во сне, казалось, проводи рукой, и она исчезнет как наваждение, бессмысленная странная ночь, которая осталась только его памятью и ничем иным. Ночь отделяла от еще более страшного и жестокого наваждения,

которое наплывало, подавляло его, он наяву видел лица товарищей, ротного, улавшего плашмя, будто споткнувшегося, Женьку, его горячий шепот, Птахина, застывшего в ужасе... Если он только не сошел с ума...

Он вострепнулся, когда слух его уловил далекий очень знакомый звук, какой-то вибрирующий гул. «Вертушки», — подумал он растерянно. Звук нарастал, обрстал все большую материальную силу, наконец из-за гор выплыли вертолеты, целых четыре пары, пятнистой тритоньей окраски, с красными звездами. Прохорова будто подбросило, он кинулся к реке, на ходу замахал руками, закричал долго, пронзительно «А-а-а!». Но вертолеты ровно продолжали свой полет, деловито прострелотали в стороне от Прохорова и быстро исчезли за горами. Прохоров не поверил глазам. Еще некоторое время он стоял в растерянности, ждал, что хоть один вертолет повернет назад, стремительно клонет вниз, к нему, отчаявшемуся, зависнет сильной громадиной, обдаст жарким воздухом...

Вертолеты не вернулись. И, ни о чем уже не думая, он схватил автомат, вщелкнул, и бегом припустил обратно. Он бежал, задыхался, чувствовал, что вот-вот сердце выскочит из груди, он не успеет, не добежит, умрет на полпути. Он бежал и не чувствовал ног, прошло совсем немного, он снова увидел вертолеты. Они шли на большой высоте, похожие на голубые пылинки. Прохоров рухнул на землю и лежал, пока не успокоилось дыхание. Каменистая поверхность обжигала лицо, он перевернулся на спину, вытащил из-под себя автомат. Он понял, что теперь как никогда свободен, что жизнь его и смерть принадлежат только ему одному. Странное спокойствие овладело им — спокойствие человека, которому некуда спешить.

Прохоров вернулся к реке, развязал свой вещмешок и высыпал его содержимое. Тускло блеснули патроны. Он стрелом в сторону. Положил перед собой банку тушенки, две банки с кашей, банку со сгущенным молоком и пачку галет. Еще — фляга с водой. Цена жизни. Есть еще автомат, и худо-бедно он сможет стрелять одной рукой — лежа или с бедра. Наконец, есть своя граната — на тот, самый крайний случай.

Тушенка вызвала отвращение. Он решил обойтись сгущенным молоком. Патроном пробил два отверстия, жадно присосался к банке. Густая сладкая масса заполнила рот, он



Дорога в медбат

Недавно в нашей редакции прошла выставка московского художника Геннадия ЖИВОТОВА.

Все очень просто. Вещественно и — нереально. Все — зыбко, неопределенно и невыносимо-конкретно. Как сама та война, что легла на нашу совесть тяжелым гнетом нечали, недоумения и стыда.

Никакой эстетизации. Никакого восхищения красотами земли. Не до того — как воину в бою, над пулеметами, на заминированной троне среди гор. И если по старой неспе Высоцкого, то все наоборот, все — против тебя: «ведь это не наши горы, они не помогут нам». И остается только «оставить разговоры, вперед и вверх, а там...».

Картинки, картины... Это боль стиснутых зубов, это отчаяние азарта схватки в предчувствии гибели, это желание запрятать подальше все горькие вопросы, это страх и надежда, сознание небывалой хрупкости собственной жизни. Натужный рокот боевой техники, рев пламени и черного дыма, свист пыльного жаркого ветра. Мертвящая стужа горных ночей. Кровь. Письма. Афганская война.

Я не был там. Могу лишь догадываться. А московский художник Геннадий Животов nobyвал. Увидел. Проник в нечто совершенно-важное, определяющее. Иначе не было бы таких картин.

Теперь говорят: политическая, историческая оценка афганской войны еще впереди. Возможно. Но оценка нравственная той дикой девятилетней войне дана давно. Она в груди народа, в его отношении к афганской драме. Та оценка, что молнией пробил сердца, когда первая «нохоронка» пришла домой а Союз из чужой, далекой горной страны. Эта нравственная оценка а сдержанно-гневных строках журналистов, наконец-то получивших возможность высказать все, в нескольких книгах немногих писателей — непосредственных свидетелей тех событий. Она в картинах Геннадия Животова, быть может, нервного из тех, кто увиденное им лично в Афганистане сумел выразить живописными средствами на картоне и холсте.

На что похожи эти картины, что напоминают они?

Самое первое, внешнее впечатление: репортажные снимки, стоп-кадры кинодокументалистов. Потом понимаешь, что ошибся: картины афганского цикла Г. Животова несут в себе нечто гораздо большее, чем эмоциональный отклик или усвоенную информацию. Их внутреннее содержание при всей ясности и традиционности формы несравненно богаче и объемнее короткой кинофотоцитаты. Это скорее всышки воспоминаний в отблеске далекого разрыва, куски страшных снов, от которых человек просыпается среди ночи и долго сидит в темноте.

глотал ее с наслаждением, ощущал, как она обволакивает язык, горло.

«Мы летели в южном направлении,— прикинул он,— значит, двигаться надо на север». Прохоров посмотрел на запотевший циферблат часов, покрутил колесико. Часы стояли. Когда купался, попала вода.

К полудню мысли его стали путаться, вода не спасала, жаркий блеск ее казался расплавленным металлом. Голова раскалывалась от боли, пайаму и каску он потерял в бою. Он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Прохоров силов спустился к воде, намочил голову и лежал, не в силах подняться. Когда он все же выпрямился, то остолбенел: впереди зеленели поля, будто из миража возникли глинобитные домики, дувалы. Прохоров даже разглядел фигурку в поле. Он испуганно присел и, согнувшись, побежал прочь от реки. За излучиной он остановился, пришел в себя. Здесь он невидим. Но любой встречный тут же заметит его, закричит пронзительно, кишлак оживет, загудит многоголос, выбегут черные люди с ружьями...

Маленький кишлачок был опасен не меньше, чем безжизненная горная пустыня. Потому что теперь Прохоров — волк, который стороной обходит жилище человека. У него нет ни друзей, ни союзников, и только ночь он выбирает в спутницы. Он смотрит на мир глазами зверя — раненного, затравленного, но еще опасного. Он жил в перевернутом мире.

Когда кишлак остался далеко позади, Прохоров выбрал себе место для отдыха. Под скалой находилась естественная ниша, очень похожая на вчерашнее укрытие. Он каблуклом раздавил скорпиона и лег прямо на землю. Предстояли долгие часы ожидания. Теперь многое становилось на свои места. Он понял, что идти ему можно только ночью и только в редких случаях днем. Он должен остерегаться заминированных троп, ядовитых пауков, змей, камнепадов. Ему грозила смерть от жажды, солнечного удара, голода. Но самой опасной была встреча с человеком, с кочующей душманской бандой, даже с ребенком.

Пока Прохоров шел, думал только о дороге. Но теперь вчерашний день вновь встал перед глазами. Он наяву видел страшные картины, слышал грохот взрывов, визг пуль, треск очередей: звуки боя, как шквал, поднялись из ниоткуда и обрушились на него. Надрывный непрекращающийся звон

поплыл в голове, будто рядом только что рванула мина, как в тумане зазвучали голоса, раздробленные очередями и эхом, страшные, неживые голоса. Сержант Черняев отдает последние команды, и его сорванный голос заглушает своей мощью торжествующие крики врага. Он уже знает, что уйдет из боя последним, как командир гибнущего корабля. Он готов устроить врагам последний салют. Женя Иванов умирает от ран в своем окопе и уносит тайну о своем друге солдате Прохорове. А рядом — уже окоченевший труп капитана Боева. В его лице застыли печаль и досада, а брови на переносице так и остались сомкнутыми, будто ротный по-прежнему озабочен своей тайной мыслью.

Прохоров видит, как враги кромсают, режут, истязают мертвые тела — тела его товарищей. Зеленый день становится цвета крови. Прохорова трясет крупной дрожью, он царапает камни, рвет их, будто эта земля и эти камни — причина его ужаса. «Всех, всех порубили, звери, нелюди... Что же теперь будет, что же будет?»

Он катается по земле, а солнце продолжает безучастно палить над головой, жаркое и безразличное. «Никогда ты не дембельнешься, Женя, ты навечно в солдатской форме! И ты, Саня Черняев, и все вы, ребята, Саидов, Птахин, Кругаль... Все вы теперь навечно призванные. Только что я скажу твоей матери, Женя? Разве то, как ты спас меня, а я даже не смог закрыть твоих глаз, потому что глаз уже не было? Не поймет меня она и не простит. Прощают только мертвых. Но им ни к чему прощение».

Когда стусились сумерки, Прохоров выскочил из своего укрытия, согнувшись, пробежал к реке, упал на сырые камни и долго пил воду. Он вытер с лица холодные капли, почувствовал, что сразу отяжелел, размяк. Потом вернулся на свое место, неторопливо собрал консервы, патроны. Он подумал, что жажда отупляет человека гораздо быстрее, чем голод, и представил, как его загустевшая и обезвоженная кровь медленно, тягуче пульсирует в капиллярах головного мозга, как затухают удары сердца и тело его постепенно засыхает под солнцем на середине пути к перевалу. Коричневая мумия скалила ему зубы.

Когда совсем стемнело, он отправился в путь.

Через два, а может, три часа Прохоров понял, что русло реки неуклонно поворачивает вправо. Он остановился. Если идти вдоль реки — отклонись от курса, а кроме того,

И когда всматриваешься пристально в напряженную пластику, а угрюмые образы персонажей на картинах Геннадия Животова, а эти резко, условно и сильно написанные лица людей — наших солдат, десантников, вертолетчиков и их противников — душманов, которые теперь, с наступлением новых времен, обрели и новые свои подлинные названия, — понимаешь ту громадную разницу в раскрытии внутренней сущности явлений, что лежит между способностью фиксировать факты стеклом фотообъектива и возможностью постигать глубинные связи фактов, чувств и вещей живым глазом художника.

Художник приветствует прошедших через афганский ад, он сострадает и протестует — как умеет, на своем языке.

Он не просто осуждает войну, как неприемлемый способ разрешать людские противоречия. Он проклинает ее. Как величайший грех и абсурд. Как преступление, затеянное теми, кто не желает искать другие доводы в споре идей, кроме истребления себе подобных. Потому в иных его картинах, таких, как «Цветы для президента» или «Мальчики играют в войну», звучат ноты презрительного, уничтожающего сарказма по адресу тех, кто в беспилин полновластия приказывает своим сыновьям учиться убивать.

Вспышки воспоминаний. Встречи, которых не забыть. Шпрокми, уверенными мазками кисти они сохранены навсегда. Множество мыслей и чувств вызывают картины «Дорога в медбат», «Полдень», «Арест» и в особенности картина «Тяжелое ранение», быть может, лучшая в серии. На этом холсте, вероятно, предельно концентрированно выражено и запечатлено неизъяснимое: ужас безмерного страдания молодой погибающей души, отлетающей из искореженного войной человеческого тела — в иаллшем чужом солнце, на непужной безвестному солдату чужой земле.

Недолго пробыл в Афганистане Геннадий Животов. Он не принимал участия в боевых действиях. Но увидел и понял художник многое. И самое главное, чтоarezалось в его сердце и отразилось в его работах, — это осознание обреченности и бессмысленности насилия, это резкое, органическое неприятие самого воздуха войны и вражды, в котором делается столь условной, столь призрачной, столь беззащитно-уязвимой сама святость человеческой жизни.

Наверно, потому его картины так похожи на глаза воинов-афганцев», в которых навек застыла сухая печаль неизбывной душевной муки. Глаза, каких не спутать ни с чьими.

Ф. ВЕТРОВ



Колонна

вперед — сплошь кишлаки, густозаселенная зона. Но сколько можно протянуть без воды, если двинуть напрямик через горы?

Так ничего и не решив, Прохоров осторожно опустился на карачки и стал пить воду. Сейчас он остро почувствовал привкус глины, но вода не теряла от этого своей живительной силы. Прохоров, подобно пустынному верблюду, запасался влагой впрок...

Он не знал, сколько времени спал, — солнце стояло уже высоко. Прохоров перекатился на спину, осмотрелся, потом осторожно откашлялся. Здесь царствовала застывшая прозрачная тишина, которую волен нарушить только сам. Серые, коричневые обломки, валуны устилали склоны гор. «Кто их здесь разбросал?» — подумал Прохоров. Только сейчас он услышал странный, но очень знакомый звук. Посмотрел на руку: его часы снова шли. Это маленькое событие приятно поразило Прохорова.

На вершине горы он огляделся. Вокруг тянулись невысокие горы, пнястые от верблюжьей колючки, округлые, как огромные кочки. Прохоров всматривался в них, пытался угадать, в какой стороне находится его полк. Но повсюду на линии горизонта виднелись лишь крошки гор. Вдруг ему показалось, что на склоне соседнего хребта движутся небольшие черные точки. Несомненно, это были люди. Вскоре они приблизились настолько, что Прохоров сумел разглядеть их бородатые лица. «Одиннадцать», — подсчитал он. Шли они цепочкой, наторопливо, но размеренным темпом, как люди, которые знают свои силы и берегут их в долгом пути. Первый, перепопсанный лентами с патронами, нес на плече ручной пулемет, остальные были вооружены автоматами. Группа безмолвно прошла в нескольких десятках шагов от Прохорова и так же тихо скрылась за горой. Прохоров перевел дух и опустил автомат. «Была бы целой правая рука», — подумал с горечью, — расквитался бы за ребят».

Он съехал по щечке вниз, развязал вещмешок, достал сначала тушенку, но тут же сунул ее обратно. Взял банку с кашей. Потом отсоединил крышку ствольной коробки автомата и острым ее углом вскрыл консервы. Каша была с мясом. Он проглотил ее, голод заглушил все другие чувства. Теперь предстояла неприятная, но необходимая процедура: перевязка. Он достал из кармана индивидуаль-

ный пакет, оторвал зубами край прорезиненной оболочки, потом размотал почерневшие бинты. Они ссохлись и приклеились к ранам. Сейчас Прохоров смог точно определить, что у него три осколочных ранения. Он сжал зубы, рванул присохший бинт. Тут же потекла кровь. Выматерившись вполголоса, он по живому отодрал бинт и с других ран. Одна дырка была выше локтя, две другие — ниже. Он закусил губу и начал быстро и туго наматывать бинт, сквозь него тут же просачивалась кровь. Жаль, бинта оказалось мало. Он подобрал грязный заскорузлый бинт и тоже наматал его на руку. Потом вытер слезы и лег передохнуть. Раны горели огнем, будто их посыпали перцем и продолжали берсердить. Во рту пересохло. Кляня себя, Прохоров открыл флягу, сделал глоток. Воды оставалось меньше половины.

«Как быстро меняются привычные ценности, когда остаешься один на один с природой. Самое главное, оказывается, не долг перед обществом, а вода и пища. Скоро мои скудные запасы подойдут к концу, и мне останется только лечь и умереть. Меня не спасут ни вера в какие-то идеалы, ни мое школьное образование, даже автомат не спасет, ибо не в силах высесть из камня две простые вещи: хлеб и воду».

Прохоров почему-то вспомнил, как однажды Боев ни с того ни с сего привел роту в клуб. — «Сидите и смотрите телевизор. А то совсем озверееете». Он еще сказал, что кино — это вранье, а тут хоть жизнь увидишь. Сам сел среди солдат и время от времени отпускал реплики. Передача была о комсомоле. Рота по-злому гоготала. А потом показали какого-то студента, не то театрального, не то кинематографического института. Он все старался убедить, какая тяжелая работа у актера. Боев выругался: «Трудно тебе, бедняга», — и добавил: — Во всем полку нет ни одного сына начальника. Одна рвань колхозная, пролетариат!» Черняев поддакнул: «Губы писой сложил, толстозадый. Сюда б его на отды!»

Пока не обрушилась жара, Прохоров решил идти. Он снова карабкался по склону, снова обдирал руки, ранки покрывались пылью, но он даже не замечал их. Он в сердцах клыл все эти катаклизмы, которые миллионы лет назад вздыбили поверхность земли, ругал последние словами все эти горы, перевалы, ущелья и каньоны. Он чувствовал, как ярость прибавляет силы, зло рассмеялся, закашлялся, стал изрыгать проклятия нечеловеческому зною, невыноси-



Тяжелое ранение



Арест



Полдень



Мнопокатели

Смотрите третью страницу
нашей вкладки

тому климату, всему этому богом забытому Афганистану, который столько уже унес жизни и исковеркал судеб. Он хрипел матерщиной во весь голос, и эхо нецензурно отзывалось ему. Он клял «борцов за ислам», моджахедов, которые не добились и так и не могут добыть его, и потому он назло всем и наперскам выживет, выйдет к своим. Прохоров исчерпал запас ругательств и стал проклинать свою незавидную долю, голос его уже сорвался, как бывало у ротного, хрипел, переходил на свистящий шепот, он задыхался и все чаще останавливался, пока не рухнул плашмя. Автомат слетел с плеча, гулко цокнул о камни, а сам Прохоров кубарем, как бревно, покатился вниз. Он с размаху ударился о валун, долго лежал, потом с трудом встал, подобрал автомат и побрел искать тень.

Им овладела глубокая апатия. «Вот так умирают от жажды», — думал Прохоров равнодушно. Он лег, повернулся на бок, чтобы не видеть раскаленного неба, уставился взглядом в камень. «Выпить последние капли — и умереть. Никто меня не неволит. Я как никогда свободен в выборе: жить или умереть, встать и снова идти, или навсегда остаться у этого камня». И что смерть? Эта земля хранит в себе немало чужих останков. Древние македонцы, моголы, англичане... Многие шли этим путем...

«Когда со временем побелеют и мои кости, — отрешенно размышлял Прохоров, — случайные путники будут думать: вот останки несчастного, видеть, не дошел до источника. И не придет им в голову, что человек сам сделал выбор и сам ушел из жизни, легко и спокойно, как исполнивший свой долг и оттого ставший свободным. Я два года выполнял долг и теперь свободен, теперь имею право распорядиться собой. Выпить последние капли, как сто грамм перед казнью, и...» Прохоров посмотрел на автомат, потом полез в карман, вытащил гранату. Запал находился в нагрудном кармане. Он пошарил — вытащил и его. Вместе с запалом выпал маленький осколок металла. «Как он попал ко мне? Наверное, сунул машинально». У осколка были острые края. Прохоров близко поднес его к глазам и внимательно рассмотрел неровные зазубрины. «И Сашкина граната меня не задела...»

Он лег на спину, поправил распухшую руку. В раскаленном небе плавилось солнце. Прохоров прикрыл глаза и сонно подумал: «Язык — как пятка». В его воспаленном вообра-

жении появилась река. Совсем другая — река его детства, со студеной прозрачной водой, черным омутом. Он видит бережки в зеленой мокрой траве, поросшие явором и упругим кустарником, за который так удобно хвататься, когда опускаешься на илистое жирное дно. Он наяву чувствует студеные волны, дуновение ветра и рябь от него... С противоположного берега боязливо спускается к воде коровы, переваливаются тяжело, покачивая выменем.

Вода была кристальной, осязаемо-прохладной. Прохоров видит, как солнечные зайчики дрожат на дне реки и темные спинки плотвы шевелятся среди водорослей. Они на пару с Зойкой собрались купаться. Она быстро скидывает платье и неторопливо, в чем мать родила, заходит в воду. Она почему-то любила купаться нагишом. Он же стоит в своих черных сатиновых трусах и очумело смотрит на нее.

— Ну, чо зенки вылупил? — весело кричит она. — Ходи сюда!

— Бесстыжая... — выдавливает он восхищенно.

— Чи ты меня голый не бачив?

Он замечает, что говорит она сейчас по-ихнему, по-деревенски. Хотя давно уже взяла моду выражаться по-городскому. И его все учила, как надо разговаривать. «Так, як у телявизоре?» — спрашивал он. «Эх, ты, темнота. А еще отличник...» — важно отвечает она. — «Как в телевизоре» надо говорить, ты — «У телявизоре». — Тогда уж «по телевизору», — смеялся он.

Они плавают от бережка к бережку, Зойка громко фыркает и как бы невзначай задевает его своим скользким русалочьим боком.

— А если хто придет сюда? — спрашивает он, оглядываясь по сторонам.

— Ну и что с того? Прогонишь. Ты ж умеешь...

Она сидит на бережку и выжимает свои соломенные волосы. Тело у нее белое, пышное, а руки и ноги до колен — загорелые. Оттого кажется, что Зойка сидит в гольфах и длинных перчатках.

Он деликатно отходит за кустик, поворачивается к ней спиной и выкручивает трусы. Зойка неторопливо и, кажется, неохотно одевается. Потом он провожает ее до хаты, она что-то рассказывает ему по пути, затем они целый час прощаются и при этом много целуются, укрывшись в тени палисадника.

Подружились они после школы, когда закончили параллельные десятые классы. Зойка — с Заречья, Степка — глазовский. Отца ее, дядьку Петра, электромонтера колхозного, он хорошо знал.

Старшая сестра Зойки в райцентр подалась, уборщицей устроилась, замуж вышла. Словом, культурной стала. Звала к себе и Зойку. Но Зойке трыпку всю жизнь выкручивать не фартило, и поступила она в техникум на бухгалтера.

Потом ушел Степка в армию, а она ему из города письма шлет.

...Прохоров чувствует влажное дыхание реки. тянется к фляге. Из нее шибает спертый, гнилостным запахом. Он смачивает потрескавшиеся губы, жадно выпивает остатки воды и не чувствует ее вкуса.

Он смутно помнил третьи и четвертые сутки, потому что двигался в основном по ночам, огибал стороной кишлаки. Однажды он проснулся и совсем рядом увидел дехканина. Тот деловито ковырялся на поле. Рядом уступами примыкали другие поля, огражденные и поделенные дувалами на прямоугольники. Как соты в пчелином улье. И в этих «сотах» тут и там копошились фигурки людей, очень похожие на пчел. Прохоров, затаив дыхание, следил за ними из кустов. Дехкане копошились в земле, осторожно переступали, мерно взмахиwały мотыгами. Он с волнением и жадностью взирал на этот почти первобытный труд на непривычных ячейках-полях. Дехканин иногда останавливался, вытирал пот, смотрел куда-то вдаль, потом снова склонялся к земле.

Прохоров почувствовал острое щемящее чувство, но не воспоминания подтачивали душу, а странное ощущение безвременья, бесцельности и бессмысленности своего положения. Он превратился в бродячего пса, который с ненавистью, тоской и страхом следит из-за угла за чужой жизнью.

«Почему. как преступник, прячусь в кустах в этой далекой и чужой стране, за тысячи километров от своего села,— изнурился себя мыслями,— почему скитаюсь, будто нет у меня ни роду, ни племени? И что это за долг такой перед афганскими дехканами, если он никогда не брался взаимно? Почему же его надо возвращать? Кто виноват, что брат по классу, простой дехканин, стал врагом для сына крестьянина Степана Прохорова, хотя не нужны ему его земля, дом или жена?» Ведь эти же люди, любовию возделывающие землю, тотчас побросают свои мотыги, едва увидят пришельца с оружием, достанут старинные «буры» и современные «калашниковы» и кинутся убивать его. Потому что нет ничего страшнее крестьянина, которого оторвали от земли и не дали взамен ничего, кроме оружия и веры в несуществующих идолов.

Однажды он слушал афганца-дехканина. Тот рассказывал, а таджик из соседнего взвода прсводил: «Вот, Захир-шаха прогнали, Дауд пришел. Сказали: Захир-шах — плохо, Дауд — хорошо. Прогнали его, говорят: Дауд — плохо, Тараки — хорошо. Потом уже Амин — хорошо. А теперь Амин — плохо, Кармаль — вот хорошо. А почему плохо или хорошо, никто не знает».

«Афганец не знает. А мы, выходит, знаем, раз пришли сюда», — подумал тогда Прохоров.

В дувале песчаного цвета неслышно отворилась дверь. Появилась черная тень без лица — женщина в парандже. На голове она держала кувшин, а в руке — узелок. Женщина семенила еле уловимыми шажками и потому не двигалась — плыла по невидимой тропинке. Она приблизилась к дехканину, который продолжал ковыряться на поле. «Трактор бы сюда», — подумал Прохоров и посочувствовал старику. А может, вовсе не старик был этот дехканин в грязно-белой чалме и шароварах. Лицо — испрошенная морщинами, опаленная солнцем. Не разгадаешь чувств на этом лице, таком же бесстрастным, как горы, застывшие, молчаливые. «И жена твоя такая же старая и изношенная, как и ты... Хотя, быть может, сидит в хате и другая, помоложе», — подумал он. Женщина поставила на землю кувшин, развязала узелок и достала оттуда лепешку и пиалу и сразу ушла. Старик расстелил коврик, опустился на колени и принялся за намаз. Прохоров безучастно наблюдал, как афганец отбивал бесконечные поклоны, наконец это зрелище утомило его, он опустил голову на землю. Потом дехканин поднялся, сел и принялся поглощать свою нехитрую еду. Он медленно отламывал кусочки от лепешки и запивал их водой из кувшина. Прохоров слотнул слюну. Зрелище было невыносимым. Рядом напоминал о своей тяжести автомат.

Вспомнилось Прохорову, как с отцом ходили они на косо-

вицу. Вставали на заре, наскоро завтракали и шли туманной улицей на луг. За плечами — хорошо приправленные накануне косы. Взмахнешь разок — звон стоит. А к полудню на луг приходила мать, приносила холодец, пустой щавелевый суп, сало, черный хлеб, цибулю. И не было ничего лучше простой этой еды.

Ночью Прохоров пробрался на поле, рвал впопыхах неспелые колосья пшеницы, шелушил их и жадно глотал зерно.

На пятые или шестые сутки Прохоров окончательно потсрлял чувство времени. Иногда ему казалось, что он движется по большому бесконечному кругу. Особенно это чувство усиливалось ночью, когда лишь по однообразному похрустыванию гравия можно было судить о своем перемещении в пространстве. И только звезды, яркие и неподвижные, тихо мерцали, пугая своим безмолвием и вечностью. Он шел, будто по гигантскому барабану, который вертелся у него под ногами и механически расстилал новые бессмысленные километры пути. Когда была съедена банка тушенки — последнее из запасов, — он разорвал вещмешок и сделал из него нечто наподобие колпака для защиты от солнца...

Один раз мимо него торопливо прошел одинокий путник. Прохоров затаился и вдруг ощутил непреодолимое желание убить его, завладеть сумкой, а труп спрятать в камнях. Но человек уходил, Прохоров провожал его взглядом, пока тот не скрылся. В другой раз он опять видел вооруженных людей. Он не знал, кто они были, на чьей стояли стороне. В это время у каждого была своя правда и каждый отстаивал ее беспощадно и немилосердно. Но хоть звучала эта правда по-разному, все же в общем-то значило одно и то же, ибо выражала главные ценности человека, то, чего он хотел: право на жизнь, землю и хлеб. Но люди продолжали искать различия в своих истинах. Была и у Прохорова своя правда, пожалуй, сейчас самая простая: выжить. Плен как вариант для выживания исключался.

...В этот обморочный день привиделся ему Женька. Будто стоит он перед ним, лежащим, и вдруг как закричит: «Осколки тебя, Прошечка, поранит, дай закрою тебя камнями». А Прохоров мычит, слова произнести не может, а сказать хочет, мол, не надо, Женечка, ведь не ранен я вовсе. Но Женька уже камнями тяжелыми его обкладывает, только глухие удары и скрежет слышны. «А теперь,— говорит ему,— давай свой автомат. Нам пригодится». И протягивает руку, близко-близко так, прямо к лицу Прохорова. А он все никак не может разглядеть лицо Женьки, все тот норовит боком стать, будто прячется. Тишина вокруг стоит, будто бой вдруг оборвался, и ушло все куда-то, как вода в песок, только они вдвоем остались. «Давай,— повторяет он,— свое оружие. Не бойся, не пропадет». И тут будто бы прорвало Прохорова, свой голос слышит: «Постой, Женья, ведь если я отдам автомат, то потом духи заметят, что оружия больше, чем всех вас, понимаетесь, на один автомат больше, и сразу начнут искать меня». Тогда Женька отпускает автомат, медленно поворачивается и уходит. Он хочет крикнуть: «Стой, вернись!» Но Женька сам оборачивается и говорит негромко, но так, что каждое его слово Прохоров кожей чувствует: «А знаешь, мы ведь погибли потому, что нам не хватило одного автомата». И он впервые видит его лицо, но не лицо это, а сплошная кровавая маска. Странно, почему-то он не удивляется этому, будто бы знает, что так и должно быть. Только холодная мысль проскальзывает, будто сквознячок по краску сознания: «Откуда он знает, что погибли?» И ослепляет догадка: «Вот зачем Женька просил автомат! Видно, у кого-то из наших оружие пулей разбило». Он чувствует, как ужас заползает в душу, и просыпается... Бешено колотится сердце, во рту — кисловатый привкус крови. Прохоров глубоко вдыхает горячий воздух и наконец понимает, что отключился на самом солнцеспеке.

«Странно, что я жив», — подумал вдруг с тупой тоской. Только сейчас он признался самому себе, что потерял ориентировку и окончательно заблудился в «каменных джунглях», что обманула его «путеводная звезда» и сам он себя обманывал, когда заставлял идти вперед. Засушенный человек унылостью отвердевший улыбкой...

В такие часы ясного сознания Прохоров пытался определить, сколько же дней он выбирается к своим. Неделю? А может быть, месяц? В последнее время он смутно напоминал себя ползущим по хлебному полю, пьющим воду из ручья... Все это могло быть игрой горячего воображения; единственно материально сущей была лишь шатающаяся

ся под ногами дорога. И еще одно воспоминание: ночью на окраине какого-то кишлака на него набросилась собака. Она подняла иступленный лай, и Прохоров спасался от нее бегством. Стрелять он не рискнул, отбивался камнями, пока наконец собака не отстала.

Под утро он проснулся, во сне показалось, будто кто-то тянул его за руку. «Что?» — хрипло вскрикнул он. Над ним возвышалась черная тень. Прохоров сжался, чувствуя, как замирает, проваливается сердце. Тут же раздался резкий голос, и он с ужасом понял, что это не снится, что случилось страшное: душманы! Прохоров дернулся за оружием, но рука наткнулась лишь на голые камни. Его движение рассмешило неизвестных. Они стояли вокруг него в непринужденных позах, спокойные, удалые отшельники войны. Степан оперся на здоровую руку и сел. Их было не больше десяти, потемневших от солнца и ветров, в серых, истертых одеждах. Такие же, как и он, бродяги афганских гор. «Выследили!» — мелькнула лихорадочная мысль.

Прохорова резко подхватили, поставили на ноги, сильные и ловкие руки оцупали его карманы, вытащили гранату. Потом подтолкнули в спину: иди. И он пошел, не чувствуя своих ног, будто во сне.

Моджахеды шли быстрым пружинистым шагом, ловкие, сильные, уверенные в себе враги. Прохоров вынужденно подчинялся темпу, идущий сзади слегка подталкивал его в спину автоматом. Кажется, это был его родной АК. Степана преследовал чудной запах — смесь едкого пота и дыма костров. Враждебная среда замкнулась, оторвала его от мира и теперь подавляла и постепенно уничтожала. Он двигался машинально, как оглушенный, внезапное пленение отравило разум, словно приторным дымком гашиша. Им овладела полная апатия, редкие мысли о ближайшем будущем вспыхивали и исчезали, будто обрывались, скатывались в пропасть. Он смутно стал понимать, что умрет, непременно умрет, и чем скорей случится это, тем лучше будет для него. Воля к жизни рассыпалась на осколки, будто со всего размаху, со всей оставшейся силой налетела на непреступную стену. Все было тщетным. Каждая капля пота, каждый метр пути шаг за шагом вели к плену.

Прохоров часто падал на каменную тропу, разбивал ладони, колени, его тут же заботливо подхватывали, ставили на ноги.

Когда совсем рассвело, сделали привал. Слепящее, нарядное солнце разлилось веселым светом. Прохоров жмурился, сдвинул свой колпак на глаза, но это не спасало. Афганцы же будто не замечали сверкающего светила. Они сели в кружок, деловито сняли ружья и автоматы, достали из мешков пластмассовые фляги, лепешки. Прохоров отыскал глазами свой автомат. Лежал он, родимый, всего в пяти-шести шагах, такой же плененный, как и сам Прохоров. «Хотя, чего там, могут из него же и пришить. Очень даже могут». — Прохоров содрогнулся от этой мысли и тут же почувствовал пристальный взгляд. Один из моджахедов, в потертом пиджаке, совсем еще молодой, смотрел на пленника и усмехался. Потом взял флягу, лепешку, пружинисто поднялся, подошел и положил все это перед Степаном. «Хочет, чтобы раньше срока не протянул ноги... А там начнут таскаться по кишлакам, пока не забудь где-нибудь камнями. Набросится жестокая дикая толпа... И все. Прощай, мама. Или продадут американцам», — со злостью и горечью размышлял Прохоров. К американцам ему тоже не очень хотелось. Однако он не мешкая откупорил флягу, припал к ней пересохшим ртом. Вода была самая обыкновенная, живая, чуть тепловатая. Душманская лепешка тоже была самая обычная, в меру черствая, но голодному, изможденному Прохорову она показалась необычайно вкусной.

Пока он жевал, моджахеды быстро собрали остатки еды, вместе с флягами попрытали в заплечные мешки. Вдруг один из них, хмурым, с багровым пятном на щеке, выкрикнул что-то краткое и злое, решительно направился к Степану, вырвал из рук недопитую флягу, стукнул его ногой. Прохоров понял, что завтрак окончен.

— Прегди йе! Йер мака, че дай байад жвандай вуспарыл ши? ¹ — резко отреагировал молодой. В руке он держал автомат Степана и слегка помахивал прикладом.

— Мурдар на кеги! ²

— Ахмада, прекра мо вукра че ды Кармаль сара йав озай шу, — продолжал что-то доказывать новый владелец автомата. — Да шуравай ос змунг душман на дый! ¹

«Бабрака Кармалья костят, — догадался Прохоров. — Ну, а я тут при чем? С «Коли Боброва» и спрашивайте...»

— Врачди! ² — тронул его за плечо молодой и опять как-то странно улыбнулся. От этой улыбки Прохорову стало не по себе. «И чего лыбится? Небось предвкушает, сволочь, как кишки мне будет выпускать». Прохоров вспомнил леденящую кровь историю об офицере, попавшем в плен к душам. В страшных муках кончал жизнь свою. Отрезали ему руки, ноги и все, что еще можно у мужчины, и посадили на кол. Когда подоспели наши, он еще шевелился, отходил... Бандитов, конечно, уже и след простыл.

Вспомнил — жутко и пустынно стало на душе. Оглянулся на своих мучителей: неужто совсем нет у них жалости? Вроде люди как люди, одеты бедно, кто во что.

Страшные, иступленные... Бродяги войны. Раздавят — и не поморщатся.

Прохоров брел понуро и горько размышлял о своей незавидной судьбе, о том, что не выпала ему доля умереть в бою, в ущелье. «Почему я здесь, среди грубых и жестоких людей, которые зачем-то хотят лишить меня жизни? Почему я должен куда-то идти по воле этой разбойной компании, в этой заброшенной «сказочной стране»? Он не мог найти исчерпывающего ответа и с жгучей завистью думал о ребятах из своего призыва, которые давно разъехались по домам, сидят сейчас где-нибудь на балконе или в саду и пьют пиво. Почему-то ему казалось, что они должны пить именно пиво. «А я — последний «старик»... Все жду свой дембель...»

Шли над пропастью. Она дышала холодом и притягивала смертельной силой. А впереди уже виделась долина, россыпи кишлачных построек.

«Пора», — замирая от ужаса, решил Прохоров. В памяти поплыли печальные лица отца, матери, смутно — Зойкино, в желтом ореоле распущенных волос, потом — сосредоточенные и строгие, как фотографии в личных делах, лица Иванова, Боева, Черняева... «Все, конец», — сказал себе Прохоров. — Отсчитаю десяток шагов, и все». Он прошел десять шагов и еще несколько, но все медлил, медлил... Сдавило грудь, он задыхался. «Еще немного». Он оглянулся. Молодой афганец смотрел себе под ноги. И тогда Прохоров резко бросился в сторону, пробежал пять или шесть шагов, но тут за ним метнулась тень, афганец на лету подсек его ногу, и Степан рухнул плашмя в каких-то двух метрах от пропасти, завыл, закричал от страха и боли. Он катался по земле, бился головой о камни, а сверху насели, аязали ему руки, он рычал, стонал, задыхался, и каждая клетка рвалась наружу.

Наконец с него слезли, встряхнули, как мешок, поставили на ноги. Прохоров тяжело, насадно дышал, сердце колотилось где-то в горле. Рядом стоял меченый, хмуρο усмехался, ворчал сквозь зубы, а молодой, в пиджаке, что-то быстро-быстро говорил, ожесточенно жестикулировал. Прохоров, конечно, ни черта не понял и отвернулся. Он совершенно не чувствовал тела, в голове стоял шум, время от времени он сильно вздрагивал и покачивался, с трудом удерживаясь на ногах.

— Дай байад русано та, жир тыр жира вуспарыл ши, хокаши кавылай ши! ³ — быстро пробормотал что-то молодой. Меченый промолчал.

В полдень они вышли на асфальтовую дорогу. Когда их обогнал грузовик и протарахтел навстречу «бурбухайка» — автобус, увешанный цветными бирюльками, Прохоров наконец понял, что идет по шоссе. Юный обладатель его автомата хлопнул Степана по плечу и весело сказал:

— Шурави, шурави!

Прохоров ни бельмеса не понял и сплюнул себе под ноги. «Хорош шурави: измученный и ободренный».

Он шел по горячему асфальту, такому ровному и приятному для израненных ног, непривычно было видеть и ощущать большую дорогу. Куда его вели?

Юный бородач толкнул Прохорова в бок, показал рукой куда-то вперед и быстро залопотал на своем. Прохоров глянул, но ничего особенного не увидел. Группа остановилась, от нее отделился еще один человек, и уже втроем они

¹ Не трожь его! Или ты забыл, что мы должны передать его целым и невредимым? (Здесь и далее — пунту).

² Не подожмет.

¹ Ахмад, мы решили перейти на сторону Кармалья. Значит, этот советский нам не враг.

² Вперед!

³ Надо быстрее передать его русским, а то он убьет себя.

двинулись дальше. «Неужели кончать повели? — растерянно подумал Прохоров. — Но почему на дороге?»

Парень снова хлопнул Прохорова по плечу.

— Мать честная... — прошептал Степан. Впереди он увидел характерные очертания поста, приземистую башенку боевой машины пехоты, торчащую из-за некоего подобия дувала. Бесформенные бойницы по сторонам...

Прохоров хрипло вскрикнул, задохнулся от неожиданности. «Беги!» — стрельнуло в голову. Он оглянулся на конвоиров. Те смеялись... Он ускорил шаг, его качнуло как пьяного, и, уже не чувствуя ног, побежал, страшась одного: чтобы маленький пост не исчез подобно миражу, сотканному в горячем воздухе.

С поста их заметили. Из-за дувала прыгнули крепыш, голый по поясу, с обожженными плечами. За спиной у него болтался АК, а из-под панамы лихо торчал облупленный нос. И у Прохорова тут же брызнули слезы, как только увидел эту неказистую фигурку русского мужичка, в котором все как есть напоказ: и самоуверенность, и бедовость, и лукавство.

— Братишка, милый, свой... Наконец-то... Я уже все, думал все. — Прохоров бросился к парню, не пряча слез, плохо соображая, что говорит.

А крепыш растерянно шагнул назад и на всякий случай поправил автомат за спиной.

— Эй, вы это... Назад. Кто такие?

— Свой я, свой. На духов навалились мы... — Он обернулся, афганцы стояли молча, с достоинством. — Всех, всех до одного... Понимаете? Один я... — Прохоров вытирал рукой слезы, размазывал их на грязном, заросшем бородой лице. Рыдания сотрясали его. Он не заметил, как появился еще один человек, тоже голый по поясу, загоревший до черноты.

— Семязов! Это кто такой?

— Да вот, товарищ старший лейтенант, вроде как афганцы привели... Раненый, кажется. Еле стоит. — Крепыш развел руками.

— Вижу... Пошли, дорогóй, будем разбираться. Отведи его, Семязов.

Прохоров снова оглянулся на афганцев, те уже что-то говорили, офицер кивал головой.

— Автомат! — рванулся Прохоров.

Юный бородач понял, снял с плеча оружие, протянул его Прохорову, но старший лейтенант быстро перехватил:

— Тебе он сейчас не нужен.

Афганцы улыбались снисходительно и дружелюбно.

Тут появились другие обитатели поста, обступили его, сквозь слезы он видел их удивленные взгляды, а на некоторых лицах — выражение короткого ужаса. Он помнил, как зашли под тент, и он сразу повалился на землю. Потом ему принесли пить, и Степан пил жадно, долго, судорожно вздрагивая худым, кадыком, поперхнулся, стал кашлять, отдышался и снова попросил воды. Кто-то снял у него с головы колпак, начал поливать голову.

— Его в баню бы...

— Да не в баню — в госпиталь!.. Ты, зема, с какого полка? Звать-то тебя как?

— Молчит...

В какие-то мгновения до него доходило, что его о чем-то спрашивают, и он с трудом отвечал, не сосредоточиваясь на смысле своего ответа:

— Я свой, ребята, с Брянской области...

Они кивали, а он понимал, что ему верили, просто он очень устал и сейчас не может рассказать им всего...

Его подтолкнули на броню, повезли, он не спрашивал куда, даже просто ехать и слышать ровный гул мотора было приятно и радостно. Из «бэтэра» Прохорова вытащили на руках. Он с благодарностью ощущал эти сильные руки, пытался помочь им, но, пожалуй, только мешал.

Когда в сознание его прорвался непонятный рев и гул, Прохоров с трудом разлепил глаза и понял, что он на вертолете и летит на выручку своим. Он попытался подняться, но чьи-то уверенные и сильные руки положили его. Он послушался, но тут страшная мысль обожгла его: ведь они не успеют! Сейчас убьют ротиого, и все начнется сначала.

— Быстрее, надо быстрее! Там, в ущелье... У них кончатся патроны. Дайте автомат! Где мой автомат?

Он порывался встать, но его почему-то не понимали, сдерживали, он продолжал метаться, кричал, земля уходила, и он летел в бездонную черную пропасть.

...Он снова шел своей долгой дорогой и под каждым камнем искал родник. Но воды нигде не было, и солнце по

кусочку уничтожало его. Иссохшая мумия снова скалила зубы. Он видел крошечные поля, очерченные дувалами, видел дома, от которых остались одни стены. Это соты. Гигантские бесконечные соты. Он слышит нарастающий гул. Огромный клубящийся рой почти достигает его. Не спастись, не выбраться из-за высоких стен, которые обступили и сжимают его... Они роятся, полбесквивают нагруженными спинками, живой клубок дышит изнутри, меняет очертания, подобно гигантской шершавой амебе.

Они строят свои ячейки — геометрическое чудо природы, и, подобно шестиграннику, так же точна и выверена их жизнь от рождения до смерти. У них нет ни разума, ни жалости, ни мечтаний, есть только инстинкты и законы, которым они следуют. Живые извечно приходят на смену умершим, чтобы затем умереть самим. Они не знают высшего закона, который руководит ими, и им не нужно это знание, ибо оно разрушит существование и приведет к гибели.

Они по-своему видят мир, открывающийся перед ними. Солнце по небу для них движется быстрее, торопливо унося за собой короткий их век, по-своему воспринимают цвета: зеленый, черный, желтый. Но красивый для них просто бесцветен, тускло-сер, как ненастное небо.

Они рождены для труда. Они появляются на свет и, еще не зная солнца, знают свое первое дело: в темноте замкнутого пространства чистить ячейки для очередного расплода. В конце жизни остается немногое, но самое важное: забота о хлебе насущном. Десятки опасностей подстерегают их, и многие гибнут на своем пути. Но заведенный природой механизм продолжает действовать, поэтому они не знают усталости. Смысл жизни — нектар, значит, любая смерть на пути к нему — короткий эпизод в неустанном процессе продолжения новой жизни.

И наконец, они познают свою последнюю обязанность — сторожей. Их агрессивность растет с возрастом. Они становятся солдатами. Едва заметив приближение чужака, они бесстрастно, но решительно бросаются на него. Они видят нас расплывчатыми, гигантскими тенями и не могут понять выражения наших лиц и разобраться в наших побуждениях. Они чувствуют резкий и неприятный запах, он раздражает их. Они знают про нас только одно: мы — польстившиеся на чужой мед. Они разят нас своим ядом, но гибнут и сами.

В своем замкнутом мире, где слепо правит закон продолжения рода, они жестоки и слепы. Но такой мир позволяет им остаться теми, кто они есть. Ведь разомкнутый круг перестает быть кругом.

...Прохоров опять изнывает от зноя. Солнце занимает полнеба, и никак не наступит вечер... Почему-то тихо, и в этой тишине он слышит обрывочные, разрозненные звуки, отдельные слова — как кусочки чужих писем. «Крайняя степень истощения... надо ампутировать... Дистрофия...» Дис-тро-фия... Дистрофия! Какое смешное слово. Руку привычно холодит автоматная сталь. Он пододвинул оружие поближе, зорко огляделся. В студеном сумраке гор слышался отдаленный ропот, будто доносились голоса людей. Прохоров лежал на вершине горы, вокруг царственно уходили вверх заснеженные пики, они сверкали на солнце, слепили горностасовой белизной и молчали. Их коричневые, терракотовые, черные тела дышали исполинскими грудями. С высот рвался горный вестер, обжигал лицо, тонко пел в стволе автомата. Прохоров пребывал в полном спокойствии. Только тонкий свист, кажется, напоминал что-то полузабытое. Прохоров снова чувствовал себя свободным и счастливым. Но вот опять донесся ропот, уже различимый, ненужный и чужой в этом царстве спокойствия. Наконец, Прохоров увидел то, что явилось причиной его беспокойства. Стросм, в колонну по три, шли люди. Впереди — капитан Боев, за ним — погибшие в прошлом году командир взвода Ахметзянов и замполит роты Марчук. Прохоров всматривался и узнавал лица сержанта Черняева, Саидова, Птахина. А вон в третьей шеренге Женя Иванов шагает. Шли они все как-то странно: вроде бы по склону горы, а получалось — почти по воздуху. Но вот гора осталась позади, а взвод все шагал и шагал. Шел ровно, будто по плацу, над вершинами, над обрывами, пропастями. Он узнавал товарищей по роте, погибших и полтора, и год назад. Новохацкий, Рустамов, Галсев... Прохоров сплел их имена, а они шли уже совсем рядом, хорошо видны были их обожженные лица под касками, обтянутыми масксетью,

выгоревшее обмундирование, почерневшие автоматы. Шли усталые люди войны.

Прохоров поймал себя на том, что совершенно не удивлен встрече со взводом, будто она должна была произойти именно сейчас и в этом месте. Они шли и не замечали его и, наверное, не смогли бы заметить, потому что смотрели только перед собой. Прохоров провожал их пристальным взглядом, пока последние, незаполненная шеренга не скрылась за горным перевалом. Он хорошо разглядел, что в шеренге шли только два человека и одно место в строю пустовало.

«Я умер,— подумал Прохоров.— Я перешел незримую грань и теперь уже — никто и ничто. Я — ветер, скрип песка, шелест листвы, журчание воды. Мой труп лежит, раскинув конечности, вздутый и почерневший, покрытый ужасным смертным загаром, который так безобразит человеческие останки. Случайный путник шархнет в сторону, едва завидит зловонную кучу. Еще ранние птицы выключают мне глаза, а черви начнут свою кропотливую и бессмысленную работу. Они будут жить, пока не иссохнет труп. А потом и сами превратятся в труху и ветер развеет их в пыль. Через год или два кости побелеют, и издалека хорошо будут заметны реберная решетка и череп. В глазницах будет свистеть вольный ветер, и мертвая голова будет усмехаться, скалить молодые, крепкие зубы».

Наверное, прекрасно обрести такой покой, навсегда, на все вечные остаться белеными костями. Поставить внезапно черту под всей жизнью и уйти сразу, не оглядываясь. Ибо никогда не определишь себе то нужное время для того, чтобы решить все оставшиеся дела, поставить все точки... Броситься в смерть как в омут, иные пути — тупиковые, всюду гладкие и глухие стены, везде заперто, а небо — далекое и засохшее. Слышен гомерический хохот. А впереди в нерезких очертаниях — обрыв, пропасть. И вест оттуда ужасом, но и вечным покоем...

— Ну, что, живем? Вот и хорошо, вот и молодец! — Женщина, которая произнесла эту фразу, встала со стула, оправила белый халат. Голос ее звучал бархатно и певуче. — Сейчас бульончику покушаешь. А то совсем отощал, скиталец ты наш.

Она улыбнулась, погладила раненого по стриженной голове и вышла. Через несколько минут она принесла бульон, помогла приподняться на постели.

— Погоди, давай-ка я тебя сама покормлю... Как звать-то тебя?

Но раненый продолжал молчать, женщина вздохнула и начала осторожно кормить его из ложечки.

В палате появился невысокий мужчина. Впрочем, раненому все люди казались сейчас крупными и внушительными. На твердом скуластом лице вошедшего торчали совершенно неуместные «интеллигентские» очки. Разговаривал он громко и быстро, будто выплевывал слова:

— А, очнулся, герой! Ну-ну, давай набирай силы.

Он терпеливо дождался, когда няня закончит кормление, широко улыбнулся и спросил:

— Ну, как фамилия твоя, помнишь? Иванов? Петров? Сидоров?

Но раненый продолжал равнодушно смотреть перед собой, на лице его не проявилось ни одного чувства.

— А из какого полка? Кто командир?

Вместо ответа раненый отвернул голову и стал смотреть уже в окно. Он медленно опускал веки, и казалось, что он вот-вот заснет, но потом снова открывал глаза.

— Ну-ну,— подбодрил доктор.— Ничего. Очухаешься, сил поднакопишь — и все будет «абсмахт».

Он прикрыл за собой дверь и с ускорением зашагал по коридору.

Через день раненый уже самостоятельно вставал и даже передвигался вдоль стенок, придерживаясь рукой. Больничные его тапочки неторопливо шаркали и прихлопывали подошвой по кафельному полу. Казалось, ходить ему очень мешают широкие штаны, которые теплелись на его худых ногах. Но в глазах раненого уже не было вчерашней пустоты и отрешенности. Утром он внимательно посмотрел на нянечку и вдруг хрипло спросил:

— Какое сегодня число?

— Тридцатое... — растерянно ответила она.

Он наморщил лоб, потом на несколько секунд закрыл глаза и вздохнул.

Нянечка тут же побежала докладывать врачу, а через минуту появился и он сам.

— Ну, что, Иванов, дела на поправку пошли?

— Я не Иванов,— ответил раненый.— Я — Прохоров.

— Ну, Прохоров так Прохоров,— тут же согласился очкарик-врач, хотя был несколько озадачен ответом.

— Так знаешь ли, Иванов...

— Я — Прохоров...

— Прости! Прохоров... Так вот, знаешь ли, мой дорогой, что ты уже стоял одной, нет, двумя ногами в могиле? Только твой нос оттуда торчал? Вот за этот нос,— доктор сомкнул пальцы наподобие клещей,— мы тебя и вытащили. И руку твою спасли. Если б не я — оттапали бы ее по локоть, а то и выше. И не спрашивали. Видел бы ты, каким тебя привезли... Эх, бродяга!

Прохоров лежал на кровати, рассеянно слушал доктора, тот говорил быстро, возбужденно, с веселой энергией. Прохоров еле успевал улавливать смысл его слов, напористую скороговорку, и оказывалось, что смысл-то был пугающим и серьезным. Но доктор заражал оптимизмом, бойкая речь его никак не увязывалась с мыслями о смерти, тяжелых последствиях.

Довольный собой, доктор выскочил из палаты и в коридоре столкнулся с долговязым пропыленным лейтенантом. В руке тот держал огромный полиэтиленовый пакет с рисунком «малboro», доверху набитый апельсинами.

— Вы куда?

— К Иванову.

— К какому еще Иванову?

— Из 64-й палаты.

Доктор отступил на шаг.

— Сначала надень халат... Вот там, на вешалке.

Лейтенант кое-как втиснулся в халат, вспомнил про панаму, поспешно сдернул ее с головы.

— Готов? Теперь слушай сюда... Он только сегодня заговорил. Понял? И сказал, что он не Иванов никакой, а Прохоров.

— Прохоров? — Лейтенант округлил глаза и открыл рот. — Прохорова ведь убили... Не может быть...

— Ты вот что, в палату не входи, а чуть приоткрой и посмотри.

Лейтенант поставил у стенки пакет и осторожно заглянул. Потом он бессмысленно посмотрел на доктора, снова приоткрыл дверь. Но доктор уже тянул его за рукав.

— Это Прохоров,— упавшим голосом пробормотал лейтенант.

Лицо его помертвело, на лбу выступили крупные капли.

— Эй, тебе что — плохо?

Доктор подтолкнул лейтенанта к стулу, тот безвольно опустился на него и закрыл лицо руками.

— Это Прохоров... Прохоров... Е-мое, что же теперь будет? Я ж его сам хоронил.

Доктор тоже растерялся.

— Как же вы перепутали?

— А вот так! Попробуй не перепутай, если все порезанные, побитые, в крови, не разберешься, где кто. Одного в-общем по 4-частям с-соб-бирали...

Доктор заметил, как у лейтенанта начала трястись челюсть, и он подумал, что такого — хоть сейчас клади в психиатрическое отделение.

— А у него конверт нашли в кармане. А л-лица н-нет, понимаете, н-нет лица, од-дно мясо!

— Понимаю,— доктор взял лейтенанта за руку,— пошли на улицу, а то здесь шуметь нельзя.

— Вот. А н-на конверте четко сказано: Прохорову. Я сам его отвозил, хоронил. А там же, в селе ихнем, еще и Иванов жил. Теперь представьте, что я должен был им объяснить: был человек — и нету, пропал? Да? Вот вы доктор, все знаете, а как бы в том селе поступили? А? Я думал, там меня и кончат. В Афгане не убили, а там прибьют, порвут на части.

Лейтенант еще долго и бессвязно говорил, стучал кулаком себя по колену, курил одну за другой вонючую «Приму», порывался в палату к Прохорову, но доктор иаотрез запрети-л. Потом его срочно вызвали, а лейтенант куда-то исчез. Только пакет с апельсинами по-прежнему стоял у стены. Правда, уже несколько облепченный. Доктор взял его и занес в палату к Прохорову.

Вскоре в госпитале появился комбат. Он нерешительно остановился на пороге палаты и долгим взглядом посмотрел на Прохорова.

Стенан приподнялся, сел, опустив ноги на пол. Комбат

продолжал молчать. Прохорову показалось, что командир обеспокоен, чувство тревоги явственно проглядывало на его землистом лице, уголки рта еле заметно вздрагивали, отчего кончики усов дрожали, как стрелка спидометра.

— Ну, как себя чувствуешь? — спросил комбат и покопился на дверь.

— Нормально, — тихо ответил Прохоров.

Комбат откашлялся и тоже тихо пробормотал:

— Ну и хорошо. Тебе можно вставать?

Прохоров поднялся, покачнулся, но устоял на ногах и иетвердыми шагами направился к двери. Комбат молча последовал за ним. Во дворе они сели на лавочку.

Комбат снова откашлялся и испытующе посмотрел на Прохорова.

— Тут вот какое дело, Степан. Взвод погиб, понимаешь? Это не шутка. Какие люди!

Прохоров недоуменно покосился на майора.

— Я не хочу говорить плохого о Боеве, о мертвых плохо не говорят. Он... замечательный человек. Понимаешь, Прохоров? Но то, что случилось, — случилось по его вине. Он оторвался от прикрытия, ушел вперед. Не выполнил мой приказ. Хотел, видно, отличиться и самовольно ушел вперед... Такие дела.

Комбат не говорил, а будто стонал. Прохоров никогда не видел его таким. На открытом одутловатом лице застыло неподдельное страдание, губы, обычно сомкнутые в надменном изломе, теперь искривились, словно от невыносимой зубной боли.

— Понимаешь? Но погоди, расскажи, как ты выбрался оттуда.

Прохоров опустил голову, тяжело вздохнул и выдал:

— Ранило меня в самом начале. А Женька, рядовой Иванов то есть, спрятал меня под скалой. Еще и камнями закрыл.

— Ну, а потом?

Прохоров исподлобья глянул на комбата, заметил, как странно блестяще у него глаза. Но не от слез.

— Потом потерял сознание. Когда очнулся... — Прохоров сглотнул, у него перехватило горло, — их уже д-добивали... Их резали! Стреляли в упор! Где же вы были, товарищ майор? — вдруг хрипло выкрикнул Прохоров. — Мы ждали, верили, что вы успеете, поможете... Там такое было. Никому бы не видеть! Я бы поубивал их, всех, всех до одного. Только рука вот... Эх, товарищ майор! Никому бы не пожелал такого. А Черняев — знаете, что Черняев подорвал себя и двух бородатых. Он еще жив был. К нему духи подошли — и на воздух! Его к Герою представлять иадо. И всех, всех тоже!

— Ты не волнуйся, Степа. — Комбат положил ему руку на плечо. — Всех представим. И тебя тоже — к ордену Красной Звезды... — Комбат крепко затянулся и задумался. — Тут следователь приходил из прокуратуры. Интересовался... В общем, если спросит, чтоб знал, как ответить. Скажешь, что оторвались от прикрытия. Так? А Боев все время подгонял, и потом взвод попал в засаду. Мы гильзы душманские видели на скалах. Много гильз. Точки хорошо оборудованные.

«Что он такое городит? — подумал недоуменно Прохоров. — Боев подгонял, но ведь то был приказ самого комбата: идти вперед, не ждать прикрытия». Прохоров метнул быстрый взгляд на майора, но тот был совершенно спокоен и глядел на Прохорова совсем не выжидающе, а твердо и даже властно.

Прохоров ответил взглядом.

— Товарищ майор, но ведь вы сами приказали идти. Я был с рацией и все слышал. Вы потом еще сказали «замок».

— Какой еще «замок»? — раздраженно перебил комбат. — Не болтай чепухи. Ты не можешь этого знать. Ясно? Боев увел далеко вперед и потерял с нами взаимодействие. На этом точка.

Комбат дернул уголком рта, встал. Прохоров тоже стал подниматься, но комбат положил руку на его плечо.

— Сиди, ты раненый.

Он замолчал, потом глянул на часы.

— И еще одно. Ты, Прохоров, — солдат. И я солдат. Пойми меня правильно. На войне всякое бывает. В общем, случилась отвратительная вещь. В кармане у... Иванова нашли твоё письмо. Неизвестно почему...

— Я сам ему дал перед вылетом, — с испуганным удивлением пробормотал Прохоров.

— Ясно... Иванова не смогли опознать. А по письму

решили, что убит ты... Короче, отвезли его и похоронили. под твоей фамилией. Вот так-то...

— У-у, — застонал Прохоров. Страшная картина будто в свете молнии вспыхнула у него перед глазами: почерневшая от горя мать, плачущий отец, безучастная толпа, могила...

— За что же, товарищ майор. за что же все это мне?

Прохоров обхватил голову руками и уже больше не поднимал взгляда. Как сквозь сон он слышал комбата, его резкий и неуместный голос. Комбат, кажется, говорил, что телеграмму родителям решили не посылать, потому что сегодня послали к нему в село командира взвода.

Следователь появился на другой день. Невысокий старший лейтенант в польской форме с эмблемами военной юстиции — его вполне можно было бы принять за обычного взводного. Прохоров даже почувствовал к нему что-то вроде легкой симпатии. Вместе они вошли в отдельный кабинет. Старший лейтенант сел за стол, а Прохоров — напротив.

— Как здоровье? — спросил старший лейтенант.

— Спасибо, хорошо.

Следователь посмотрел с любопытством, постучал пальцами по столу, будто разминал их для предстоящей игры на фортепиано.

— Как могло случиться, что ваш взвод попал в окружение? — уже совсем другим тоном спросил он.

Прохоров почувствовал холодок в голосе и подумал, что на взводного следователь похож только внешне. Командир взвода вряд ли сказал бы «окружили», а выразился бы: «зажали» или еще проще — «влипли». Главное же, не спрашивал, как могло это случиться, а узнал бы прежде, в каком месте попались, да как потом отбивались. Прохоров стал рассказывать, а сам думал, что все эти следовавшие, потянувшиеся формальности, которые нагромождаются сейчас вокруг гибели взвода, выглядят нелепо и бессмысленно во взаимосвязи со свершившейся трагедией. Он понимал, что следователю необходимо докопаться до первопричины, чтобы потом можно было бы со спокойным сердцем зафиксировать в некой учетной графе два с половиной десятка погибших, прибавить к сему соответствующие пояснения, лакокрасочные и не вызывающие вопросов и тем более подозрений: законна ли гибель людей, обоснована ли она необходимостью боя, не виновны ли в происшедшем лица командного состава... По завершении этой работы, выявлении виновных или же просто определении причин, «повлекших гибель личного состава», дело списывалось в архив.

Старший лейтенант долго расспрашивал про мельчайшие детали и частности, но все никак не мог подойти к главному. Прохоров очень подробно рассказал, как нес радиостанцию, как во время сеанса радиосвязи слышал приказ комбата «идти вперед», как потом прозвучало краткое «замок».

— «Замок»?

Прохоров пояснил.

— Странно...

— Что — странно? — не понял он.

— Странно, что вы обо всем осведомлены.

Прохоров пожал плечами.

— Кстати, вы в курсе, что за заведомо ложные показания по статье 181-й Уголовного кодекса РСФСР предусмотрено наказание — лишение свободы до одного года? А с корыстной целью — от двух до семи.

— Ага.

Следователь кивнул и снова стал торопливо записывать, успевая только переводить дух. Прохоров тоже вздохнул, будто выбрался на вершину холма.

— Ну, и чего решил ротный? — быстро спросил следователь и оторвался от бумаги.

— Боев сильно рассердился, выругался, потом сказал всем: «Привал».

— А потом?

— Потом мы пошли дальше.

— И прикрытия не было?

— Не было. Они отстали.

Следователь задумался, закусил зубами ручку, потом стал записывать. Прохоров рассказывал про бой и про то, что случилось позже, как шел в горах, как добывал зерно и как в конце концов попал в руки моджахедов.

— Что-то не вяжется, товарищ Прохоров. Давайте-ка сначала и без вранья.

Прохоров выпрямился на стуле и заметно покраснел.

— Я не вру...

Старший лейтенант тоже выпрямился и проницательным взглядом посмотрел на Степана.

— Непонятно, как мог грамотный командир батальона отдать такой приказ. Не кажется странным? — Он снова постукал пальцами по столу и вдруг резко встал. — Вы хоть понимаете значение всего, что говорите? Вы, солдат, обвиняете своего командира в безграмотных действиях! Подумайте еще раз хорошо. А может, у вас личная неприязнь к командиру батальона? Как вы собираетесь доказывать, что комбат действительно отдавал такой приказ?

— Доказательства — погибший взвод, — с расстановкой произнес Прохоров.

— Это еще не доказательства. Дальше. Взяли вас спящим, так? Потеряли бдительность, утратили оружие... Понимаете, что это такое в боевой обстановке? Сколько вы были в плену?

— Два дня.

— Опять не вяжется. — после паузы задумчиво произнес следователь. — Не вяжется! — уже громче и с нажимом повторил он. — Два опытных командира — и вдруг такое. Как будто душманы заранее знали про наши планы... Прохоров, начистоту, а может быть, вы попали в плен еще до боя? — Следователь смотрел пристально, не мигая.

— Как — до боя? — Прохорову показалось, что он ослышался. — Вы хотите сказать, что я предал?

— Спокойней, товарищ солдат. Мое право — задавать любые вопросы... Ладно. О чем же они вас спрашивали?

— Не знаю. По-русски никто не говорил.

— Сведений, составляющих военную тайну, не разглашали? Никаких заявлений перед магнитофоном тоже не делали? Имейте в виду, все ваши показания будем проверять и через особые источники, — скороговоркой произнес следователь.

Через день Прохоров потребовал, чтобы его немедленно выписали из госпиталя и отпустили в полк за документами, иначе он пожалуется министру обороны, напишет в Верховный Совет и лично товарищу Генеральному секретарю. Но в тот день его никто не выписал, Прохоров слонялся без дела, хотел написать письма родителям и Зойке, но не стал, потому что раньше чем через десять дней они бы не дошли. Зато на следующий день с утра пришел врач, приказал собираться, Степану выдали новое «хэбэ», панаму, принесли старые его ботинки, разбитые и обветшавшие. Он быстро оделся и в сопровождении прапорщика вышел на аэродром. Прапорщик все время куда-то отходил, Прохоров же терпеливо сидел на аэродроме, ждал, наконец перед самым уже отлетом тот спросил его напрямик:

— Слушай, парень, может быть, ты сам долетишь? А? А то мне позарез надо в дукан смотаться...

— Да ради бога, — усмехнулся Прохоров.

...У КПП одиноко томился часовой. Пыльная каска и бронжилет раскалились и, видно, доставляли ему немалые страдания.

Прохоров молча пошел через ворота, но часовой качнул-ся, сделал шаг навстречу и устало выдал:

— Куда?

Прохоров вытащил военный билет, заблаговременно привезенный комбатом, протянул солдату. Тот кивнул, взял в руки.

— Я из третьей роты, — сообщил Прохоров.

— А-а...

На грязном, потном лице появилось изумление, потом испуг и сочувствие.

Полк был все тот же. Показалось только, что будто съжился он в своих размерах, возможно, ощущение возникло после долгого скитания в горах. Все те же палатки, вылинявшие под солнцем, дорожки, посыпанные гравием и битым кирпичом, штабной модуль, столовая, ангар-клуб, продуктовый киоск и вечная толпа, напиральная на него... И казалось, что вот-вот из-за ряда палаток выскочит сухая и подвижная фигура Боева, и все вокруг него придет в движение...

Но вместе с радостью возвращения появилось новое чувство — отчуждения, тревожное, невеселое. Оно нахлынуло и сразу подмяло радость возвращения. Словно вынужденное отсутствие разделило его и полк в разных временных плоскостях. Стало тоскливо и холодно на душе, он понял ясно, что больше никогда не вернется то время. Полк останется

все тем же полком, многоголосым, взрывчатым и лениво-озлобленным, думающим на разных языках, но говорящим на одном общем — русском, несущим в своей коллективной памяти сотни и тысячи прошлых воспоминаний о доме, и живущим ныне одной цельной, трудной, горькой жизнью, и помышляющим ныне тоже одним — возвращением, встречей с Родиной, единой для каждого солдата и офицера. Полк всегда останется полком.

Прохоров пригнулся и вошел в свою палатку. Сразу обдало спертым воздухом, знакомыми запахами горячего брезента, кирзы и слежавшейся пыли. Внутри находились четыре человека. Никого из них Прохоров не знал и сначала подумал, что ошибся палаткой. Но все же это была она, родная, с заплаткой у окошка, с надписью, вырезанной на столбике: «ДМБ-83. Афган». На его кровати копошился бритый наголо солдат. «Молодой», — с первого взгляда оценил Прохоров. Солдат вытаскивал из спасательного жилета поролон и в освободившиеся карманы прилаживал автоматные магазиники. «Лифчик» варганить, — понял Прохоров. Он подошел к кровати и встал рядом:

— Ты кто такой?

— Я? — Солдат поднял круглое, мясистое лицо. — Я — Ковбаса.

Прохоров не успел больше ничего сказать, как вдруг за тонкой стенкой палатки раздался шум, кто-то громко произнес его фамилию, затем в сторону резко отлетел полотно, и в палатку ворвались Кириязов и Мамедов из второго взвода.

— Прохоров, Степка! Жив!

Они бросились к нему, сжали в объятиях.

После долгих и бессвязных восклицаний, похлопываний по плечу его наконец отпустили. Мамедов тут же заметил застывшего как столб Ковбасу, сразу оценил ситуацию с койкой, с силой рванул одеяло и высыпал все, что было на нем, на пол.

— Оборзели, салаги! — закричал он злобно. — Ты чью койку занял, шакал? Вас пустили в палатку героев, а вы...

Молодые молча выгнулись, смотрели под ноги. Прохоров заметил, как кусает губы Ковбаса, а по лбу текут крупные капли.

— Пусть спит здесь, Мамедов. Я разрешаю.

— Нечего им разрешать!

— И не ори.

— Я не ору, я учу. — уже тише ответил Мамедов.

— Забыл, Мамед, как сам был молодым? Забыл, забыл. А наш призыв тебя учил, салагу, но никто из наших не издевался над тобой. Подними-ка все с пола. Ну?

Мамедов покраснел и растерянно посмотрел на Кириязова. Тот молчал.

— Поднимай. И не забывай, что пока я здесь старик...

Но тут снаружи раздался такой шум и гвалт, что заколыхалась палатка, тут же ввалилось человек двадцать или тридцать. Прохорова подхватили, потащили на свет, кто-то пытался его качать, его окружили плотным живым кольцом, и Степан, еще раздосадованный, ошеломленный и сбитый с толку, отвечал на сыпавшиеся наперебой вопросы. Потом подходили новые люди, обнимали его, стискивали, прижимали к себе, он начинал рассказывать сначала.

Появился высокий чернявый старший лейтенант — новый замполит. Он с любопытством оглядел Прохорова, задал несколько вопросов о здоровье и настроении и пообещал завтра же оформить Прохорову все документы.

Стали строиться на обед. Прохоров встал у линии, где всегда становился его третий взвод. Теперь он стоял один, самым первым, и перед ним не было ни Черняева, ни Женьки Иванова, никого. В лицо летел мелкий песок, как раз в это время, перед обедом, подымался «афганец», небо застилало мутно-желтой пеленой, пыль забивалась в нос, уши, лезла в глаза, приходилось щуриться и сплевывать тягучую, скрипящую на зубах слюну.

— Равняйся! Смирно...

Рота подравнивалась неохотно, все оглядывались на Прохорова, будто не верили его возвращению. Кто-то недовольно буркнул: «Опять с ефрейторским зором строимся».

— Р-разговорчики! — прикрикнул замполит. Он теперь исполнял обязанности ротного. — А вы чего? — метнул взгляд на Прохорова. — В строй!

«Боев в такой ситуации посмотрел бы и промолчал. А надосдать не стал, — подумал Прохоров и отвернулся. — Боев знал службу».

— Ну, ладно, — неуверенно произнес замполит. — Стойте там... В столовую — шагом марш.

До вечера Прохоров успел еще раз десять рассказать про свои злоключения — почти всему полковому начальству. Он еще раз, но уже более остро почувствовал свое одиночество. Полк-полчок на земле афганской!.. Все друзья по призыву давно были дома, уехали сразу после операции. Для них Прохоров был погибшим...

Поздно вечером он через силу заставил себя встать с постели и идти узнавать адреса своих товарищей, живых и погибших, потому что знал, что если не сделает этого сейчас, то потом будет сильно сожалеть.

Он вышел из палатки и столкнулся нос с носом с комбатом.

— Степа! Прохоров! — ненатурально обрадовался он и оглянулся. — Мне надо с тобой поговорить. Давай отойдем.

Степан пожал плечами и пошел в сторону от палатки.

— Степан, тебе надо изменить свои показания. Понимаешь? Зайди к следователю, скажи, что ошибся, неправильно понял кодировку — все, что угодно. Степан, ты должен объяснить, что Боев сам повел взвод без прикрытия. — Он заглядывал в глаза, просил. И от такого обращения Прохорову стало не по себе. Степан стиснул зубы, отчего на подбородке и щеках пролегли твердые складки, отрицательно покачал головой.

— Ты пойми, меня из партии исключили, с должности теперь снимут. Дело завели. Помоги, Прохоров, прошу тебя по-человечески. У меня ведь семья, двое детей: мальчик и девочка. Каково будет, если их отца в тюрьму посадят? Помоги, видишь, как я, майор, перед тобой унижаюсь!

— А вы помогли нам в ущелье? — тихо спросил Прохоров.

— Там все не так было, — отмахнулся комбат. — Не так все просто... Да и мертвых не вернешь... Пойми, Прохоров. Что хочешь проси — сделаю. Чеки нужны? Ты солдат, почти ничто не получаешь, а тебе домой ехать. Может, какую вещь достать надо, говори, я сделаю. Ну, хочешь, на колени встану? А? Пожалей детей моих, они в чем виноваты!

Красивое лицо комбата исказила гримаса, уголки рта вздрагивали, казалось, вот-вот может случиться невероятное: комбат закроет лицо руками и расплачется.

Прохоров отвернулся, тихо сказал:

— Те, кто погиб, тоже были чьи-то детьми. И у Боева — тоже дети... Ведь погиб взвод. А вы хотите, чтоб я все забыл.

— Ну, погоди, никто не говорит, что надо забыть. — Комбат всплеснул руками. — При чем тут это... И имей в виду: за погибший взвод я, как комбат, отвечать буду. Ну, а всех твоих домыслов про меня все равно недостаточно. Нужен хотя бы еще один свидетель. Можешь лезть в бутылку — начнутся уточнения, допросы, расследования, и тебя обязательно задержат. Ты что, домой не торопишься? — Комбат пожал плечами. — И, между прочим, — он начал загибать пальцы. — за тобой еще числятся каска, три автомата магазина, вещмешок. Где они? Думаешь, на боевые спишут? Вот и раскнижь мозгами. — Комбат стоял, глубоко засунув руки в карманы, носком сапога катал камешек и старался выглядеть совершенно спокойным. — И еще. Как ты докажешь, что не дезертировал с поля боя? А? Свидетелей нет... А вот меня могут попросить дать характеристику: как, не замесали ли за Прохоровым трусости и малодушия?

Степан почувствовал, что голова сейчас пойдет кругом. Он сжал пальцы в кулаки, резко повернулся и молча зашагал прочь.

— Кругом, рядовой Прохоров. Назад!

— Я уже месяц, как не рядовой.

— Смори, Прохоров, еще пожалеешь! — вдогонку выкрикнул комбат.

«Да, пожалеею, еще как пожалеею, что не плюнул в твою рожу», — думал в сердцах. И все же Прохоров чувствовал прилив очищающих сил, внутреннее обновление, даже просветление, и был спокоен, как-то отчаянно спокоен... Может, то были отзвуки волны, что вынесла его из безбрежного каменного моря, может, он снова обрел уверенность среди хаоса, абсурда и гримас жизни, потому как выбрался на прочный островок, смог отдышаться и наконец разобратся, где верх, а где низ, и не перепутаны ли стороны света.

Поздно вечером он повалился спать, но среди ночи внезапно проснулся, долго лежал с открытыми глазами, тихо встал и вышел на улицу. У входа, прислонившись к столбику

грибка, стоял дневальный. Он поспешно выпрямился, как только увидел Прохорова.

— Ковбаса? — узнал он солдата.

— Так точно.

— Ладно тебе. Я, между прочим, уже больше месяца как гражданский человек.

— Дембель, так сказать, вже состоялся. — Ковбаса охотно поддержал разговор.

— Состоялся, Ковбаса. Завтра — домой... Прощай, страна Афгания...

Прохоров опустил на лавку, запрокинул голову. Небо было обсыпано звездами. Они торчали в бездне такие уютные, пугающие своей вечностью и неизменностью.

— Степа, чи можно вопрос?

Прохоров повернулся. Косой свет фонаря падал на лицо Ковбасы, тени от него удлинляли нос и округляли скулы.

— Можно.

— А то правда, що душманы тильки в голову стреляють?

— Нет, не правда, — ответил Прохоров и вспомнил, как Ковбаса мастерил себе бронежилет. — Не бойся, еще вернешься домой, на галушки.

— На галушки — то добре, — оживился Ковбаса.

А Прохоров подумал: «Спросить, что ли? А надо ли, дело никчемное... — но, поколебавшись, все же спросил: — Ковбаса, ты не знаешь, куда пропало мое барахло?» И он перечислил исчезнувшие вещи: несколько книг, небольшая сумма чеков, пара авторучек, безделушки из дукана. Нашел он только свой пустой чемодан.

— Нет, — шепотом ответил Ковбаса. — А шо, нема?

— Нема... Приехал: все как корова языком слизала... Да и шут с ними. Живым остался — и страдать из-за барахла! Самое главное — выжить. Понял, Ковбаса? Друзей своих держись. И чарс не кури, не советую... — Прохоров поймал себя на мысли, что голос у него стал «учительским», усмехнулся, поймал недоуменный взгляд своего полуночного собеседника.

— Да сядь ты рядом. Маячишь... Женька, друг мой, как-то покуривать начал. Сказал, просто интересно попробовать. А потом и втягиваться потихоньку начал. Я как-то по рожу ему дал, предупредил. Потому что доходить он начал: исхудал, под глазами черно. Он прятаться начал: уйдет за палатку, зажжет газету и курит втихаря. Значит, чтоб дымом от бумаги запах чарса перебить. Но меня не проведешь. Бил его нещадно. Почти каждый день. Сейчас даже самому страшно, как бил его. Но отучил... А теперь его уже нет.

Прохоров замолчал. А Ковбаса сидел в напряженной позе, чуть подавшись вперед, пухлые пальцы сцелил на колене — поза человека, обреченного на ожидание. Легкий ветер раскачивал фонарь на столбе, он тихо поскрипывал, и большая тень от палатки шевелилась, казалось, что брезентовый домик мерно дышал...

Наутро Прохорова провожали на аэродром. Замполит сказал бодрую речь, но Прохоров почти не слушал его, смотрел в лица товарищей. Привычно сутулился Кирызов. Рядом — Мамедов... Жесткий разрез глаз. Непроницаем. Но нет, почувствовал взгляд Прохорова, кивнул... Рыхловатый, не отутюженный еще ветрами Ковбаса... Они оставались — он уезжал, они завидовали, чертовски завидовали ему, а он колебался, боролся с чувствами, знал, что не сможет выбросить из памяти и сердца эти кровавые рассветы, горькую, как полынный, тоску, взвод, который в цинках вернулся на Родину, но, по сути, навсегда остался здесь, в черных горах, под равнодушным лазоревым небом. Не мог поверить, что отвернется — и навсегда исчезнут за спиной выгоревшие палатки, модули — поделешоватые прямоугольные коробки, забор из колючей проволоки, а сразу за ним — затаявшиеся минные поля. И люди на одно лицо: усталые, неулыбчивые, сосредоточенные.

Прохоров безотчетно убыстрял шаг, он желал ускорить тягостные минуты. Ребята подстраивались под его шаг, догоняли. У кромки аэродрома он остановился.

— Степа, — подошел Кирызов, положил руку ему на плечо, — мы тут слышали: лажа случилась. Возьми вот от нас. — Он протянул туго набитый целлофановый пакет.

— Да что вы, ребята, — смутился Прохоров, отыскал в толпе лицо Ковбасы. Тот сиял. Кирызов молча взял чемодан Степана, открыл его и положил туда пакет.

Степан глубоко вздохнул. Афганский воздух обжигал. Он обнялся с каждым, бросил прощальный взгляд на дальние горы, подхватил чемодан и, уже не оборачиваясь, не стыдясь нахлынувших слез, побежал к самолету.

Потом земля ушла из-под колес, в иллюминаторы плесну-

ло небесной синевой, лайнер дал крен и взял курс на север. Прохоров утонул в непривычно мягком кресле, вспоминал, как летел в Афганистан в тяжелом ИЛе, как мрачное ощущение охватило его тогда и как поразила одна-единственная мысль: «Всё кто-то из нашей команды не вернется назад».

Ташкент дохнул на него счастьем. Пошатываясь и не чувствуя ног, Прохоров сошел по трапу. Горячий пыльный воздух здесь был совсем другим, и небо было другим. Он чувствовал в себе неожиданное обновление, будто каждая клеточка его тела получила заряд эликсира молодости и здоровья. Осталось пройти таможенно. Прохоров встал в длинную, но вовсе не скучную, а возбужденную и нетерпеливую очередь. Всех прибывших сразу заперли в ангар и по двое выпускали за дверь. Таможенник привычно спросил про оружие, наркотики, чернографию, равнодушно осмотрел чемодан Прохорова, перелистал подаренные книги, отложил в сторону платок, увидел две китайские авторучки.

— Две нельзя. Можно только одну, — строго заметил он.

— Забирайте, — буркнул Прохоров, а про себя подумал: «Подавись».

Из таможи он выскочил на солнцепек, понял, что теперь совершенно свободен, что последняя дверь из Афганистана позади. Он пошел по дороге вдоль каменного забора, за которым гудел аэродром и, казалось, еще оставался Афганистан. Прохоров стал свободным. Ему все не верилось, что всего в двух часах лету царит мир, нет ни взрывов, ни очередей, нет взвинченных и ошалевших от войны людей. Прохоров с жадностью смотрел на зеленые светлые улицы, раскинувшиеся широко и привольно. Сотни машин пролетали по шоссе, люди же шествовали неторопливо: мужчины — в тибетских, светлых рубашках, женщины, белокурые, смуглые, — в пестрых платьях и открытых сарафаниках.

Агентство Аэрофлота находилось на площади, а перед ним возвышалась гостиница с щемящим душу названием: «Россия».

Прохоров занял очередь и два часа простоял в изнуряющей духоте. Наконец, он пробился к окошку, протянул воинское требование и военный билет.

— Куда?

— В Москву, на двадцатое.

— Только на двадцать пятос, — отрезала кассирша, не глядя на Прохорова.

— Как — на двадцать пятос? — не понял Прохоров. Он хотел объяснить, что не может ждать двадцать пятого, что он слишком много ждал и терпел, чтобы здесь, в Союзе, снова томиться, терять время.

Но кассирша уже крикнула «следующий», его оттеснили, очередь агрессивно ошестинилась, зашевелилась, и Степан очутился в стороне от кассы.

Прохоров походил кругами, чертыхаясь про себя, потом отсчитал пятьдесят рублей, сунул их вместе с требованием в военный билет, протиснулся к окошку:

— Я только из Афгана, граждане, я уже стоял... Любой, самый ближайший, — выдохнул он, стараясь не смотреть на кассиршу. — До Москвы!

Та быстро и ловко извлекла деньги, они тут же куда-то исчезли, через минуту-другую документ вместе с билетом шлепнулся у Прохорова под носом.

Прохоров рванулся в аэропорт и в тот же день, через четыре часа лету, был в Москве... Там он быстро сориентировался, достал билет в плацкартный вагон и утром уже стоял на железнодорожной станции родного районного центра. Первым делом он вытащил из нагрудного кармана свернутый платок, развернул его, взял медаль «За отвагу», оглянулся, не видит ли кто, нацепил на куртку. Она, как рыбка, серебристо блеснула, поймав лучик солнца. «Вот теперь я почти дома».

Но оказалось, что утренний автобус сломался, а следующий пойдет только после обеда. Прохоров тихо выругался. Оставалось одно — ждать. Судьба неусмная все испытывала его, продолжала ставить уже совсем ненужные, никчемные препятствия.

Прохоров медлительно шел по выщербленному асфальту, мимо бревенчатых изб с белыми шторками на окнах и потре-

скавшимися резными наличниками, мимо палисадников с пыльными гладиолусами. И вдруг набрел на ресторан. Он вспомнил, что давно не ел, открыл скрипучую дверь и вошел внутрь. В помещении было сумрачно и пусто, пахло борщом и сырыми полами. Незаметно выплыла официантка, широкобедрая, обтянутая тугой юбкой. Она выудила из передника блокнот, ручку и кивнула головой.

— Водки. Бутылку. И чего-нибудь закусить, — мрачно попросил Прохоров.

— Солдатам нельзя.

— А я уже не солдат, — не без удовольствия сказал Прохоров. — Кончилось. Вот документ. — Он бросил на стол военный билет. — Там все написано.

Официантка взяла книжечку, открыла ее, наморщила лоб и пожевала ярко накрашенными губами.

— Вам еще нет двадцати одного года, — сказала она строго и положила документ на стол.

Прохоров поднял голову и внимательно посмотрел на официантку. На ее розовом, в ранних морщинках лице ничего не отражалось, смотрела она в сторону, будто внезапно забыла о клиенте. Прохоров сжал кулаки, и скатерть, попавшая в ладонь, потянула за собой салфетницу, солонку и одинокую вилку.

— Хватит, — хрипло и почти умоляюще прошептал он. — Хватит измываться надо мной! Я не для того вернулся... — Он вздохнул, посмотрел на официантку и неожиданно рассмеялся.

— Не вижу ничего смешного, — не очень уверенно отреагировала та и скривила напояженный рот.

— Надо же, в какие веки о моем здоровье позаботились... — Степан потер ладонью лоб, вздохнул.

На шум выглянул крепш в белой рубашке и при галстуке. Официантка мгновенно переключилась:

— Вот, Игорь Иванович, молодой человек буйнит.

— Я не молодой, а молодой, — поправил Прохоров. Он откинулся на стуле и чувствовал себя зло и весело.

— Буйнит и требует бутылку водки. А он еще несовершеннолетний.

— Как! — притворно изумился Игорь Иванович. — Вот медаль на груди вижу.

— Ему нет двадцати одного года, — поспешно и радостно уточнила официантка. — Я по документам выяснила.

— Не положено... — начал крепш.

— Значит, воевать положено, подыхать — тоже положено, а выпить — подрасти надо? Так? Здорово у вас придумано! — покачал головой Прохоров.

— Это не у нас, — насмешливо заметил Игорь Иванович. — Это указ по всей стране. М-да... Что же с вами делать? Ладно, так уж и быть, сделаем исключение как для героя Афганистана. Маша, принеси герою бутылку, — сказал он весело и покровительственно, грациозно повернулся и с видом хозяина удалился. — В графин только налей... Пусть пьет... — услышал Прохоров приглушенный голос. — «Афганцы» эти злые как псы...

Степан налил доверху первый стакан, сказал самому себе громко:

— С возвращением, рядовой Прохоров!

Вздохнул и, обжигаясь и давясь, выпил полностью. Ковырнул салат, налил второй стакан. Почувствовал, будто мягким обухом перетянули по голове и будто размякла спрятанная внутри стальная пружина, зашумел прибор и стало покойно и тихо. Чтобы не задерживаться и не терять контроль, выпил залпом второй — за взвод. Потом вылил остатки в стакан, положил сверху корочку черного хлеба, бросил на стол деньги, тут же встал, подхватил чемодан и вышел на улицу. Там он сразу почувствовал, как его повело. «Штормит», — подумал Степан. Тут его стало сильно мутить. Он нетвердым шагом завернул за угол. Там его вырвало, он долго сплевывал горькую слюну, вытер рот и усталο побрел по улице.

Он вышел из городка, и даль бескрайняя приняла его. Родные поля, приходившие на чужбине во снах, полузабытые, все эти два витавшие миражной дымкой, наконец, вернулись. Колосилась пшеница, ветер волнами гулял по ее широко раскинувшемуся телу, ласкал и гладил его, а там, вдалеке, манила загадочной синевой полоска леса, и уходила за горизонт дорога, раздвигала своими плечами совхозные поля, цепляла изгибом опушку леса. Раньше бетонки здесь и в помине не было. Прошедшее время застыло в дороге.

Степан шел прямо. Навстречу и вдогонку ему проносились грузовики, он делал шаг в сторону, пропускал их.

Потом он свернул на грунтовку и сразу утонул в пыли,

которая легкой взвесью покрывала дорогу. Черные ботинки сразу посерели. Прохоров вспомнил афганскую пыль — желтовато-коричневую, едкую, от которой не было никакого спасения. И подумал, что даже пыль наша — роднее и милей.

Оставалось совсем немного. Степан уже видел ветхий купол церкви, поросший от старости кустами и мхом. Он упал на траву у дороги, раскинул руки, потом перевернулся на спину. В небе неподвижно висели белые кучевые облака, солнце припекало, но не сильно, будто понимая, что Прохоров дома, а значит, зной сейчас неуместен. Он вернулся в свои истоки, чтобы снова обрести себя, вернуть прошлое и найти покой.

Потом он встал, снова тронулся в путь. Сейчас он отчетливо сознавал, какой трудной будет встреча. Как хотелось ему вернуться в дом тем беззаботным, без груза прошлого мальчишкой, без боли, страданий, жестокости, испытанных и приобретенных за последние два года. И если бы можно было вычеркнуть из памяти прошлое, то он согласился бы без колебаний. И пусть уйдут в небытие, по ту сторону сознания мрачные горы, угрюмые смуглые люди, лихие пути-дороги. И пусть исчезнет в беспамятье странная, чужая и непонятная «страна Афганистана», которая нелепо и горько вошла в судьбу его поколения.

Так он думал, когда подходил к околице села, и понимал, что никуда не уйдут в тартарары два года его жизни на чужбине, не пропадут и не сгинут. Не возвратится лишь его юность, потому что прошла и растаяла под самым жарким небом. И он останется тем, кем уже стал, не новым, но уже и не прежним, и дороги назад ему нет ни в одном из возможных вариантов.

Обезлюдело село. Он видел заколоченные наглухо дома, заросшие палисадники, заброшенные сады. Исчезли, поразъехались люди, увезли детей, продали или раздали ненужные вещи. Не только он сам — село стало другим, умудренным лишь только горьким опытом одиноких старцев, вымирающее, уходящее. И может, скоро только мертвецы с погоста прозрачными синими тенями будут бродить по скрипучим половицам пустых хат.

Когда же началось это медленное умирание? Или же — затянувшееся выжидание? Может быть, просто лопнуло людское терпение, и мало-помалу, как воздух из пробитого колеса, начали исчезать, убегать люди? И никакие посулы, уговоры и угрозы не в силах остановить это движение. Видно, перекачали с давлением-то...

Прохоров шел по родному селу. Сердце колотилось, и все казалось ему, что из всех окон смотрят на него десятки глаз. Но на улице было пустынно: ни детей, ни женщин, ни мужиков. Только пропылил на велосипеде незнакомый парень.

— Здравствуй. Кирилловна! — заметил он сторбисную старуху у калитки.

Та не ответила, быстро перекрестилась.

— Чего крестишься... — буркнул Прохоров. — Не видишь — живой.

Прохоров перекинул из руки в руку чемодан и зашагал дальше. Впереди виднелась его хата. Пугающая мысль пришла в голову: а вдруг не ждут, вдруг не предупредили и не дошла телеграмма?... Он остановился, почувствовал, как заломило в груди. «Нет, не может быть... Не может». Он поставил чемодан на землю и огляделся. Было тихо. Степан снял панаму, вытер взмокший лоб и тут заметил, как дрогнула в окошке занавеска и за ней мелькнуло лицо матери. Степан охнул растерянно, схватил чемодан, рванулся вперед, тут же выбежала мать, он бросился к ней, она повисла у него на шее, что-то судорожно говорила сквозь рыдания.

Через полчаса прикатил на велосипеде запыхавшийся отец, и они снова обнимались, но уже втроем. Никогда они не были так близки и дороги друг другу.

— Страшно там было, сынок?

— Страшно, батя.

— И убивать приходилось?

— И убивать...

— Да-а... — протянул он задумчиво. — Мать наша чуть с ума не сошла. Не стала спать — и все. Боялся, совсем худо с ней будет.

Степан вдруг понял, что совершенно не заметил перемен в матери, не взгляделся в привычные ее черты, будто прошедшие два года касались только его самого, а жизнь родителей как бы приостановилась. Он пристально посмотрел на отца и увидел, что и отец постарел, что потемнело его лицо,

под глазами нависли тяжелые серые мешки, а лоб и шею уже навечно избородили твердые морщины.

— Мать до останнего дня не верила, что ты погиб. Гроб хотели открыть, а лейтенант нам: никак нельзя.

— Я ему, сынку, сказала тогда: знаешь ты хоть, что такое сына скоронить? — Она села, вытерла руки о передник. — Бессовестные вы все люди! Ошибка! Срам-то какой. Як теперь Ивановым в глаза дивиться?

Она замолчала, и Степан впервые увидел, какими странными могут быть глаза матери: круглые и пустые, будто в них на мновение полностью исчезли все мысли.

— Да уж. Такое случилось, что теперь не жить, а молча удивляться, — отозвался Степан. Он встал, достал из грубки медную табличку.

ПРОХОРОВ

Степан Васильевич

19 $\frac{4}{III}$ 65 — 19 $\frac{31}{V}$ 85

— А почему не написано, что погиб в Афганистане? — вдруг резко спросил он. — Лежит, значит, закопанный душень двадцати лет, и не ясно, отчего же он помер: от водки ли, от запора, а может, грибами отравился?

— Что ты такое гомонишь, сынку? Судьба тебе вышла живым остаться, а ты бога гневишь...

— Что ты, мать, все про бога? Или верующей стала?

Мать осеклась, замолчала. А отец выдавил:

— Ты, Степан, не шуми. Не по своей воле тебя хоронили... Командирам своим спасибо скажи. А про Афганистан не разрешили написать. Не положено, говорят.

Степан скрипнул зубами, промолчал.

В хате повисла тягостная тишина. Слышно было, как в окно билась большая черная муха.

— Завтра к Зойке поеду...

— Не езжай, сынок! — испуганно встрепенулась мать.

Степан метнул колющий взгляд:

— С чего это вдруг?

— Замуж она вышла у Брянску. Дней десять как.

— Как замуж?! — Он захохотался, сник, сразу понял, что все это правда... Почувствовал снова, как цепенеет сердце и будто земля уходит из-под ног.

— Ладно... Ладно, Зосчка... Быстро же ты...

— Не думай о ней. — кашлянул отец. — И давай за Женю, за друга твоего высьем.

Степан молча хватнул стакан, порывисто встал, пошел к дверям.

— Куда ты? — вскопчила за ним мать.

— На могилу пойду...

Он открыл калитку в палисаднике, нарвал цветов. С этой охапкой и пошел по селу, свернул у магазина, спустился вниз по тропке. Впереди показались знакомые березки, ветер тянул их за верхушки, они покачивались, отвечали легким светлым шумом. За деревьями он не разглядел, а сейчас увидел Григория Иванова. Сидел он, обхватив голенища своих сапог, рядом валялась истертая кепка. Степану показалось, что Женькин отец плачет. Он хотел было повернуть назад, но Григорий обернулся. Степан увидел его небритое темное лицо и красные глаза-щелочки. «Какой он старый», — невольно подумал Прохоров. Он молча подошел к могиле.

— Можно, Григорий Иванович?

Тот не ответил, и Степан стал раскладывать цветы на могиле. Странное чувство он испытывал: будто находился на своих похоронах. И пирамидка стояла как знак его смерти. Понимал, что абсурд, и все же не уверен был, вроде не Женька закопан тут. Ведь страшное случилось не здесь, а там, где все не так, жизнь наизнанку и в мертвых превращают живых. Там он остался, Женька!

— Уходи отсюда, слышь?

— Зря вы так, Григорий Иванович... — тихо сказал Прохоров и повернулся, чтобы уйти.

— Стой. Сядь рядом.

Степан повиновался, аккуратно опустился на землю рядом с могилкой. У фанерной пирамидки стоял словый венок с лентами. Рядом поставлена фанерная табличка, сделанная наспех: «Иванов Евгений Григорьевич». Ни даты, ничего.

Будто тайная надежда сдержала руку, чтобы не ставить пока последнюю точку на этом маленьком знаке, обрывающем отпущенное человеку время.

Так они сидели рядом: отец — не отец, сын — не сын, два обожженных судьбой человека, временные попутчики одной скорби. Правда, скорбел каждый по-своему. Потому что у одного из них уже ничего не проглядывало впереди. И Прохоров понимал это и ничего не мог поделать, да и никто не мог бы, потому что такая уж случилась правда: нестарые отцы хоронили своих ребят.

В его воображении предстала вся земля, которая приняла в себя сыновей. Черными звездочками вспыхнули на ее просторах свежие могилы — и погибших его взвода, и многих других; уже потускневшие от времени звездочки, из давних, тоже продолжали гореть черным светом, и тут, и там напоминая о неуснувшей своей боли.

«Кто же даст ответ, за что лишили жизни его сына?» — думал Прохоров.

Отец Иванова по-прежнему сидел, уткнув голову в колени, коричневая шея обнажилась, а поседевшие космы волос словно пытались прикрыть ее незащищенность.

И сам себе сказал: «Никто не даст ответа. Все будет ложью».

— Ты скажи. — вдруг тихо и хрипло спросил Григорий Иванович. — это он здесь похоронен или кто другой?

— Он, Григорий Иванович, — выдавил Степан и опустил голову. — Женя на моих глазах погиб. Я ему до боя письмо дал свое почитать. С этим письмом его и нашли.

— Знаю...

— Женя спас меня, утащил под скалу и камнями прикрыл. Ранили меня в самом начале... Потом я сознание потерял, а когда очнулся, он уже убит был. Все убиты были. Ну, а потом душманы издеваться начали: стреляли в голову, руки резали...

— И Женю?

— И его тоже.

— А ты отлежался, значит?

— Отлежался... — вздохнул Степан. — Что я мог? Разве что подорваться гранатой...

— А не врешь?

— Нет.

— Ладно, Степа, иди. И не сердись на меня, старика.

— Григорий Иванович...

— Иди, говорю. Потом как-нибудь ко мне придешь. А сейчас иди.

Он снова опустил голову и обхватил колени. Степан заметил, как дрожали его руки, и поспешил уйти.

У каждого путника — своя дорога, думал Прохоров. Ему досталась одна, а по другой навски ушел его взвод, чтобы снова возвратиться в какую-нибудь душную ночь, но — только в его памяти. Нужен ли был столь дальний путь в неведомые края, где отцы не могли защитить своих сыновей, уберечь их от пуль? Он не знал. Уверен был лишь в том, что за пройденное стыдиться не будет. Он ведь честно свое отшагал.

Своей дорогой шел третий взвод горной роты капитана Босва. И сейчас, в эту самую минуту, их печальные и просветленные лики проплывают в безмолвии гор; они идут сомкнутым строем, над вершинами, и последняя шеренга все так же не заполнена, наверное, для того, чтобы мы, живые, помнили о них. Кто их осудит, что не смогли донести светлые огоньки своих душ, а оставили лишь невыплаканную боль по чужой земле? Кто их восславит? Наверное, время, ибо не зарастают следы...

Да воздастся им, уходящим в горную даль, к незримому свету черных звезд, памятью и покоем.

Поэзия



Валентин
БЕРЕСТОВ

☆☆☆

Страна всплывает, как со дна морского,
Вся в водорослях, тине и грязи.
И столько здесь волиения мирского
(Взывай, взрывайся, визии, вывози).
Что чуда настоящего не видишь,
Хотя и почти немислимо оно.
А это возникает Китеж,
Когда-то канувший на дно.

Товарищ Ракитов

В открытой машине его привезли,
И крепкие руки у нашего дома
Хватают меня. Высоко от земли
Плечо председателя облизполкома.

Веселым в то утро он был чересчур,
И иррадиационно слишком белела рубаха.
Авто распугало кудахтавших кур.
Сижу на коленях у гостя без страха.

Но страх в мою душу прооникнет иотом.
И в памяти долго рубаха белела
Того, кого вскоре объявят врагом
Народа за некое «черное» дело.

А он педагогов собрал в районе
И дал указание в последней беседе:
«Что будет, то будет. Но вы все равно
Разумное, доброе, вечное сейте!»

Возрождение

Всплывали печали,
Которых давно уже нет.
Горели обиды,
Которых простыл уже след.
Так, прежде чем солищу
Явить молодые победы,
Весня открывает весь мусор
В подтаявшем снеге.

Трагедия и детектив

В трагедиях все жертвы живы
Почти до самого конца
И смертью трогают сердца.
Другое дело — детективы.
Тут начинают с мертвеца,
Которого ничуть не жалко.
Для нас ведь главное — смекалка!



Кирилл
КОВАЛЬДЖИ

От границы до границы
Не объять отчизну-мать,
И со всем, что в ней творится,
Ум не в силах совладать,
И таких пространств, как эти,
Без концов и без начал,
Ни один народ на свете
Никогда не получал.
От подобного размаха
В доме ветер и сквозняк,
Эхо праздника и страха,
Слева свет, а справа мрак.

Удалой играя силой
На Днепре и на Оби,
Ты сынов своих, Россия,
Одиноких не губи.
Хоть сбиваешься со счета,
Всех учти до одного,
Всех верни в свою заботу,
А не только большинство.
Кто вдали, а кто под боком —
Взор в просторах не топи
И пророка ненароком
И младенца не приспи!

Михаил Лунин. 1845

— Россия, боль моя,
к чему мне ум и зреньё?
Меня вот-вот сметет
наплыв небытия.
Кругом самообман
и самообольщение.
А я себе не лгу,
Россия, боль моя.
Не вышло, не сбылось,
не состоялось снова.
Все койчено. Тянусь
в грядущие века,
Как через пропасть мост,
и вновь рукой слепого
Опоры ищет в воздухе
строка.

Свобода

— Мы вспоминаем постепенно:
Предначертаниям верна,
Из моря крови, красной пены
Явилась светлая Она.
Ей гибель с первых дней грозила,
Над Ней кружило воронье;
Мы стали знаменем и силой,
Мы стали голосом Ее.
Пока мы мерли и боролись,
Чтоб только выжила Она,
Ее доверили мы воле
Сурового онекуна.
Мы для Нее недоедали,
Мы Ей несли свое житье,
Дворцы из мрамора и стали
Мы воздвигали для Нее.

Когда потребовались штурмы.
Мы не жалели снаповей,
Когда потребовались тюрьмы,
Мы даже тюрьмы дали Ей.
Любой ценой мы побеждали.
Нам становилось все трудней,
Чем больше мы о Ней кричали,
Тем меньше думали о Ней.
Мы славословили и гибли,
Мы чаще вышли до дна,
Когда ж внезапно оглянулись,
Мы спохватились: где Она?

1956

Полоумный

Я научен теперь, я научен.
я прикинусь нормальным, иначе
будут снова ловить и настойчиво мучить.
Делать нечего. Поутру
просыпаюсь, иду умываться,
хлещет кровь из открытого крапа,
ничего, я беру полотенце,
отпечаталось красным лицом,
все в порядке, я к вам выхожу,
напевая игривый мотив.
все довольны, и завтрак на столике,—
в этом мире никто не убит.

Как улитка

Как улитка — сладость воли
находил он взаперти:
жизнь опасна, жизнь — как поле
минное — не перейти, —
каждый шаг непоправимый,
роковой, необратимый,
неисповедимы все пути...
Страшно быть религиозным,
атеистом — страх двойной.
Опасался быть серьезным,
как паяц — перед судьбой.
у часов он стрелки отнял,
чтоб ни холод, ни жара.
чтобы завтра — как сегодня,
а сегодня — как вчера:

— Как улитка — медленно, уютно
в раковине спы свои смотрю,
потому что различаю смутно
века двадцать первого зарю...

Диалог

1.

— Как поэт интеллигентный,
соучастник бытия,
между фактом и легендой
разрываюсь я —
между правдой и искусством,
между разумом и чувством,
между силой и кривдой,
между Сциллой и Харипдой...

2.

— По границе, но кроме, по краю
я иду и на флейте играю,
по канату, по бревнышку —
справа
пресмыкается фактов орава,
зваться правдой имеющих право;
по карнизу, по лезвию —
слева
ложь, воздушных палат королева,
как сирена с отравой напева;
или справа — неправды посевы,
или слева — целебные травы,
или молнии рока и гнева
между скал государства и права;

но к груди прижимаю надежду,
что ни вправо, ни влево, а между
проскочу я, невидим, неслышим,
между бывшим и ненаступившим,
как взлетает над ложем Прокруста
между фактом и ложью —
искусство.

Отзвуки юности

1.

Юность — это варианты рая,
Впереди дорог не перечесть,
И мне сладко медлить, выбирая,
Ведь пока не выбрал — выбор есть.

Мой он, расширяющийся личный
Мир. Со всеми поделиться рад
Я своим богатством неприличным,
Ведь пока не выбрал — я богат.

Так себя я тешил для отвода
Глаз, призываю на заметку взят...
Все же — безответственность, свобода,
Молодость — бессмертье напрокат!

2.

Как за тобой я хожу?
А вот так и хожу и на скрипке играю,
на незримой — оставить тебя не могу
без музыкального сопровождения.
Так иду за тобой до самой границы,
до незримой — закрытой лишь для меня,
и в разлуке всю ночь
я держу тебя нитью мелодии,
чтоб ты завтра вернулась
и все повторилось сначала.

3.

Никто тебя не видел такой,
ни ночью, ни днем, ни в толпе городской,
никто никогда, ни зимой, ни весной,
ни мать, ни отец, ни даже сама ты
на фото ли, в зеркале — с той красотой
все свыклись, и, боже, из пены морской,
кто видел, рождалась какая, объята
свечением, аурой зыбкой, любовью
в тот миг... до сих пор ослепляются болью
глаза — только я тебя видел такой!

4.

Это молодость, вдохновение,
Очертания чуда вчерне,
Это музыка возникновения,
Это крылья и слезы во сне.
Мир открылся, назвавшись тобою
И твои обретая черты.

Мы расстались на миг, и с тоскою
Я смотрю: это ты и не ты...
Может, свет пропадает в алмазе,
ускользают лучи с озера,
может, словно стихи в пересказе,
остаются черты лица?

Похороны. Полдень.

На кладбище «Дойня»
лежал мой отец, красивый, спокойный,
под июньским небом высоким,
перед голубым горизонтом широким,
лежал он смуглый, согретый солнцем, родной,
его седые волосы
ветерок шевелил рукой.

Отец казался крупнее ростом,
выглядел он значительно
и удивительно просто,
и всем видом своим говорил мне отец,
что ничего тут страшного нет
и не значит, что это — конец.

И тогда я впервые почувствовал
свою принадлежность к тому,

от чего оторвался я
однажды, родившись для бытия,
а теперь восстановлена связь
через жизнь,
через солнечный перевал,
когда своего родителя,
плоть родную,
туда передал...

☆☆☆

Начиненный весь взрывчаткой, вертится
Шар земной — сам у себя в плену.
Вот реальность. Только мне не верится,
Что решится кто-то на войну.

Я из тех, кто с детства жил в присутствии
Смерти, взят войною на прицел,
Потому-то кажется: безумствами
Мировыми век переболел.

До сих пор молюсь на мир теперешний
И, других не требуя судеб,
Беженцу подобно, трачу бережно
Воду, свет, тепло, бумагу, хлеб.

Прощание Сент-Экзюпери

Покуда есть Париж,
еще я жив и молод,
Пусть не вернусь к нему
из дальней стороны,
Мне только надо знать,
что существует город,
Бессонный свет, и бред,
и странный звук струны.

Осенний тернистый вкус
трагической свободы,
Всеведение и смех,
любовь и слепота...
Его бессонный свет
проплыл под самолетом,
Бездонная вокруг
открылась чернота.

Покуда есть Париж,
еще я жив и молод,
Где б ни был — встрепенусь
и потянусь к нему,
Но и во сне боюсь,
что подступает холод.
Что брошен он один
во тьму, во тьму, во тьму...

С площади Маяковского

Там, за высотным зданием на Смоленской,
Выглядывает солнце в нол-лица.
Горит пролет Свдогов кольца —
Закат изобразил пожар вселенский.

На площади шаг уходящий женский
Поэт чугунный ловит без конца.
Тень — под колеса... из-под колеса...
(Из «Юности» выходит Вознесенский.

Он старше Маяковского. Но он
Все ж младше...) Что дают в кулинару?
Осваивают голуби балкон.

Метро толкает скопища людские,
Но огненный распахан небосклон
Над буднями. Как и судьба России.

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ

ВОСПОМИНАНИЯ

(Заключительные главы)

О. Э. Мандельштам.
1916 г. Портрет работы
Л. А. Бруни.



Судьбы наши не захотели разделиться, но именно то, что тогда они не разделились, отделило мою гражданскую судьбу от мандельштамовской: бродячая и бездомная, в чужом кругу, среди чужих людей, я меньше о нем напоминала, чем живи я в писательском доме или вообще в Москве. За мной, конечно, всюду следовало мое досье, личное дело, заведенное на меня органами, но я числилась «за Москвой», и провинциальные доносы меня не стужили. Благодаря Костыреву, который выгнал меня из дому, и накричавшему на меня милиционеру я уцелела. Если б я осталась в Фурмановом переулке, писатели, соблазненные жилплощадью или из чисто государственных побуждений, непременно напомнили бы обо мне властям предержащим.

Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляла случайность, но в большинстве случаев они были роковые и случайно приводили людей к гибели. Я много наблюдала таких случайностей, когда часами стояла в очередях с передачей денег или за справкой в прокуратуре. Однажды я видела женщину, у которой случайно забрали сына вместо его однофамильца и соседа, которого в момент ареста не было дома. Женщине удалось пробиться куда-то и доказать, что в ордере, по которому забрали ее сына, стояло имя и отчество его соседа. Ей пришлось для этого свернуть горы, и она это сделала. Уже пришел приказ об освобождении, но тут выяснилось, что сына нет в живых. Он погиб по дикой случайности, а сосед случайно выжил и скрылся.

Женщина — дело было в прокуратуре — рыдала и выла, узнав о смерти случайно забранного сына. Прокурор вышел из своей клетки и накричал на нее с такой же напускной яростью, как милиционер на меня. Кричал он из воспитательных целей: разве можно выполнять ответственную прокурорскую работу, не обеспечив себе тишины? Обязанности прокурора заключались в том, что он давал справки — одному говорил: десять лет; другому: десять без права переписки. Справок о смерти здесь не выдавали; женщина, у которой умер сын, отличалась, видно, неслыханной хваткой, раз добилась объяснения, почему не возвращается ее сын. О смерти обычно узнавали случайно или не узнавали вовсе, а что такое «без права переписки», тогда еще не понимали.

Вокруг кричащего прокурора и воющей женщины собрались люди из очереди. Они тоже не одобряли крикунью. «Что уж тут плакать, — резюмировала какая-то терпеливая баба, тоже справлявшаяся о сыне, — теперь уж не воскресить... Только нас задерживает». Скандалистку вывели, и снова водворился порядок. У советского человека развито особое уважение к учреждениям, или, как это называлось раньше — присутственным местам. Если бы сын умер дома, никто не возмущился бы крику и причитаниям матери, но внутренняя дисциплина не позволяла шуметь в присутственных местах. Все мы отличаемся поразительной выдержкой. Мы умели прийти на службу после ночного обыска и ареста близких и там улыбаться, как всегда. Улыбаться нам полагалось. Нами руководил инстинкт самосохранения, страх за своих и особый кодекс советских приличий. При втором аресте сына Анна Андреевна нарушила этот кодекс: она взвыла в присутствии тех, кто пришел за Левой¹. Вообще же она держалась хорошо и даже заслужила одобрение Суркова: «Анна Андреевна так поразительно держала себя эти годы»... А попробуй держи себя иначе, когда там у тебя заложник... Случайность ли, что почти никто из нас не нарушал правил советского приличия? А вот О. М. их не соблюдал совершенно. У него не было никакой выдержки. Он шутил, кричал, ломился в закрытые двери, ярился и не переставал удивляться тому, что происходит, до последней минуты.

Сейчас моя выдержка и самодисциплина ослабели, и я пишу эти страницы, хотя нам объяснили, что вспоминать те годы надо уметь. Единственная разрешенная форма подобных воспоминаний — показ того, что человек в любых условиях остается верным строителем коммунизма и умест отличать главное — нашу цель — от второстепенного — своей собственной искалеченной и растоптанной жизни. О правдоподобию этой концепции не позаботился никто: без этого можно обойтись... Выдвинули ее как будто люди, проводившие полжизни в лагерях, а те, кто их на каторгу загнал, одобрительно кивнули. Мне только раз пришлось столкнуться со сторонником этой концепции — между мной

Продолжение. Начало см. в № 7 за 1989 г.

и ними стоят непроницаемые социальные перегородки, и эта встреча могла состояться только случайно.

«Что это еще за Солженицын? Ваши все о нем говорили», — спросил меня мой сосед по купе — я ехала в Псков из Москвы, и меня провожала целая ватага, взволнованная и радостная, потому что накануне мы узнали, что Твардовский наконец добился разрешения напечатать повесть Солженицына в «Новом мире»². Поглядев на своего наспуленного спутника, я сразу поняла, что между нами существует незримая связь на манер сообщающихся сосудов. Есть, впрочем, разница: жидкость в сообщающихся сосудах колеблется, пока не сравняются уровни, а наше с ним душевное состояние никогда не бывает на одном уровне — чем выше у него, тем ниже у меня, и наоборот.

Я рассказала про Солженицына и услышала приговор: «Зря печатают... Читали рассказ «Самородок»³?.. Можно бы обойтись без него, но все-таки есть воспитательная идея»... На мои возражения он сказал: «Надо понимать — это была историческая необходимость». «Почему необходимость», — возразила я, — ведь говорят, это случайность: плохой характер Сталина». «С виду вы человек образованный, а Маркса плохо читали. Забыли, что ли, что случайность — это неосознанная необходимость»... Это означало, что не будь Сталина, кто-нибудь другой загнал бы в лагеря всех этих людей...

На моем спутнике была военная куртка без погон и желтое одутловатое лицо, как у людей, всю жизнь просидевших за письменным столом и страдавших бессонницей. А сидеть он привык на кресле: качнувшись всем корпусом к собеседнику, он вдруг слегка приподнимал руки, словно искал для опоры ручек кресла.

В разговорах моих друзей он уловил еще имя Пастернака. «Тот самый Пастернак?» К истории с книгой Пастернака он отнесся с профессиональной четкостью: это был просто грубый недосмотр. «Как могли допустить... Подумайте, до чего довели: за границу переслал. Прохлопали...» Самого Пастернака он не читал и «читать не собирался». «Кто же его читает? Я в курсе литературы, приходится... И то не слышал...» Я возразила, что он не слышал ни про Тютчева, ни про Баратынского. Он вынул записную книжку: «Как вы сказали? Ознакомлюсь...»

Про себя он сначала сказал, что он врач, сейчас на пенсии — по возрасту как будто рановато на пенсию — и занимается в помощь милиции работой с малолетними правонарушителями. «Почему не медициной?» «Так пришло». Медицина оказалась далеким прошлым, а в своей деятельности ему почему-то приходилось выслушивать и сторонников, и врагов прошлого режима. «Где ж это враги могли разговаривать?» — спросила я, но ответа не последовало. Выйдя в отставку, он выбрал Таллинн, где ему случилось бывать «по долгу службы», и ему дали там трехкомнатную квартиру, а живут при нем жена и младший сын. «Что-то я не слышала, чтобы врачам давали трехкомнатные квартиры на такую семью», — сказала я. «Бывает», — лаконично ответил он.

Вспомнив про семью, он поделился со мной как с педагогом своим горем. Старшие двое у него удачные. Он себе устроил вроде отпуска и ездил их навещать: дочь замужем за секретарем обкома, сын сам работает в обкоме. А вот младший, родившийся после войны, нигде не годится — тунядец, хочет бросить школу и идти работать на завод. «Почему ж тунядец, если хочет работать?» — спросила я. Оказалось, что сын не хочет жить с отцом — товарищи ему наговорили; мало того, он еще действует на мать, и она тоже стала чего-то ершиться. «А все потому, что старшие нужду знали во время войны: аттестата ведь не хватало. Младший в довольстве рос — апельсины, шоколад. Вот и вырос таким. Рожать его не надо было...» Он не сумел мне объяснить, как будет при коммунизме, когда дети не будут знать нужды: все ли они отобьются от рук? А товарищи сына, видно, запомнили деятельность отца, приезжавшего в Таллинн по долгу службы.

Мне было ясно, что я разговариваю с «обломком сталинской империи». Случайность ли, что сын взбунтовался против отца? Случайность ли, что отцу не хочется ворошить прошлого, этой «исторической необходимости», ради которой он поусердствовал? Повесть Солженицына, как оселок: по реакции каждого читателя можно судить о его прошлом или о прошлом его семьи. Прошлое еще не изжито и не осмыслено. Слишком много народа принимало в нем участие, прямое или косвенное, или по крайней мере молчало о том, что знали, чтобы теперь мы осмелились прямо

взглянуть ему в глаза. Совершенно ясно, чего хотят «обломки империи», которые сейчас сидят в бесте⁴ и занимаются в помощь милиции воспитанием трудновоспитуемых. Они ждут прихода своих модернизированных единомышленников, чтобы благословить молодое и незнакомое племя.

Люди, просто молчавшие или закрывавшие глаза на то, что происходит, тоже стараются как-то оправдать прошлое. Эти обычно обвиняют меня в субъективизме: вы затрагиваете только одну сторону, а ведь было еще многое другое: строительство, постановки Мейерхольда, челюскинцы — мало ли что... Я могла бы прибавить, что еще существовало и небо, и звезды, но все же надо извлечь смысл из того, что совершилось. Мы пережили тяжкий кризис гуманизма девятнадцатого века, когда рухнули все его этические ценности, потому что они были обоснованы только нуждами и желаниями человека или попросту его стремлением к счастью. Зато двадцатый век продемонстрировал нам со школьной наглядностью и то, что зло обладает огромной силой самоуничтожения. В своем развитии оно неизбежно доходит до абсурда и самоубийства. К несчастью, мы еще не поняли, что зло, самоуничтожаясь, может уничтожить всякую жизнь на земле, и об этом не следовало бы забывать. Впрочем, сколько бы ни кричали люди об этих простых истинах, их услышат только те, кто сами не хотят зла. Ведь все уже бывало, и кончалось, и начиналось снова, но всегда с новой силой и с большим охватом. К счастью, я уже не увижу, что готовит нам будущее.

Монтер

«Сдаваться еще рано», — сказал наутро О. М. и пошел в Союз писателей к Ставскому, но тот его не принял: раньше, чем через неделю, — передал он через секретаря, — он принять О. М. не сможет, потому что занят по горло. Из Союза О. М. бросился в Литфонд, и там на лестнице с ним случился припадок стенокардии. Вызвали «Скорую помощь» и доставили О. М. домой, приказав лежать. О. М. только этого и хотел: он надеялся дожидаться приема у Ставского и через него добиться прописки. Ему было невдомек, что, умывая руки, все эти ставские, которые служат посредниками между нами и нашими хозяевами, всегда говорят, что они заняты: минутки не могут уделить... Точно так Сурков в 59 году, когда меня выперли в последний раз из Москвы, объяснил, что никак не может вырвать минутку, чтобы поговорить о моем деле с товарищами. Мне это, впрочем, грозило только бездомностью, а в сталинское время речь шла о жизни и смерти.

В довольно хорошем настроении О. М. полеживал на «бес-сарабской линейке», и каждый день к нему приходил врач из Литфонда. Дней через десять его отправили к консультанту Литфонда, профессору Разумовой, женщине с умным лицом, в комнате которой висели этюды Нестерова. Нас удивило, с какой легкостью она дала справку о том, что О. М. нуждается в постельном режиме и общем обследовании. Конечно, она не обязана была знать юридическое положение О. М., но после воронежских и чердынских мытарств отношение Разумовой, да и других врачей Литфонда, показалось нам удивительным — словно снова возникла в России интеллигенция с ее отношением к ссыльным.

Тут-то О. М. и завладела безумная мысль — перехитрить судьбу и любым способом зацепиться за Москву, единственный город, где у нас все-таки была крыша над головой и мы могли как-то существовать. Его спутало то, что и сам Литфонд шел ему навстречу: посылал врачей и справлялся о здоровье. Как это объяснить? Быть может, кто-нибудь из работников сочувствовал О. М., а может, они просто испугались, увидев, как протекает припадок — как бы их потом не обвинили, что они не оказали вовремя помощи... И то, и другое было вполне реально. Так или иначе, Литфонд старался чем-то помочь, а в наших условиях это вещь удивительная: уравниловки ведь у нас не было и нет, и каждому положено лишь то, чего он заслужил.

Приехал Костырев, покрутился, стука дверями, и ушел, сообщив моей матери, что пробудет несколько дней в Москве. Вскоре он вернулся и оставил свою дверь к нам в комнату открытой. Мы — у нас еще сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом из Ленинграда в Крым, — решили, что Костырев просто подслушивает, но оказалось, что он ждет посетителя. Этого посетителя он к себе в комнату не провел, но остановился с ним в нашей комнате, где мы сидели за шкафом. Разговаривал он с пришедшим о проводке. Посетитель, очевидно, монтер, советовал проводку

менять, и у меня даже мелькнула мысль, что Костырев становится чересчур хозяйственным. «Что-то не то», — вдруг сказал О. М., насторожившись. Я не успела остановить его: мне показалось, что у него снова начались галлюцинации, потому что он высокочил из-за шкафа и подошел прямо к монтеру. «Нечего притворяться, — сказал он, — говорите прямо, что вам нужно — не меня ли?»

«Что он делает», — в отчаянии шепнула я Рудакову, в полной уверенности, что О. М. бредит. Но, к моему удивлению, монтер принял это как должное. Еще две-три реплики, и они показали друг другу документы. Тот, кто минуту назад изображал монтера, потребовал, чтобы О. М. шел за ним в милицию. У меня было смешанное чувство ужаса и радости. Мелькнули две мысли: «Уж не выплюнут ли его этаном?» и «Слава Богу, это не галлюцинация»...

О. М. увели в милицию. Рудаков побежал за ним. Но доставить преступника в участок не удалось: по дороге его опять хватил припадок. Вызвали «Скорую помощь», и наверх его внесли на кресле, которое раздобыли в нижней квартире у Колычева. Пока врач возился с О. М., сыщик-монтер сидел в комнате. Когда О. М. отлежался, он показал странному гостю все свои медицинские справки. «Дайте ту с треугольной печатью», — сказал сыщик и, забрав справку Разумовой, пошел к Костыреву звонить по телефону. Получив инструкцию, он вернулся к нам: «Пока лежите», — и ушел.

Несколько дней О. М. пролежал. Каждый день, утром и вечером, приходили наш монтер или его смениши — все в питатском. Кроме них, приезжали врачи. Днем О. М. развлеклся: «Сколько у них со мной хлопот!» — и рассуждал о том, что к нам пришли бы ночью, если б он вовремя не сообразил, что за птица этот монтер... Ночью настроение портилось. Однажды, проснувшись, я увидела, что он стоит, закинув голову и растопырив руки, у стены, в ногах у кровати. «Что ты?» — спросила я. Он показал на распахнутое окно: «Не пора ли?... Давай... Пока мы вместе...» Я ответила: «Подождем», и он не стал спорить. Хорошо ли я сделала? От скольких мучений я бы избавила и его, и себя...

Утром мы выдержали визит монтера, который обещал прислать «своего врача». Вечернего сыщика мы дожидаться не стали и ушли из дому. Ночевали мы у Яхонтова, развлекаясь, как могли. Днем я пришла домой, чтобы приготовить вещи к отъезду, но Костырев сбежал в милицию, и на этот раз туда потащили меня. «Где Мандельштам?» «Уехал». «Куда?» «Не знаю»... Мне пришлось покинуть Москву в двадцать четыре часа. За свою работу Костырев получил комнату О. М. размером в 16 метров. Там и сейчас живут его вдова и дочь. Хотелось бы, чтобы дочка прочла про своего отца, но у таких родителей дети книг не читают, разве что «по долгу службы», если они тоже попали в «литературный отдел» Лубянки. В этом случае лучше, чтобы эта рукопись ей не попадалась.

Три дня мы присидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области. Выбрали мы Кимры. Сбланила нас близость Савеловского вокзала от Марьиной рощи, где жили Яхонтовы, а еще то, что Кимры стоят на Волге. Узелный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки. В квартире на Фурмановом мы больше не показывались. Вещи на вокзал обещали привезти братья — Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич. Чтобы проститься с моей матерью, мы вызвали ее на бульвар. Увидев маму, О. М. встал и пошел с протянутой рукой ей навстречу. «Здравствуйте, моя нелегальная теща», — сказал он. Мама только ахнула.

В начале июня мы покинули Москву.

В сущности, милиция проявила необычайную гуманность и мягкость: больному, незаконно проживавшему в Москве, дали отлежаться, а потом предложили уехать. Обычно так не церемонятся, да и больные не решаются задерживаться в запрещенных городах. Кроме того, в нашем случае милиция поступила совершенно законно — ведь людям с судимостью запрещено жить в больших городах. Я же потеряла «связь с Москвой», потому что сжила в провинцию к человеку с судимостью. «Должно же защищаться государство», — сказал мне когда-то Нарбут. Но в том-то и дело, что, защищаясь, оно создало слишком много законов, чтобы оградить себя от человека.

Еще вопрос: преувеличивал ли О. М. свои болезни, пытаясь обмануть государство? Несомненно. Ведь понадобился еще целый год бродяжничества⁷ и восемь месяцев тюрьмы и лагеря, чтобы отправить его на тот свет. У нас имеют право жаловаться на смертельные недуги только те, кто

полезен государству. Политические преступники должны умирать на ногах. О. М. слег в постель, когда он мог еще держаться на ногах, и вел себя так, будто он нужнейший человек, которого государство лечит, пестует и холит. Следовательно, он свои болезни преувеличивал и старался обмануть государство. А оно имело не только законное, но и моральное право защищаться от такого недисциплинированного гражданина.

Наше государство опскает двести миллионов граждан и не собирается потакать тем, кто ему не служит верой и правдой.

Государство — это самодовлеющая сила, которая лучше нас знает, что нам нужно. Когда все народы пойдут по нашему пути, они узнают, что случайность — это несознательная необходимость.

Дачники

«Рано что-то мы на дачу выехали в этом году», — сказал О. М., укрывшись от московской милиции в Савелове, маленьком поселке на высоком берегу Волги, против Кимр. Лес там чахлый. На пристанционном базаре торговали ягодами, молоком и крупой, а мера была одна — стакан. Мы ходили в чайную на базарной площади и просматривали там газеты. Называлась чайная «Эхо инвалидов» — нас так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь. Чайная освещалась коптящей керосиновой лампой, а дома мы жгли свечу, но О. М. при таком освещении читать не мог из-за глаз. Все мы достаточно в нашей жизни насиделись при копилках, так что со зрением у нас не очень хорошо... Да и книг мы с собой почти не взяли, потому что не собирались пускать корней и жили, как настоящие дачники. Это была временная стоянка — она понадобилась, чтобы передохнуть и оглядеться.

Савелово — поселок с двумя или тремя улицами. Все дома в нем казались добротными: деревянные, со старинными наличниками и воротами. Чувствовалась близость Калязина, который в те дни затоплялся. То и дело отсюда привозили отличные срубы, и нам тоже хотелось завести свою избу. Но как ее завести, когда нет денег на текущий день? Жители Савелова работали на заводе, а кормились рской — рыбачили и из-под полы продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже река — по ночам они баграми вылавливали сплавляемый с верховьев лес. Волга еще оставалась общей кормилицей, но сейчас уже навели порядок, и реки нас больше не кормят...

Мы предпочли остаться в Савелове — конечной станции Савеловской дороги, а не забираться в Кимры, облупленный городок на противоположном берегу, потому что переправа осложняла бы поездки в Москву. Железная дорога была как бы последней нитью, связывавшей нас с жизнью. «Селитесь в любой дыре», — посоветовала Г<алина>М<екк>, испытывая все, что у нас полагается, то есть лагерь и последующую «судимость», — но не отрывайтесь от железной дороги: лишь бы слышать гудки...

Запрещенный город притягивает, как магнит. Прописка разрешалась, начиная со сто пятой версты от режимных городов, и все железнодорожные пункты в этой зоне забирались до отказа бывшими лагерниками и ссыльными. Местные жители называли их «стоверстниками», а женщин более точно: «стоятницами». Это слово напоминало им о мучнице Параскеве-Пятнице и о сто пятой версте. Я сообщила это слово Анне Андреевне, и оно попало в поэму⁸. Но узнала я его не в Савелове, а в Струнине, где поселилась после ареста О. М. Так называли меня там рабочие на текстильной фабрике, где я обслуживала двенадцать банковых машин и, меняя с кем-нибудь дневную смену на ночную — ведь все предпочитали работать днем, а не ночью, — сидела в Москве, с передачами или за справками, которых нигде не давали.

Среди московских стоверстников и стоятниц особой популярностью пользовался Александров — «юродивая слобода»⁹ из стихов О. М., — потому что они пересаживались в Загорске на электричку и успевали за один день съездить в Москву, чтобы раздобыть денег или «похлопотать», а вечером вернуться с последним поездом на свое законное место жительства: ведь человеку полагается ночевать там, где он прописан. Поездка из Александрова, благодаря электричке, занимала не больше трех часов, вместо четырех или четырех с половиной по другим дорогам. Когда в 37 году начались повторные аресты, скопления людей с судимостью

в определенных местах оказались на руку органам: вместо того, чтобы вылавливать их поодиночке, они сразу подвергали разгрому целые города. Так как такие мероприятия проводились по плану и контролировались цифрами, чекисты, наверное, получили немало наград за самоотверженный труд и выполнение плана. А опустошенные городки опять заполнялись потоками стоверстников, которых, в свою очередь, ожидал разгром. Кто мог поверить, что городки вроде Александрова были просто западней? Ни у кого из нас не вмещалось в голову, что происходит систематическое уничтожение определенных категорий людей, то есть тех, кто однажды подвергся репрессиям. Ведь каждый верил, что у него индивидуальное дело, и считал рассказы про «заколдованное место» обывательской болтовней. В Москве нас успели предупредить о побойце, происходившем в Александрове, и мы, конечно, не поверили. Мы не поехали туда, потому что О. М. не захотелось в «жордовую слободу». «Хуже места не найти», — сказал он. Кроме того, мы выяснили, что в Александрове чудовищные цены на комнаты, и не пошли по проторенной дорожке.

В Савелове ни дачников, ни стоверстников, кроме нас, не было, если не считать нескольких уголовников, переживавших там грозу: охотились не на них, но в случае нехватки могли захватить и их, чтобы не срывать плана. С одним из них мы разговорились в чайной, и он очень толково объяснил нам, какие у Савелова перспективы по сравнению с Александровом или с Коломной, например: «Если шпана вся в одном месте соберется, ее сразу, как пенку, снимут...» Он оказался сообразительней наивной «пятидесят восьмой статьи», среди которой было много людей со старыми университетскими значками, а они твердо помнили, что каждый индивидуально несет ответственность за свои преступления и что за одно преступление никто дважды не отвечает. Поскольку они вообще никаких преступлений за собой не знали, им все мерещилось, что они добьются справедливости — ведь так вечно продолжаться не может! — а вместо этого попадали в фургон, именовавшийся «Черной Марусей» или «Черным вороном».

В 1948—53 годах я снова наблюдала «стоверстную драму», крохотную драму без содранной кожи, общего рва, без свинца и пыток, которыми так избаловала нас наша эпоха. Я жила в Ульяновске и видела, как его аккуратно очищают от всех, кто получил «судимость». Часть из них забирали сразу, остальных лишили прописки, и они хлынули в стоверстную зону. Там пользовался популярностью город Мелекес. Туда отправился и мой знакомый скрипач, бывший рамповец и бывший партиз, человек возраста О. М., делавший когда-то музыкальную политику с сестрой Брюсова. В 37 году он попал в лагерь и, отсидев восемь или десять лет, попал в конце сороковых годов в Ульяновск. Обезумев от счастья и думая, что все плохое уже позади, — сколько раз все мы попадались на эту удочку! — скрипач решил начать новую жизнь, женился — прежняя жена и дети успели от него «отмежеваться» — на мою сослуживицу, хорошей женщине, и пристроился в музыкальной школе. Новый сын — лобастый мальчишка — уже тянулся к скрипке, и счастливый отец мечтал сделать из него скрипача. Он убеждал меня, что нет большего счастья, чем жить искусством и ради искусства, и цитировал по этому поводу классиков марксизма. Сыну было года три, когда отца вызвали в милицию, лишили прописки и предложили покинуть город в двадцать четыре часа. Я случайно зашла к ним в этот день, сразу все поняла по их лицам и так и осталась их конфиденткой: подобные истории всегда хранились в тайне, иначе могла пострадать вся семья.

В ту же ночь скрипач выехал в Мелекес. Там он снял угол и даже достал несколько уроков скрипки и рояля. Вскоре среди хлынувшей в Мелекес толпы бывших лагерников начались аресты. В маленьких городках такие вести распространяются мгновенно: квартирная хозяйка не преминет сказать соседке, что у нее ночью увели квартиранта. Аресты означали, что в Мелекесе образовалось скопление подозрительных элементов, и местным органам спущен план очистки города. Все бросились в милицию выписываться, и вокзал переполнился беженцами. Скрипач тоже умудрился вовремя убежать из опасного города. С тех пор до самой смерти Сталина, то есть два с лишним года, он метался вниз и вверх по Волге — вплоть до Сызрани — и по всем железнодорожным веткам, кочуя из города в город. В иных местах ему не удавалось даже найти угла, так как все было забито беглецами; в других не прописывали. Иногда он устранился и даже доставал уроки в местной музыкальной школе, но тут

до него доходила весть о том, что и здесь начались аресты, и он снимался и убегал. Во время своих странствий он иногда проезжал через Ульяновск и ночью пробирался к жене. Днем высунуться или постучаться к жене он не смел — соседи бы тотчас донесли. Он дрожал от страха, худел, кашлял и снова пускался в путь вместе со своей скрипочкой. И в каждом новом городе все начиналось сначала. Он даже съездил в Москву жаловаться в Комитет искусств, где его еще помнили, что в музыкальные школы принимают людей без всякого образования, а он, с его квалификацией, остается без работы... Ему обещали посодействовать, но в том городке, где он хотел осесть, начались аресты, и он убежал. Ему даже не довелось узнать, исполнили ли московские чиновники свое обещание.

После смерти Сталина ему разрешили как инвалиду вернуться к жене в Ульяновск. Умер он дома, но сына скрипичному искусству не научил. Он даже не смел приблизиться к мальчику — боялся заразить его туберкулезом, полученным во время странствий по уездным городам, предпринятых для спасения жизни.

Скрипачу благоприятствовало все: оседлая жена, которую не сняли с работы, потому что она сумела скрыть свой брак, к тому же и незарегистрированный, опытность — всегда вовремя узнавал про опасность; даже национальность — тогда первый удар направлялся на евреев. Скрипка давала ему кусок хлеба — именно кусок хлеба, а не что другое, но и это очень важно. Музыканты вообще пострадали меньше других профессий. Но спасся он только благодаря своей неукротимой энергии. Многие на его месте так бы и остались ждать ареста в Мелекесе: «Разве от «них» спрячешься!» А спасся он только для того, чтобы приехать умирать домой. Ведь это тоже огромное счастье.

Глядя на удачливого скрипача, я всегда думала о том, что бы ожидало О. М., если бы он выжил и вернулся из лагеря. Если бы мы могли предвидеть все возможные варианты судьбы, мы не упустили бы последнего шанса нормальной смерти — открытого окна нашей квартиры на пятом этаже писательского дома на Фурмановом переулке в городе Москве.

Воронеж был чудом, чудо нас туда привело, а чудеса не повторяются.

Волка кормят ноги

В детстве, читая про Французскую революцию, я часто задавалась вопросом, можно ли уцелеть при терроре. Теперь я твердо знаю, что нельзя. Кто дышал этим воздухом, тот погиб, даже если случайно сохранил жизнь. Мертвые есть мертвые, но все остальные — палачи, идеологи, пособники, восхвалители, закрывавшие глаза и умывавшие руки и даже те, кто по ночам скрежетал зубами, — все они тоже жертвы террора. Каждый слой населения, в зависимости от того, как на него был направлен удар, переболел своей формой страшной болезни, вызываемой террором, до сих пор еще не оправился, еще болен, еще негоден для нормальной гражданской жизни. Болезнь передается по наследству, сыновья расплачиваются за отцов, и только, пожалуй, внуки начинают выздоравливать, или, вернее, болезнь принимает у них другую форму.

Какой негодяй посмел сказать, что у нас не было потерянному поколению? Он сказал неслыханную ложь — и это тоже результат террора. Ведь у нас гибло одно поколение за другим, но процесс этот совершенно не похож на то, что было на Западе. Ведь все работали, боролись за свое положение, надеялись на спасение и старались думать только о текущих делах. В такие эпохи текущие дела — настоящий наркотик. Нужно, чтоб их было побольше. Надо в них погрузиться — тогда года пролетают скорее и в памяти остается серая рябь. Среди моего поколения только единицы сохранили светлую голову и память. В поколении О. М. всех поразил ранний склероз.

Это все точно, но при всем том я не перестаю удивляться, какие мы оказались стойкие. После смерти Сталина брат Женя мне как-то сказал: «Мы еще не знаем, что мы пережили», — и это правда. А совсем недавно я ехала в переполненном автобусе. Ко мне примостилась старушка, повиснув всей тяжестью на моей руке. «Тяжело, верно, тебе?» — вдруг спросила она. «Ничуть», — ответила я. — Ведь мы все двужилые». «Двужилые? — переспросила старушка и вдруг рассмеялась: — А правда — двужилые...» «Верно, верно», — сказал кто-то и тоже рассмеялся. С минуты все пассажиры повторяли: «Мы — двужилые», — но тут авто-

бус остановился, люди поползли к выходу и занялись «текущими делами», то есть стали растапливать соседней. Просветление пришло и ушло: ведь мы действительно двуязычные, иначе мы не могли бы пережить того, что выпало нам на долю.

В тот период, который называется «ежовщиной», аресты шли волнами со спадами и нарастаниями: быть может, в тюрьмах, забитых до отказа, просто не хватало места, а нам, еще находившимся на воле, иногда казалось, что девятый вал уже прошел и все идет на убыль. После каждого процесса люди облегченно вздыхали: ну, теперь конец! А это значило: слава Богу, я, кажется, уцелел... Но затем поднималась новая волна, и те же люди бросались писать статьи с проклятиями «врагам народа». Чего они только не писали про тех, кого уже расстреляли, чтобы потом быть самим расстрелянными... «Сталину не нужно рубить головы», — говорил О. М., — они сами слетают, как одуванчики...» Кажется, он сказал это в первый раз, прочтя статью Косиора и узнав, что, несмотря на все свои статьи, он тоже арестован.

Летом 37 года мы были «дачиками», а «летом всегда легче», как говорил О. М. В Москву мы ездили довольно часто, иногда даже бывали на дачах у своих знакомых. Были у Пастернака в Переделкине. Он сказал: «Зина, кажется, печет пироги», — и пошел справляться вниз, но вернулся печальный — к Зине нас не допустили... Через несколько лет она мне сказала по телефону, когда, приехав из Ташкента, я позвонила Борису Леонидовичу: «Только, пожалуйста, не приезжайте в Переделкино...» С тех пор я никогда не звонила, а он, встретив меня возле дома на Лаврушинском, где я подолгу жила у Василисы Шкловской, иногда к нам забегал. Он единственный человек, который пришел ко мне, узнав о смерти О. М.

В день, когда в последний раз мы были с О. М. у него в Переделкине, он пошел провожать нас на станцию, и мы долго разговаривали на платформе, пропуская один поезд за другим. Борис Леонидович еще бредил Сталиным и жаловался, что не может писать стихов, потому что не сумел тогда по телефону добиться личной встречи. О. М. сочувственно посмеивался, а я удивлялась. После войны сталинский бред у Пастернака как будто кончился. Во всяком случае, он уже не упоминал его в разговорах со мной. А роман был задуман давно, потому что при всякой встрече — еще до войны — Пастернак говорил, что пишет прозу «о всех нас»... Вероятно, концепция этой прозы видоизменялась с течением времени, что и видно по самому роману. Время было такое, что люди метались и не знали, на чьей стороне правота.

Шкловский в те годы понимал все, но надеялся, что аресты ограничатся «их собственными счетами». Он так и разграничивал: когда взяли Кольцова, он сказал, что это нас не касается, но тяжело реагировал, если арестовывали просто интеллигентов. Он хотел сохраниться «свидетелем», но когда эпоха кончилась, мы уже все успели состариться и растерять то, что делает человека «свидетелем», то есть понимание вещей и точку зрения. Так и случилось со Шкловским.

Лева Брун ⁷ сунул О. М. в карман деньги и сказал: «Кому нужен этот проклятый режим!» Мариэтта ⁸ сделала вид, что ничего не слышала про аресты: «Кого арестовывают? Почему? Открыли разговор, взяли пять человек, а интеллигентшки подняли крик...» Ее собственная дочь кричала ей в ухо про семью Третьяковых ⁹, но Мариэтта, спасаясь блаженной глухотой, ничего не расслышала. Адалис ¹⁰ боялась пустить нас ночевать, что было вполне естественно, но тут же разыграла комедию: «Почему вы не идете к себе домой? Я пойду с вами и, если придет милиция, я им все объясню... Я берусь». Растерянные люди метались, и каждый говорил то, что ему взбрело на ум, и спасался, как может. Испытание страхом — одна из самых страшных пыток, и после нее люди оправиться уже не могут.

Нам не на что было жить, и мы вынуждены были ходить по людям и просить помощи. Часть лета мы прожили на деньги, полученные от Катаева, Жени Петрова и Михоэлса. Он обнял О. М. и наперебой с Маркишем старался говорить все самое утешительное. В каждый свой приезд О. М. ходил в Союз, пытаясь повидаться со Ставским, но тот уклонялся от встречи и поручил О. М. своему заместителю — Лахути ¹¹.

Лахути изо всех сил старался наладить что-нибудь для О. М. Он даже отправил его в командировку от Союза по каналу ¹², умоляя написать хоть какой-нибудь стишок про строительство. Вот этот-то стишок я и бросила в печку

с санкции Анны Андреевны. Впрочем, стихи О. М. о канале никого бы не удовлетворили: он сумел выжать из себя только пейзаж.

Вечер и корова

Мы тоже искали спасения. Люди всегда ищут спасения. Самосожженцы — это Восток, а мы все-таки европейцы и не хотим сами бросаться в огонь. У нас было два плана спасения — один принадлежал мне, другой — О. М. Их объединяла одна общая черта — оба были абсолютно невыполнимы.

Мой план назывался «корова». В нашей стране, где все способы добывать хлеб национализированы, то есть находятся в руках государства, есть две лазейки для частной жизни — нищенство и корова. Нищенством мы жили, и это оказалось невыносимым. От нищих все шарахаются, и никто милостыню подануть не хочет, тем более что собственные средства тоже добыты как милость и милостыня государства... Когда-то народ в России жалел «несчастных» арестантов и каторжников, а интеллигенция считала долгом поддерживать политических ссыльных, но это исчезло вместе с «абстрактным гуманизмом». И, наконец, люди боялись нас: мы были не только нищими, но и зачумленными. Все боялись друг друга — ведь ночью могли явиться за самым благополучным человеком, только что напечатанным в «Правде» статью против «врагов народа». За одним арестом цепочкой шли другие — родственники, знакомые, те, чей телефон записан в записной книжке арестованного, с кем в прошлом году он встречал Новый год, и тот, кто обещал, но, испугавшись, не пришел на эту встречу... Люди боялись каждой встречи и каждого разговора, и тем более они шарахались от нас, которых уже коснулась чума. И нам самим казалось, что мы разносим чуму. У меня было единственное желание — притаиться в углу и никого не видеть, и поэтому я мечтала о корове. Это та самая «последняя коровенка» народнической литературы, которую мужик, зацепив за рога, повел продавать на базар. Благодаря особенностям нашей экономики корова в течение многих лет могла прокормить семью. В маленьких домишках ютились миллионы семей, живших лоскутиным участком, дававшим картошку, огурцы, капусту, свеклу, морковь и лук, и коровой. Часть удоя уходила на прикуп сена, но все же оставалось достаточно молока, чтобы забелить щи. Корова дает независимость людям, и они могут спустя рукава прирабатывать только на хлеб. Государство до сих пор не знает, как ему быть с этим остатком старого мира, мычащим и дающим молоко: если дать людям сена для коровы, они лодырничают и в колхоз ходят вырывать только минимум; заберешь корову — народ с голодудохнет... Корова то запрещается, то разрешается... Но постепенно их становится все меньше: у баб не хватает сил отстаивать свои рогатое сокровище...

Корова бы нас спасла, и я верила, что могу научиться доить. Мы бы канули, растворились в толпе, никогда бы не вышли из дому, так и засели бы в четырех стенах... Но хибарка и корова требуют огромных капиталовложений — они и сейчас мне не под силу. К нам в Савелово ходили женщины, предлагая срубы по самой дешевой цене, а мы только облизывались, так аппетитно они расписывали стены, крепкие и желтые, как желток. Чтобы раствориться в толпе, надо от рождения принадлежать к ней и получить дрянную хибарку с протекающей крышей и участок, обесценный расшатанным забором, по наследству от какой-нибудь иссохшей от голода бабки. Быть может, в странах капитализма нашлись бы чудачки, которые бы собрали ссыльному поэту на мужицкий дом с коровой, но у нас это исключено. Организовать помощь ссыльному и собрать для него деньги считается преступлением, за которое недолго и самому попасть в лагерь.

К коровьему плану О. М. относился холодно, денег на его осуществление не было, да и сама идея ему не нравилась: «Из таких затей никогда ничего не выходит...» Его план был прямо противоположен моему — он хотел выделиться из толпы. Ему почему-то казалось, что, если он добьется «творческого вечера» в Союзе, ему не смогут не дать какой-нибудь работы. Он сохранял иллюзию, что стихами можно кого-то победить и убедить. Это у него осталось от молодости — когда-то он мне сказал, что никто ни в чем ему не отказывает, если он пишет стихи. Вероятно, так и было — он провел хорошую молодость, и друзья бергли и ценили

* Расправился с коровами Хрущев.

его. Но переносить те отношения на Москву 37 года было, конечно, совершенно бессмысленно. Эта Москва не верила ничему и ни во что. Она жила лозунгом: спасайся кто может. Ей плевать было на все ценности мира, а уж подавно на стихи. Мы это знали, но О. М., человек чрезвычайно активный, не мог сидеть сложа руки. Впрочем, здесь дело не только в его активности: волка коряют ноги, и ему не дано было передохнуть до самой смерти.

Лахути ухватился за мысль о вечере. И ему она показалась спасительной. Да знаю ли я что-нибудь о Лахути, кроме того, что он был приветлив и внимателен? Ровно ничего... Но в той озверелой обстановке его приветливость казалась чудом. Самостоятельно решить вопрос о вечере ни Ставский, ни Лахути не могли. Все рскалось наверх. Мы ждали в Савелове разрешения этого вопроса государственной важности и изредка наведывались в Союз, чтобы узнать мнение по этому поводу высших инстанций. В одно из посещений Союза О. М. разговаривал в коридоре с Сурковым, а выйдя на улицу, нашел у себя в кармане 300 рублей. Сурков, видно, тихонько сунул эти деньги ему в карман. Не всякий бы решился на такой поступок: за это могли быть серьезнейшие неприятности. Рассценивая Суркова, пусть помнит об этих деньгах* — это та лукавка, за которую надо уцепиться, чтобы Богородица вытатила грешника в рай.

Вечер все не назначался. Наконец позвонили из Союза Евгению Яковлевичу. У него спросили, как найти Мандельштама и можно ли немедленно сообщить ему, что вечер назначен на следующий день. Телеграф работал, как ему заблагорассудится, и Женя не решился довериться на его милость. Он бросился на вокзал и последним поездом приехал к нам в Савелово. В ту минуту он, наверное, тоже поверил в стихи и вечер.

На следующий день мы отправились в Москву и в назначенный час пришли в Союз. Секретарши еще сидели на своих местах, а про вечер никто ничего не знал: кажется, что-то слышали, а что именно, не помним... В клубе все комнаты были закрыты. Никаких объявлений мы не нашли.

Оставалось только узнать, рассылались ли повестки. Шкловский не получил, но он посоветовал позвонить кому-нибудь из поэтов — приглашения часто рассылались только членам секций. У нас под рукой был телефон Асеева. О. М. позвонил ему и спросил, получил ли он повестку, и, побледнев, повесил трубку. Асеев ответил, что как будто что-то мельком слышал, но что разговаривать он не может: занят, торопится в Большой театр на «Снегурочку»... К другим поэтам О. М. звонить не рискнул.

Загадку вечера мы так и не разгадали. Звонили действительно из Союза, но кто — неизвестно. Быть может, отдел кадров, потому что секретарши, обычно занимающиеся этими делами, никаких распоряжений не получали, хотя что-то смутно слышали. Если ж это был отдел кадров, то зачем ему понадобилось Мандельштам? У нас мелькнуло предположение, что О. М. выманили из Савелова, чтобы его арестовать, но не успели получить санкции какого-нибудь начальства, может, самого Сталина, поскольку в прошлом деле имелись его распоряжения. Для облегчения работы перегруженных чекистов людей не раз вызывали в каких-нибудь учреждениях, чтобы оттуда отправить на Лубянку. Рассказы о таких случаях ходили во множестве. Гадать, что к чему, не имело смысла: не стоит себя преждевременно хоронить. Мы вернулись в Савелово и снова сделали вид, будто мы дачники.

Оба плана спасения провалились: «вечер» — с треском, а «корова» — потихонечку. Спасения не было даже в мечтах.

Что же касается до «Снегурочки», то вполне естественно, что Асеев назвал именно эту оперу. Поэтическое крыло, к которому он принадлежал, отдало дань увлечению дохристианской Русью. Но мы поленились узнать, что было в тот вечер в Большом театре и не закрылся ли он уже на лето. Мы говорили, что на старости Асеев остался одиноким и покинутым. Объяснял он эту свою покинутость тем, что боролся против культа личности и поэтому потерял положение. В критических статьях о Кочетове¹³ его единомышленники тоже пишут, что он боролся против этого культа. Как выясняется, у нас не было ни одного сталиниста и все мужественно боролось. Я же могу засвидетельствовать, что из моих знакомых не боролся никто, а люди просто старались стушеваться**. Люди, не утратившие совести, поступа-

ли именно так. И для этого надо было иметь настоящее мужество.

Старый товарищ

Неудача с вечером не подкосила О. М. «Надо все отложить до осени», — сказал он. Москва, как всегда, к июлю опустела, поэтому никаких планов спасения мы не строили, а просто думали, как бы продержаться до осени. Это тогда О. М. заявил: «Надо менять профессию — теперь мы нищие...» И он предложил ехать в Ленинград.

Раньше мы всегда разговаривали с О. М. ... Мне запомнились какие-то слова его и мысли. Но последний год были не членораздельные слова, а одии междометия. О чем мы говорили? Просто ни о чем: «Устала, дай полежать... не могу идти... надо что-то предпринять... ничего, образуется... теперь всегда так будет... Господи!.. кого взяли?.. опять...»

Когда жизнь становится абсолютно невыносимой, кажется, что весь этот ужас никогда не кончится. В Киеве во время бомбардировок я поняла, что невыносимое все-таки кончается, но и тогда еще не вполне сознавала, что часто оно кончается вместе с человеческой жизнью. Что же касается до сталинского террора, то мы всегда понимали, что он может ослабеть или усилиться, но кончиться не может. Зачем ему было кончаться? С какой стати? Все люди заняты, все делают свое дело, все улыбаются, все беспрекословно исполняют приказания и снова улыбаются. Отсутствие улыбки означает страх или неудовольствие, а в этом никто не смел признаться: если человек боится, значит, за ним что-то есть — совесть нечиста... Каждый, находившийся на государственной службе — а у нас каждый ларешник чиновник, да еще ответственный, — ходит веселым добрячком: то, что происходит, меня не касается — у меня ответственная работа, и я занят по горло... я приношу пользу государству — не беспокойте меня... я чист, как стеклышко... если соседка взяла, значит, было за что... Маска снималась только дома, да и то не всегда: ведь от детей надо было скрывать свой ужас — не дай Бог, в школе проболтаются... Многие так приспособились к террору, что научились извлекать из него выгоду — спихнуть соседа и занять его площадь или служебный стол — дело вполне естественное. Но маска предполагает только улыбку, а не смех; веселье тоже казалось подозрительным и вызывало повышенный интерес соседей: чего он там смеется? может, издеваются!.. Простая веселость ушла, и ее уже не вернуть.

Приехав в Ленинград, мы нашли Лозинского¹⁴ на уединенной даче под Лугой. Он немедленно вынул 500 рублей, на которые мы могли вернуться в Савелово и оплатить дачу до конца лета. Чем были эти пятьсот рублей? У нас никогда не было устойчивых цен — они менялись непрерывно, и никакой логики в этой скачке уловить мы не могли. В колебании цен на частном рынке есть закономерность, как в повышении или падении стоимости денег, но в тайственных вибрациях планового хозяйства сам черт ногу сломит: захотели — повысили цены, захотели — снизили... Зато в названиях сотен и тысяч, которыми мы ворочали, была настоящая магическая сила, и, получив пятьсот рублей от Лозинского, мы почувствовали себя не простыми нищими, а какими-то особыми, чудесными, собирающими милостыню оптом. И действительно, так и было, потому что простым нищим давали копейки, которые равнялись на хлеб четвертушкам, а на все остальное сотым долям мельчайшей денежной единицы.

Обедали мы у Лозинского. Под серьезными взглядами младшего поколения Лозинский балагурил, О. М. сыпал шутками, и оба хохотали, как в дни Цеха поэтов. После обеда О. М. и Лозинский ушли в комнаты, и О. М. долго читал стихи. Оживившийся Лозинский пошел провожать нас на станцию. Дорога вела лесом, но по людным улицам мы не решились идти вместе: вдруг кто-нибудь увидит Лозинского с подозрительным незнакомцем! А еще хуже, если нас встретил бы кто-нибудь из Союза писателей, который знал О. М. в лицо. Компрометировать Лозинского мы не хотели и поэтому расстались на опушке.

Случилось так, что родившиеся в девяностых годах Ахматова, Лозинский и О. М. оказались в тридцатых годах старшим поколением интеллигенции, потому что старшие уже успели погибнуть, уехать или сойти на нет. Для окружающих эти трое очень рано стали стариками, в то время как «попутчики» — Каверин, Федин, Тихонов и другие им подобные — очию долго ходили в мальчиках, хотя были моложе лишь несколькими годами. Бабель не примыкал ни к юношам, ни к старикам — он был сам по себе — отдельным

* Народу было много. Теперь я думаю, что сунул деньги не Сурков.

** Кстати, «стушеваться» употреблялось до Достоевского. Обычно ему приписывают этот неологизм.

человеком. О. М. и Лозинский, как бы идя навстречу общественному мнению, очень рано состарились. В 29 году, когда О. М. служил в газете «Московский комсомолец», которая помещалась на Тверской в старом пассаже с театром-варьете в центре, капелльدير, заметив, что я кого-то иду, сказал: «Ваш старичок прошел в буфет». Старичку еще не было сорока лет, но у него уже сдавало сердце. Эренбург, кстати, выдумал, что О. М. был маленького роста. Я ходила на высоких каблуках и едва достигала ему до уха, а я нормального среднего роста. Эренбург*, во всяком случае, был ниже О. М. И щуплым О. М. не был — плечи у него были широкие. Вероятно, Эренбург запомнил крымского О. М., истощенного тяжким голодом, а для концепции с журналистским противопоставлением — такой слабый и беззверный, а что с ним сделали! — понадобился облик тщедушного человечка утонченно еврейского типа, вроде пианиста Ашкенази. Но О. М. совсем не Ашкенази — он гораздо грубее.

О. М. болел сердцем, которое не выдержало дикой нагрузки нашей жизни и еще неистового темперамента его владельца. Лозинского же поразила таинственная слоновая болезнь, которой место в Библии, а не в ленинградском быту. Пальцы, язык, губы Лозинского — все это удвоилось на наших глазах. В середине двадцатых годов, когда я впервые увидела Лозинского — он пришел к нам, — он словно предчувствовал приближение болезни и говорил, что после революции все стало трудно, все устанет от малейшего напряжения — разговора, встречи, прогулки... Лозинский, как и О. М., к тому времени уже побывал в тюрьмах, и он был одним из тех, у кого всегда стоял дома заранее заготовленный мешок с вещами. Брали его несколько раз, и однажды за то, что его ученики — он вел где-то семинар по переводу — дали друг другу клички. Кличек у нас не любил — это наводило на мысль о конспирации. Всех шутников посадили. К счастью, жена Лозинского знала кого-то в Москве и, когда мужа сажали, сразу мчалась к своему покровителю. То же проделывала жена Жирмунского. Если бы не эта случайность — наличие высокой руки, — они бы так легко не отделались. В сущности, эти с самого начала казались обреченными, и все обрадовались, прочтя фамилию Лозинского в списке первых писателей, награжденных орденами. В этом списке он был белой вороной, но и белой разрешили жить среди других, чуждых ей птиц. Потом выяснилось, что ордена тоже ни от чего не спасают — их просто отбирали при аресте, но Лозинскому повезло, и ему удалось умереть от собственной страшной и неправдоподобной болезни.

Все мы вышли потрясенными и больными из первых лет революции. Сначала это сказалось на женщинах, но все же они оказались живучими и, проболев полжизни, уцелели. Мужчины были вроде покрепче и устояли после первых ударов, но загубили сердца, и редко кто доживает хотя бы до семидесяти лет. Тех, кого пощадила тюрьма и война, унесли инфаркты или неправдоподобные болезни, как Лозинского и Тынянова. И среди нас никто не поверит, что рак не связан с потрясением. Слишком уж часто мы видели, как над человеком разражается гроза, над ним публично издеваются, его запугивают и грозят ему черт знает чем, а через год разносится слух, что у него вовсе не сердце, а самый обыкновенный рак. Нечего и говорить, нас потренировали как следуют. Только беспристрастная статистика все время твердит о неустанном повышении среднего срока жизни. Наверное, за счет женщин и детей, потому что моя женская раса действительно оказалась двужильной.

Беспартийная Таня

Брат О. М., Евгений Эмильевич, жил с семьей на Сиверской. Мы поехали к нему от Лозинского, потому что О. М. хотел повидать отца. С братом у него никаких отношений не было. Прилитературный делец, он забросил медицину ради более выгодной работы около писательских организаций — сбора гоюаров для драматургов, Литфонда, столовой и тому подобных дел, а под конец жизни стал кинематографистом. Он никогда в жизни ничем не помог О. М. и только требовал, чтобы мы забрали к себе старика отца. Он твердил об этом при каждой встрече и писал в Воронеже, в Савелово — куда угодно... О. М. написал ему несколько писем из Воронежа и не поленился снять копии, зная, что сам Евгений Эмильевич письма уничтожит. В этих письмах он клеймил

отношение Евгения Эмильевича к себе и просил никогда не вспоминать, что тот его брат. Вплоть до 56 года Евгений Эмильевич и не думал об этом вспоминать и умел крепко отчуждаться людей, которые справлялись у него обо мне. Зато последние годы он чтит память О. М. и даже пытался завязать со мной отношения. Однажды он даже заявился и усиленно приглашал меня в гости. Это обыкновенный человек коммерческого склада, который добился в жизни всего, о чем мечтал: благополучия, денег, машины и даже киноаппарата для развлечения в часы досуга. В нашей жесткой жизни эти люди живут не обычным коммерческим трудом, а изворачиваются, и это их не украшает.

О. М. хотел видеть, кроме отца, еще и свою племянницу — дочь Евгения Эмильевича от первого брака с сестрой Сарры Лебедевой¹⁵. Татьяна заболела во время блокады туберкулезом и рано умерла. Я знала ее прелестной девочкой, ничуть не похожей на своего отца. Воспитывала ее бабушка с материнской стороны, чудесная старуха Мария Николаевна Дармолотова, в квартире у которой и жил Евгений Эмильевич. После ареста О. М. бабушка устраивала нам с Татьяной тайные свидания у Лебедевой — отец запретил ей встречаться со мной. Татьяна жаловалась, что Евгений Эмильевич бросил в печку с трудом раздобытый ею список стихов О. М. Достала она его у каких-то литературных мальчишек. Но списков еще было мало, и при обысках их всегда отбирали. Война застала Татьяну студенткой истфака, невестой юноши, писавшего стихи и читавшего О. М. Он был убит в первых боях, и Татьяна ходила по голодному Ленинграду, стараясь получить хоть какую-нибудь весточку о нем. И в семье Татьяне жилось тяжело — отец вечно ссорился с бабушкой с позиций комсомольца, разоблачающего старорежимную старуху. Мачехе своей Татьяна чуждалась. Я не переставала удивляться, что девочка, росшая в такое тяжелое время и в такой трудной семье, сохранила лучшие традиции русской интеллигенции, забытой, осмеянной, преодоленной высшим разумом новой этики.

Татьянина мачеха, Таня Григорьевна, дочь преподавателя химии самых лучших и самых прогрессивных гимназий, выросла в самой что ни на есть интеллигентской семье из того крыла, что сохраняли стиль шестидесятников и почитали Белинского и Добролюбова. Она гордилась семейными традициями и слезка презирала бабушку Марию Николаевну за ее дворянское происхождение. Внешностью Таня тоже представляла чистый образец старой демократической курсики: умное лицо, гладкие, бесцветные волосы, собранные в пучок, гладкие платья совершенно неопределенного цвета, какие носили до революции учительницы самой прогрессивной складки. У Тани был мягкий голос, и она любила пошутить. Ее гордостью было то, что она знает названия всех деревьев, птиц и трав, потому что отец возил дочерей за город на дальние прогулки и учил их наблюдать за родной природой. Татьяна, по ее мнению, получила совершенно другое, недемократическое воспитание, и она подтрунивала над девочкой за то, что та не умела различить зимой породы деревьев и кустов... Выбор исторического факультета расстроил Таню. Она признавала только те профессии, которые приносят пользу народу. Впрочем, она несколько изменила традиционную формулировку и говорила о пользе колхозам. Чтобы Татьяна не зарилась от бабушки религиозностью, Таня водила ее в музей Исаакиевского собора, и однажды при нас произошла настоящая драма: девочка не поверила какой-то трактовке евангельского текста, и ее довели до слез, объясняя, что надо доверять коллективному опыту лучших людей, разоблачавших поповский обман, и не быть такой самонадеянной. По тексту выходило, что Евангелие проповедует не более, не менее как преклонение перед богатством, и умная девочка прекрасно понимала, что этого не может быть. Мы в это время случайно гостили в Ленинграде, и Татьяна прибежала тайком к О. М. узнать, кто же прав — бабушка или мачеха с отцом. Вероятно, с этих дней она и привязалась к дяде.

От отца у Тани остались большие связи с партийной верхушкой. Она с сестрой Наташей осталась сиротами в самом начале революции, и о них заботился Енукидзе, которого они называли «Рыжим Авелем». Похоже, что это была старая партийная кличка или шуточное прозвище, данное в доме Григорьевых. В 37 году Енукидзе забрали, но Таня шла в ногу с временем и объяснила мне: «Он, наверное, что-нибудь наделал — власть так развращает». К этому времени она уже оперилась и в покровителях больше не нуждалась. Она даже успела их перерастить: ведь они отстали и не сумели пойти за Сталиным, чтобы произвести все нужные револю-

* У Эренбурга «маленький Мандельштам» — оценочное заключение. «Большие» — Брюсов, В. Иванов, Блок.

ционные преобразования, о которых так мечтал ее покойный отец! Именно этим Таня объясняла аресты старых большевиков и поддерживала от всей души любые массовые предприятия, от раскулачивания до высылки дворян из Ленинграда и арестов 37 года. Чтобы быть конкретной, она во всех случаях приводила живые примеры из жизни своего института и жилищного управления.

Таня была идеологическим центром дома и управляла им, не повышая голоса. Вероятно, она так же вела себя на службе, но там я знала ей подобных, а ее не наблюдала. Единственное, что огорчало Таню, это упрямство Татки. Девочка рано научилась молчать, но не было силы в мире, которая заставила бы ее сказать хоть слово, одобряющее Танины теории. Первое крупное столкновение между Таткой и маечкой произошло во время высылки дворян, а среди них — Таткиной подруги и соседки по дому, Оленьки Чигаговой. Таня утверждала, что дворянам совершенно нечего делать в городе Ленина и не стоит разводить нюни по поводу высылки Чигаговых. Татка молчала. Таня говорила, что при нынешнем жилищном кризисе предоставлять площадь в Ленинграде дворянам, а не рабочим — настоящее преступление. Татка молчала. Таня объясняла, что ей всегда казалось странным, каких неподходящих подруг выбирает себе Татка: что может быть общего между нею, выросшей в семье Евгения Эмильевича и Тани, и какой-то дворянской барышней! И Таня обвиняла бабушку в попустительстве... Вскоре после драмы разыгрался фарс. Сама Таня и ее сестра получили вызов в комиссию по чистке Ленинграда, и им предложили покинуть город. Выселение производилось по книге «Весь Ленинград», а там Григорьев числился личным дворянином. Комиссия по высылению интересовалась словом «дворянин», а не «личный» — они ведь выполняли цифровое задание, а настоящих дворян оказалось недостаточно или, во всяком случае, их приходилось искать... Сестер выручил Рыжий Авель, который к этому времени еще не потерял влияния, во всяком случае, на такое простое дело его сил хватило. «Справедливость восторжествовала», — сообщила мне Таня, когда мы встретились в Москве. «Почему ваш отец позволил записать себя личным дворянином? — спросила я. — Люди давали полтину взятки, чтобы этого не писали в документах». «Мой отец принципиально не давал взятки», — холодно ответила Таня. А мы с Марьей Николаевной все-таки слегка злорадствовали и перемигивались: нам почуялось, что непреклонному прогрессисту Григорьеву захотелось называться дворянином, и он воспользовался правом, которое давало ему окончание университета...

Мы заранее знали, какой прием мы встретим на Сиверской, и были рады, что Евгения Эмильевича не оказалось дома — он прискал только поздно ночью. Наутро разыгралась обычная сцена: он потребовал, чтобы мы забрали с собой деда. Старик, по словам Евгения Эмильевича, был непомерно тяжелой нагрузкой для его семьи, губил его, тянул всех на дно... О. М. с братом не спорил. Он уже успел поговорить с отцом и с Таткой — О. М. всегда рано вставал. Он прочел Татке стихи о том, как выдают замуж ясную Наташу, и оба — дядя и племянница — пожалели, что у этих стихов уже есть адресат¹⁶. Как только Евгений Эмильевич поднялся и начал разговоры про отца, мы простились и ушли. Тут-то Таня осведомилась, зачем мы приехали в Ленинград. Мы объяснили, как умели, и она очень удивилась: «Не понимаю, почему два взрослых человека не могут заработать себе на хлеб!» Я попробовала ей объяснить, что вся работа находится в руках у государства и оно не допускает к ней недостойных, но Таня осудила панику и интеллигентские выдумки. Как и Мариэтта, она не слышала ничего про аресты. Я напомнила ей про Рыжего Авеля, и тогда-то она и произнесла свое суждение... Было в ней что-то непреклонное, напоминавшее о высоких образцах: спартанка, мать Гракхов, народолюбка... Уходя, я сказала: «Если вам ночью подмнет большевиков фашистами, вы даже не заметите». Таня ответила, что этого не может случиться.

Так произошла последняя встреча О. М. с отцом и Таткой. Таня его забавляла: «Все, как надо... Ведь она беспартийная большевичка». Тогда этот термин входил в моду, и все мы, если служили на приличных местах, назывались беспартийными большевиками и соответственно вели себя. Таких, как Таня, проталкивали вверх по служебной лестнице вплоть до тех высот, где разрешалось находиться беспартийным. Они представляли в учреждениях демократическую интеллигенцию, на которую приказал опираться Сталин.

Всем своим обликом они напоминали о предреволюционных жертвенных поколениях и были нужны и семье, и государству.

С Таней я встретила через двадцать с лишним лет, когда она с Евгением Эмильевичем явились повидаться со мной к Шкловским. Разумеется, я осведомилась, как она отнеслась к Двадцатому съезду, но за нее ответил Евгений Эмильевич. Она вначале была очень недовольна: «Что сделали, то сделали... Зачем шуметь?» — и даже не захотела взглянуть на Хрущева, когда он приезжал в Ленинград и его машина на Невском обогнала Танину... «Вы представляете — она отвернулась!» Вскоре, правда, Таня примирилась: ведь действительно были перегибы и, наконец, диалектика...

В 38 году я посетила умирающего отца, выбрав с помощью Марьи Николаевны время, когда Евгения Эмильевича и Тани не было дома. Старик обрадовался мне. Он верил, что мы с Осей можем спасти его от нищеты, одиночества и последней страшной болезни. Я скрыла от него арест старшего сына... Вскоре Евгений Эмильевич переехал в больницу, где он умер от рака. Врачи вызвали телеграммой среднего сына из Москвы, и тот поспел только к похоронам. По словам больничного персонала, никто ни разу не навещал старика в больнице. Он умер один. Я вспомнила рассказ Тани о том, как умирала ее бабушка: чистейшая, тихая, она, как мышка, ушла в свою каморочку и так бесшумно и легко испустила дух, что не нарушила трудового порядка дома своих внуков. Таня часто повторяла этот трогательный рассказ, и Марья Николаевна уверяла, что она это делает в поучение ей и деду. Оба они действительно умерли, не помешав ни Евгению Эмильевичу, ни Тане: дед — в больнице летом, когда Таня была на даче, а Марья Николаевна — во время блокады. Татка тоже умерла в больнице в Вологде, куда она приехала, когда открылась дорога из блокированного Ленинграда. В дни смерти с ней находилась тетка — Сарра Лебедева. За день до ее смерти Таня умудрилась унести всю ее одежду из больницы — ведь лежала она в казенном... В те дни все жили, меняя тряпье на хлеб, и Таня сочла правильным использовать Таткино барахлишко на хлеб себе и сыну вместо того, чтобы зарывать его в землю. Это вполне рационально, но Татку все же не в чем было хоронить. Это мне рассказала Сарра Лебедева.

Есть ступень одичания, когда с людей слезают все покровы, придуманные лицемерным обществом, чтобы скрыть истинную сущность вещей. Но мы отличались тем, что никогда не снимали своей красивой и ласковой гражданской маски. Мы часто приходилось видеть людей, сделавших карьеру за приятное интеллигентское лицо и мягкий голос. Директор Ульяновского педагогического института радостно возглавлял погромщиков в 53 году. Когда меня выгоняли из института и специально для этого устроили заседание кафедры под председательством директора, я не могла оторвать глаз от его лица: он был как две капли воды похож на Чехова и, видимо, зная это, носил не очки, как было принято, а пенсне в тоненькой золотой оправе. Незабываемая игра лица и мягкие модуляции голоса... Описывать, как это делалось, не стоит — сочтут за карикатуру... Я открыла серию изгнанных. Задание в провинцию пришло поздно, и через несколько дней мы услышали о смерти всежизни. Я еще присутствовала на траурных митингах, когда действительно все рыдали. Одна из курьерш объяснила мне: «Уж кой-как приспособились, живем, нас не трогают... А что сейчас будет!» Директор не успел завершить свое плановое задание при жизни Сталина и поэтому продолжал работу и после его смерти: ведь каждое изгнание требовало соответствующего оформления. Он успел выгнать двадцать шесть человек, причем не только свреев, но еще явных интеллигентов других национальностей. Во время травли профессора Любичева, биолога, выступившего против Лысенко, директора сняли. Его перевели в другой институт, и сотрудники очень ценили его мягкость и чеховскую внешность. Этот человек был настоящим погромщиком по призванию, и наша лицемерная эпоха охотно пользовалась им из-за его обманчивой внешности. Такого рода мимикрия очень ценилась, и на удочку интеллигентской внешности и мягкого голоса попадалось немало простаков.

Стихотворения

Мы провели в Ленинграде два дня. Ночевали у Пуниных¹⁷, где все старались развеселить О. М. Вызвали даже Андроникова¹⁸, тогда еще славного юнца, охотно разыгрывавшего перед О. М. все свои штучки. Вечером сидели за

столом, чокались и разговаривали. Все понимали, перед чем мы стоим, но не хотелось губить последние минуты жизни. Анна Андреевна казалась легкой и веселой; Николай Николаевич шумел и смеялся... Но я заметила, что у него усталости тик левой щеки и века.

Днем мы пошли к Стеничу. Блок называл Стенича русским денди. Среди советских писателей он прослыл циником. Не потому ли, что все боялись его острого языка? Стенич тоже разыгрывал сценки, но совсем другого рода, чем Андроников. Еще в середине двадцатых годов у него был коронный номер: Стенич рассказывал, как он боится начальства и как он его любит — так любит, что готов подать шубу директору Госиздата... Этот рассказ он подносил всем писателям, а они принимали его довольно холодно. Легче было счесть Стенича циником, хвастающим собственным подхалимством, чем узнать в изображаемом лице самого себя. Кем же был Стенич — сатириком или циником?

Стенич начинал со стихов. В Киеве в 19 году в литературном подвале «Хлам» он читал острые стихи, из которых многие запомнили «Заседание Совнаркома», где звучала не заказная, а подлинная современность. Стихи писать он бросил, но остался одним из самых глубоких стихолобов. Вероятно, он мог бы стать прозаиком, эссеистом, критиком, как сейчас называют эту странную профессию, словом, он бы что-нибудь сделал, но время не благоприятствовало таким, как он. Пока что Стенич жил, вращался среди людей, болтая, шумел и немножко переводил, и его переводы стали образцом для всех переводчиков прозы. Как говорится, он был «стилистом» и нашел современное звучание в переводах американцев. На самом деле он таким способом использовал свои потенции, свое острое чувство времени, современного человека. языка и литературы.

Стенич встретил О. М. объятиями. О. М. рассказал, зачем мы приехали. Стенич вздохнул, что большинство писателей в разъезде, но кое-кто живет на даче. Это, естественно, затрудняло сбор денег. Его успокоила жена — Люба. Она обещала поехать в Сестрорецк и сразу после обеда, надев кокетливую шляпку, отправилась в путь. Стенич никуда нас не отпустил, и мы у него дождались возвращения Любы. К нему приходили люди повидать нас, среди них Анна Андреевна и Вольпе, тот самый, которого выгнали из редакции «Звезды» за то, что он напечатал «Путешествие в Армению», да еще с концовкой про царя Шапуха, не получившего от ассирийца «один добавочный день». Эта концовка была запрещена цензурой¹⁹. День, проведенный у Стенича, тоже был «одним добавочным днем»...

Люба вернулась с добычей — немного денег и куча одежды. Среди прочего барахла оказались две пары брюк — одни огромные и широкие, другие точно по мерке. Огромные брюки доехали до Савелова, а там перешли во владение нашего знакомого, уголовного, объяснившего нам, почему стоверстникам нельзя селиться в таких местах, как Александров, — «снимут, как пенку». Лишняя пара брюк никогда не заживалась у О. М. Всегда находился кто-нибудь, у кого нет и одной. Шкловский тогда тоже принадлежал к однобрюшным людям, а его сын Никита уже готовился к такой же судьбе. Однажды мать спросила его, чего бы он пожелал, если б крестная фея, как в сказке, взялась выполнить его желание. Никита ответил без малейшего раздумья: «Чтоб у всех моих товарищей были брюки»... В наших условиях отказ от вторых брюк и забота о бесштанном товарищах характеризовала человека больше, чем его слова, а тем более повести, романы, рассказы, очерки и статьи... Советские писатели вообще, по моим наблюдениям, народ крепкий, но при Любе, жене Стенича, было бы просто отказаться помочь сыльному...

День, проведенный у Стенича, казался мирным и тихим, но и в него врывается современность. Стенич дружил с женой Дикого. Она уже сидела, забрали и Дикого²⁰. Стенич ждал судьбы. Он боялся за Любу: что с ней будет, если она останется одна? Вечером позвонил телефон. Люба сняла трубку. Никто не отозвался, и она заплакала. Все мы знали, что иногда таким образом проверяют, прежде чем схватить с ордером, дома ли хозяин. В тот вечер Стенича не взяли. Ему пришлось ждать судьбы до зимы. Когда мы прощались на лестничной площадке, куда выходило несколько квартир, Стенич, указывая на одну дверь за другой, рассказывал, когда и при каких обстоятельствах забрали хозяина. На двух этажах он остался едва ли не единственный на воле, если это можно назвать волей. «Теперь мой черед», — сказал он... В следующий наш приезд в Ленинград Стенича уже не было, и Лозинский, когда мы к нему зашли, испугался: «Знаете ли

вы, что случилось с вашим амфитрионом?» Лозинский думал, что Стенича забрали, потому что мы провели у него день. И нам пришлось сразу уйти, даже не попросив у Лозинского денег. Мне кажется, что Лозинский переоценивал детективные методы наших карающих органов. Меньше всего делым было до реальности: опираясь на сеть постоянных стукачей и на доносы добровольцев, они составляли списки, по которым производились аресты. Им нужны были не факты, а имена, чтобы выполнить план. Во время следствия они вырок запасались показаниями арестованных против любого лица, даже против тех, кого они не собирались арестовывать. Я слышала про женщину, которая героически выдержала все пытки и не дала показаний против Молотова. От Спасского²¹ требовали показаний против Любы Эренбург, которую он никогда в глаза не видел. Ему удалось передать об этом из лагеря, и Любу поспешили предупредить. Кажется, ей сказала об этом Анна Андреевна. Люба не поверила: «Что за Спасский? Я его не знаю...» Она еще была наивной, но потом все поняла. В застенках росло и пухло дело Эренбурга, Шолохова, Алексея Толстого, которых и не думали трогать. Десятки, если не сотни людей попали в лагерь по обвинению в заговоре, во главе которого стояли Тихонов и Фадеев. Среди них и уже упомянутый Спасский. Дикие изобретения, чудовищные обвинения — все это становилось самоцелью, и работники органов изошрялись в них, словно наслаждаясь своим самовластием. Основным же принципом следствия оставалось то, что нам повелел в конце двадцатых годов брат Фурманова: «Был бы человек, дело найдется...» В тот день, когда мы сидели у Стенича, его имя ужасно, наверное, находилось в списках подлежащих аресту, потому что его телефон был записан у Дикого. Дополнительных сведений не требовалось. Принципы и цели массового террора коренным образом отличаются от обычных задач охранительных органов. Террор — это устрашение. Чтобы погрузить страну в состояние непрерывного страха, нужно довести количество жертв до астрономической цифры, и на каждой лестнице очистить несколько квартир. Остальные жильцы дома, улицы, города, где прошла метла, будут до конца жизни образцовыми гражданами. Не следует только забывать новых поколений, которые не верят своим отцам, и планомерно возобновлять чистку. Сталин прожил долгую жизнь и следил, чтобы волны террора время от времени увеличивали силу и размах. Но у сторонников террора всегда остается один просчет: всех убить нельзя и среди пригнанных, полубезумной толпы отыщется свидетель.

В первый приезд в Ленинград мы еще ездили к Зошценко в Сестрорецк или Разлив. У Зошценко было большое сердце и прекрасные глаза. «Правда» заказала ему рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу и ее отовсюду гонят как жену арестованного. Рассказа, разумеется, не напечатали, но в те годы один Зошценко мог решиться на такую демонстрацию. Удивительно, как это ему тогда сошло, но в счет записано, несомненно, было, и он сразу заплатил по всем счетам.

На вокзал мы уезжали от Пуниных. Ехали мы последним поездом и поэтому из дому вышли после двенадцати, и этой «полночью голубой» город показался Анне Андреевне «Не столицей европейской с первым призом за красоту — страшной ссылкой енисейской, пересадкою на Читу, на Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Атбасар, пересадкой на город Свободный в чумных запахах гниющих нар показался мне город этот этой полночью голубой — он, прославленный первым поэтом, нами грешными и тобой»²²... Что ж тут удивительного, что ей так показалось? Нам это всем казалось. Да так и было, только ссылку в эти сравнительно обжитые места уже почти прекратили.

Люба Стенич рассказывала забытый мной эпизод: О. М. на вокзале подошел к вокзальной пальме в кадке, что-то на нее повесил и сказал: «Араб-кочевник в пустыне...»

Первый приезд в Ленинград дал нам три месяца передышки. К весне, перед отъездом в Саматиху, мы снова решили смотреть в Ленинград, но на этот раз безуспешно. Утром мы зашли к Анне Андреевне, и она прочла О. М. обращение к нему стихи про поэтов, воспевающих европейскую столицу. Это была последняя встреча Анны Андреевны и О. М. Больше они не виделись: мы условились встретиться у Лозинского, но нам пришлось сразу от него уйти. Она уже нас не застала, а потом мы уехали, не ночуя, успев в последнюю минуту проститься с ней по телефону.

После Лозинского мы долго стояли на улице, не зная, куда пойти. К Маршаку, что ли?

Самуил Яковлевич встретил нас таким невеселым привет-

ствием, что О. М. даже не заговорил про деньги. Заявлялся литературный разговор. О. М. прочел несколько воронежских стихотворений.

Маршак вздохнул: стихи ему не понравились — «Не видно, с кем вы встречаетесь, о чем разговариваете... В пушкинскую эпоху...» «Ишь, чего захотел», — шепнул мне О. М., и мы распростились... Потом не застали дома одного писателя, долго ждали его и встретили уже на улице. О. М. попросил денег, но у писателя их не оказалось: истратился — строит дачу*... За все время это был второй отказ, первый — Сельвинского. Второго писателя я не хочу называть, мне кажется, что его отказ — случайность, просто недоразумение. Это был вполне приличный человек — мы всегда обращались за помощью к последним тайным интеллигентам, ленинградский же писатель был и интеллигентом, и стихолубом, а в ту минуту у него замутилось в голове, и он обернулся членом Союза писателей...

В самые последние дни перед отъездом в Саматиху О. М. сказал мне: «Надо пойти попросить денег у Паустовского». Мы не были даже знакомы, и я удивилась. «Он даст», — успокоил меня О. М. Недавно я рассказала об этом старику. «Почему ж вы не пришли?» — огорчился он. «Не успели — О. М. арестовали», — объяснила я Константину Георгиевичу. Он успокоился. «Если б О. М. пришел, я бы все карманы вывернул», — сказал он и рассмеялся своим мелким смешком. Не сомневаюсь, что он бы дал — он ведь был типичным тайным интеллигентом, а сейчас стал явным: больше скрывать не нужно.

До меня дошла сплетня: один крупный чиновник от литературы** удивлялся, что за человек такой был Мандельштам — занимал деньги и не возвращал... Мандельштам ему явно не нравился... В легкомысленной молодости О. М., может, действительно не возвращал долгов, но чиновник тогда еще не родился. А то, что было в сталинские годы, не называется «занимал». Это неприкрытое нищенство, к которому он был вынужден государством, иначе говоря, той жизнью, что в печати называлась счастливой. Нищенство — еще не худшая сторона этой жизни.

Затмение

«Кому нужен этот проклятый режим!» — сказал Лева Бруни, сунув О. М. деньги на поездку в Малый Ярославец. Осенью стал вопрос о переезде из Савелова, и мы снова изучали карту Подмосковья. Лева посоветовал Малый Ярославец — там он поставил избу для жены и детей своего брата Николая, священника, потом авиаконструктора, а в 37 году — лагерника, кончившего первый срок и уже получившего второй «за преступление, совершенное в лагере», как это тогда называлось. Иначе говоря, он стал «повторником», не успев выйти на свободу даже на один миг. Высланная из Москвы Надя²³ Бруни и ее дети жили уже несколько лет в Малом Ярославце. Они кормились огородом, потому что на корову у Левы не хватило. Лева кормил свою большую семью и всех детей брата. Самому ему, вероятно, и в мирное время перепало не слишком много еды — это была картофельная жизнь, а после войны он умер от истощения. Это случалось с тайными интеллигентами. Леву все любили. Он продолжал жить и быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему послала судьба. Ведь и до смерти большинство из нас не живет, а только, притаившись, чего-то ждет и существует ото дня к ночи.

Осенью рано темнеет. Освещен в Малом Ярославце был только вокзал. Мы шли вверх по скользким от грязи улицам и по дороге не заметили ни одного фонаря, ни одного освещенного окна, ни одного прохожего. Нам пришлось постучаться раза два в чужие окна, чтобы узнать дорогу. На наш стук в окне появлялось искаженное страхом лицо. «Как пройти?» — спрашивали мы, и с человеком у окна происходила метаморфоза: черты разглаживались, появлялась улыбка, и с необычайной охотой нам подробно объясняли дорогу. Когда мы наконец добрались до своей цели, Надя Бруни, выслушав рассказ о том, что происходило с местными жителями при нашем стуке, сказала, что в последние недели в Малом Ярославце участились аресты и местных людей, и ссыльных, поэтому народ напуган и сдвиг притаившись. Во время гражданской войны в домах старались не зажигать света, чтобы не привлечь внимания бродячих кондотьеров:

вдурку вздумают и заявятся на огонек... В оккупированных немцами городах тоже сидели в темноте. В тридцать седьмом году освещенное окно не играло никакой роли: аресты производились не самолично, а по ордеру. И все же люди пораньше заваливались спать, лишь бы не зажигать лампу. Должно быть, действовал первобытный инстинкт: в темной норе безопаснее, чем на свету. И я сама знаю это чувство: услышав машину, остаивающуюся у дома, невольно тушишь свет...

Ночной городок привел нас в такой ужас, что, переночевав у Нади Бруни, мы наутро сбежали в Москву. Левиного совета мы не приняли: нужна была сила духа скромной и нежной Нади Бруни, чтобы вынести этот страх, как платком, покрывший весь город. Правильнее было бы сказать — всю страну, но в деревнях и больших городах это ощущалось не так сильно.

Следующим консультантом оказался Бабель. Он, кажется, никогда не жил в писательских домах, а всегда как-то неожиданно, не так, как другие. Мы с трудом отыскивали его в каком-то непонятном особняке. Мне смутно помнится, будто в этом особняке жили иностранцы, а Бабель снимал у них комнаты на втором этаже. А может, он так нам сказал, чтобы мы удивились. Он очень любил удивлять людей... Ведь иностранцев боялись как огня: за самое поверхностное знакомство с ними летели головы. Кто бы решился поселиться у иностранцев? Я до сих пор не могу опомниться от удивления и не знаю, в чем там было дело. Бабель всегда нас чем-нибудь поражал, когда мы встречались.

Мы рассказали Бабелю о наших бедах. Разговор был долгий, и он слушал нас с необычайным любопытством. Весь поворот головы, рот, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня сложилось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и в людей.

Судьбу нашу Бабель решил быстро — он умел хватать быка за рога. «Поезжайте в Калинин», — сказал он, — там Эрджан²⁴ — его любят старушки...» Бабель, конечно, говорил о молодых старушках, и его слова означали: Эрджан в плохом месте не поселится — его поклонницы бы этого не допустили. Эрджановских «старушек» Бабель считал возможным использовать в случае нужды и для нас — комнату, например, найти... Бабель все же переоценивал власть Эрджана над «старушками» — в Калинин мы их не обнаружили: видно, Эрджан все же ездил к ним, а не они к нему. Впрочем, кто знает женские сердца...

Деньги на переезд Бабель вызвался достать сам на следующий день, и разговор перешел на другие рельсы.

Бабель рассказал, что встречается только с милиционерами и только с ними пьет. Накануне он пил с одним из главных милиционеров Москвы, и тот спьяно объяснил, что подъявший меч от меча и погибнет. Руководители милиции действительно гибли один за другим... Вчера взяли этого, неделю назад того... «Сегодня жив, а завтра черт его знает, куда попадешь...»

Слово «милиционер» было, разумеется, эвфемизмом. Мы знали, что Бабель говорит о чекистах, но среди его собеседников были, кажется, и настоящие милиционерские чины. Одного мы даже знали — одессита Владимирова. С ним дружили все писатели-одесситы. В гражданскую войну он работал в чека, а потом, переехав в Москву, служил в угрозыске и организовал при нем музей преступности. Нас ввел туда Шенгели²⁵, но О. М. решительно не обнаружил к этому никакого вкуса. Женя Петров мальчиком мечтал поступить на службу к Владимиру... В те годы у всех была повышенная тяга к преступному миру, ко всем формам насилия и убийства, и особенно к государственному аппарату, созданному для борьбы с преступниками и охраны граждан от всего, включая самих себя.

О. М. спросил, почему Бабеля тянет к «милиционерам». Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты? «Нет», — ответил Бабель, — пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?»...

Известно, что среди «милиционеров», которых посещал Бабель, был и Ежов. После ареста Бабеля Катаев и Шкловский ахали, что Бабель, мол, так трусил, что даже к Ежову ходил, но не помогло, и Берия его именно за это взял... Я уверена, что Бабель ходил к нему не из трусости, а из любопытства — чтобы потянуть носом: чем пахнет?

Тема: «что будет с нами завтра» — была основной во всех наших разговорах. Бабель, прозаик, вкладывал ее в уста

* Каверин. Он прочел «Воспоминания» и сказал: «Напрасно вы об этом вспоминали».

Орлов.

третьих лиц — «милиционеров». О. М. обходил ее молчаливым: его завтрашний день уже наступил. Только раз его прорвало: встретив случайно на улице совершенно чужого нам человека — Шервинского²⁶, О. М. вдруг объяснил ему, что с ним «так продолжаться не может»... «Я у них все время на глазах. Они совершенно не знают, что со мной делать. Значит, они меня скоро посадят...» Это был горячий и короткий разговор. Шервинский слушал молча. После смерти О. М. иногда случалось с ним встречаться, но он мне никогда об этом разговоре не напоминал. Я бы не удивилась, если б он забыл, ведь только об этом люди и говорили.

Бытовая сценка

Ежова знал не только Бабель, но, кажется, и мы. Тот Ежов, с которым мы жили в тридцатом году в Сухуме на правительственной даче, удивительно похож на Ежова портретов и фотографий 37-го, и особенно разительно это сходство на фото, где Сталин ему, сияющему, протягивает для рукопожатия руку и поздравляет с правительственной наградой. Сухумский Ежов как будто тоже хромал, и мне помнится, как Подвойский, любивший морализировать на тему, что такое истинный большевик, ставил мне, лентяйке и бездельнице, в пример «нашего Ежова», который отплясывал русскую, несмотря на больную ногу и даже назвал ей... Но Ежовых много, и мне не верится, что нам довелось видеть легендарного наркома на заре его короткой, но ослепительной карьеры. Нельзя же себе представить, что сидел за столом, ел и пил, перебрасываясь случайными фразами и глядел на человека, продемонстрировавшего такую волю к убийству, развенчавшего не в теории, а на практике нашего столетия все посылки гуманизма.

Сухумский Ежов был скромным и довольно приятным человеком. Он еще не свикся с машиной и потому не считал ее своей исключительной привилегией, на которую не смеет претендовать обыкновенный человек. Мы иногда просили, чтобы он нас довез до города, и он никогда не отказывал. А там, на правительственной даче, этот вопрос стоял остро. На нашу горку все время взлетали машины абхазского Совнаркома. Дети отдыхающих работников ЦК отгоняли чумазую ребятню — детей служащих — от машин, которые принадлежали им по праву рождения от ответственных работников, и важно в них рассказывались. О. М. как-то показывал Тоне, жене Ежова, и другой цекистской даме на сцену изгнания чумазых. Женщины приказали детям потесниться и пустить чумазых посидеть в машине. Они очень огорчились, что дети нарушают демократические традиции их отцов, и рассказали нам, что их посылают в общие школы и одевают ничуть не лучше их товарищей, «чтобы они не отрывались от народа». Дети пока что готовились управлять народом, но многих из них ждала другая участь.

По утрам Ежов вставал раньше всех, чтобы нарезать побольше роз для молодой литературоведки, приятельницы Багрицкого, за которой он ухаживал. Вслед за ним выбегал Подвойский и тоже бросался резать розы для обиженной жены Ежова. Это был чисто рыцарственный дар, как говорили жильцы правительственной дачи, потому что Подвойский — образцовый семьянин и ни за чьими женами, кроме собственной, не ухаживает. Прочие дамы, за которыми никто не ухаживал, сами украшали букетами свои комнаты и обсуждали романтическое поведение Подвойского.

Тоня Ежова — кажется, ее звали Тоней — проводила дни в шезлонге на площадке против дачи. Если ее огорчало поведение мужа, она ничем этого не показывала — Сталин еще не начал укреплять семью. «Где ваш товарищ?» — спрашивала она, когда я бывала одна. В первый раз я не поняла, что она говорит об О. М. В их кругу еще сохранялись обычаи подпольных времен, и муж в первую очередь был товарищем. Тоня читала «Капитал» и сама себе тихонько его рассказывала. Она сердилась на бойкую и умную жену Косиора, потому что та ездила кататься верхом с молодым и иагловатым музыкантом, собиравшим абхазский фольклор. «Мы все знаем Косиора», — говорила Тоня, — «он наш товарищ... А кто этот человек? Ведь он может оказаться шпионом!» Все осуждали легкомыслие Лакобы, поселившего на такую ответственную дачу чужого человека. Вероятно, присутствие любого беспартийного на этой даче вызывало толки среди «своих», но Лакоба ни с кем не считался, потому что дача принадлежала абхазскому Совнаркому, то есть ему. Я даже слышала толки, что поря централизовать распределение мест в партийные места отдыха...

Рядом с нами, в маленькой комнате третьего этажа, жил член ЦК старшего поколения, латыш и умный человек. Он держался со всеми осторожно и отчужденно и разговаривал только с О. М. Мы часто слышали тревожные нотки в его разговорах и недоумевали. «Четвертая проза» уже была написана, и мы знали, что с литературой дело обстоит плохо, но наш-то латыш литературой не занимался, он был просто одним из руководящих партийных работников, ни в каких уклонах его не обвиняли — откуда же тревога и непрерывно проскальзывавшая тема: «Что будет завтра?». Больше о нем я ничего не знаю, но он не мог не участвовать в «Съезде победителей», и поэтому нетрудно догадаться, что с ним произошло: задним умом мы все крепки.

По вечерам приезжал Лакоба поиграть на бильярде и поболтать с отдыхающими в столовой у рояля. Эта дача с избранными гостями была для него единственной отдушиной, где он мог поразвлечься и поговорить по душам. Однажды Лакоба привез нам медвежонка, которого ему подарили горцы. Подвойский взял звереныша в свою комнату, а Ежов отвез его в Москву в Зоологический сад. Лакоба умел развлекать людей интересным рассказом. Он рассказал нам про своего предка, который пошел пешком в Петербург, чтобы пригласить кровного врага, кажется, князя Шервашидзе к себе в Сухум на обед. Шервашидзе решил, что это конец кровной вражды, и принял приглашение. За свое легкомыслие он был убит. На О. М. рассказ Лакобы произвел большое впечатление, ему послышался в нем какой-то второй план. Нам говорили, что в 37 году Лакобы уже не было в живых. Похоронили его на почетном месте, вроде абхазской кремлевской стены, а Сталин, разгневавшись за что-то на покойника, велел вырыть его прах и предать уничтожению. Если этот вариант правильный, можно только порадоваться за Лакобу, что он успел вовремя умереть.

Это Лакоба пригласил нас на правительственную дачу, потому что мы приехали с бумагой ЦК отдыхать перед путешествием в Армению. Из писателей там были Безыменский и Казин, и оба чувствовали себя вполне на месте, чего нельзя сказать про нас.

В день смерти Маяковского мы гуляли по саду с надменным и изысканным грузином, специалистом по радио. В столовой собрались отдыхающие, чтобы повеселиться. По вечерам они обычно пели песни и танцевали русскую, любимую пляску Ежова. Наш спутник сказал: «Грузинские наркомы не стали бы танцевать в день смерти грузинского национального поэта». О. М. кивнул мне: «Пойди, скажи Ежову»... Я вошла в столовую и передала слова грузина разгоряченному весельем Ежову. Танцы прекратились, но, кроме Ежова, по-моему, никто не понял почему... За несколько лет до этого, в 23 году, О. М. остановил Вышинского, громко смеявшегося и разговаривавшего, когда какой-то молодой поэт * читал стихи. Это произошло в санатории Цекубу — Гаспре. Мы терпеть не могли санатории и дома отдыха, но изредка ездили туда, если уж совсем нскуда было деваться. От них почему-то пахло смертью.

Самоубийца

Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма — ради какой бы то ни было цели — к добру не приведет? Кто знал, что мы встаем на гибельный путь, провозгласив, что нам «все позволено»? Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал. Теперь их попрекают «абстрактным гуманизмом», а в двадцатые годы над ними потешался каждый, кому не лень. Они были не в моде. Их называли «хилыми интеллигентшиками» и рисовали на них карикатуры. К ним применялся еще и другой эпитет: «мягкотелые». «Хилым» и «мягкотелым» не нашлось места среди тридцатилетних сторонников «нового». Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили «мягкотелых» на «Вороньей слободке». Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристает к бросающей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых ликарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются. Нечто вроде этого случилось и с гораздо более глубокой вещью — эрдмановским «Самоубийцей», которым восхищался Горький и пытался поста-

* Парнах.

вить Мейерхольд... По первоначальному замыслу пьесы, жалкая толпа интеллигентшек, одетых в отвратительные маски, насаждает на человека, задумавшего самоубийство. Они пытаются использовать его смерть в своих целях — в виде протеста против трудности их существования, в сущности, безысходности, коренящейся в их неспособности найти свое место в новой жизни. Здоровый инстинкт жизни побеждает, и намеченный в самоубийцы, несмотря на то, что уже устроен в его честь прощальный банкет и произнесены либеральные речи, остается жить, начав на хор масок, толкающих его на смерть.

Эрдман, настоящий художник, невольно в полифонические сцены с масками обывателей — так любили называть интеллигентов, и «обывательские разговоры» означало слова, выражающие недовольство существующими порядками, — внес настоящие пронзительные и трагические ноты. Сейчас, когда всякий знает и не стесняется открыто говорить о том, что жить невозможно, жалобы масок звучат, как хоры замученных теней. Отказ героя от самоубийства тоже переосмыслился: жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь... Сознательно ли Эрдман дал такое звучание или его цели были попроче? Не знаю. Думаю, что в первоначальный — антиинтеллигентский или антиобывательский — замысел прорвалась тема человечности. Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство.

А сам Эрдман обрел себя на безмолвие, лишь бы сохранить жизнь.

В Калинин он жил в маленькой узкой комнатке, где помещалась койка и столик. Когда мы пришли, он лежал — там можно было только лежать или сидеть на единственном стуле. Он немедленно отряхнулся и повел нас на окраину, где иногда в деревянных собственных домах сдавались комнаты. Навещал он нас довольно часто, но всегда без своего соавтора и антипода — Миши Вольпина. Приходил он, вероятно, в дни, когда Миша ездил в Москву.

Эрдман попался, как известно, за басни, которые Качалов, по легкомыслию, прочел на кремлевской вечеринке, иначе говоря, тому кругу, с которым мы жили на правительственной даче в Сухуме, где спутника жены Косиора сразу заподозрили в шпионаже... В тот же вечер все остроумцы были арестованы и высланы, причем Миша Вольпин попал не в ссылку, а в лагерь — у него, насколько я знаю, были старые счета с органами, и он еще мальчишкой успел им насолить... Говорят, что Эрдман подписывался в письмах к матери «мамин сибиряк» и сочинил прощальную басню: «Однажды ГПУ явился к Эзопу и хватил его за жопу. Смысл этой басни ясен: не надо этих басен!»... Такова была жизненная программа Эрдмана, и больше до нас не доходило ни басен, ни шуток — этот человек стал молчаливым. В противоположность О. М., который отстаивал свое право на «шевелящиеся губы»²⁷, Эрдман запер свои замки. Изредка он наклонялся ко мне и сообщал сюжет только что задуманной пьесы, которую он заранее решил не писать. Одна из ненаписанных пьес строилась на смене обычного и казенного языков. В какой момент служащий, отсидевший положенное число часов в учреждении, сменяет казенные слова, мысли и чувства на обычные, общечеловеческие? Впоследствии об этом писал Яшин²⁸...

Услыхав об аресте О. М., Эрдман произнес нечто невнятное, вроде: «Если таких людей забирают», — и пошел меня провожать...

Во время войны, когда мы жили в эвакуации в Ташкенте, к моему брату заявили двое военных. Один был Эрдман, другой — без умолку говоривший Вольпин. Вольпин говорил о поэзии: поэзия должна быть интересна, мне интересно читать Маяковского, мне интересно читать Есенина, мне не интересно читать Ахматову... Вольпин был воспитанником Лефа и знал, что ему интересно. Эрдман молчал и пил. Потом они встали и поднялись в балахану к Ахматовой, жившей над моим братом.

Изредка я встречаю Эрдмана и Вольпина у Ахматовой. Эрдман, увидев меня, говорит: «Это вы, я рад». Потом он пьет и молчит. Говорит Вольпин. Они работают вместе и, кажется, вполне благополучны.

Как-то летом в Тарусе жил актер Гарин. Он жаловался на современный театр и тосковал. По вечерам возникали споры: где обстоит хуже — в литературе, театре, живописи или музыке. Каждый отстаивал свою область и утверждал, что она занимает самое первое место по силе падения. Однажды Гарин прочел нам эрдмановского «Самоубийцу», пьесу, которая не увидела сцены, и я услышала, что она звучит по-

новому: а я вам расскажу, почему вы не разбили себе голову и продолжаете жить...

А антиинтеллигентские выпады продолжают. Антиинтеллигентская направленность — наследие двадцатых годов, и надо с ней кончать.

Многие обидятся за упомянутые вскользь «Двенадцать стульев». Я сама смеялась и смеюсь над разными жульническими эпизодами и ахаю, как это авторы осмелились написать, что Остап Бендер с прочими одесскими жуликами, войдя в писательский вагон, идущий по виюв открытой линии Турксиба, растрворился среди своих пишущих собратьев и всю дорогу проехал неузнанным и неразоблаченным. Но над «Вороньей слободкой» смеяться грех. Люди в этом разрушающемся доме, конечно, одичали, и женщины, имевшие хоть какую-нибудь рыночную цену, не могли не удирать от своих мужей. Хоть рыбы и не всегда ищут, где глубже, но все же разгуливать им по песку не так просто... И легче всего смеяться над тем, кто уже задущен.

Вестник новой жизни

Мне придется признаться в неисправимом оптимизме*: подобно тем, кто в начале столетия верил, что жизнь должна, обязана, не смеет не стать лучше, чем была в девятнадцатом столетии, так и я сейчас абсолютно убеждена, что мы сейчас находимся накануне полной победы гуманизма и высокой человечности. Это относится и к социальной справедливости, и к культуре, и к чему угодно. Мой оптимизм не поколеблен даже жестоким опытом первой половины нашего неслыханного столетия. Скорее даже наоборот: то, что пережито нами, надолго отвратит людей от многих соблазнительных, на первый взгляд, теорий, которые утверждают, что цель оправдывает средства и что «все позволено»... О. М. приучил меня верить, что история есть проверка в действии и на опыте путей добра и зла. Мы проверили пути зла. Захотим ли мы на них возвращаться? Не крепнут ли среди нас голоса, говорящие о совести и добре? Мне кажется, что мы стоим на пороге новых дней. Я ловлю симптомы нового мироощущения. Их мало. Они почти незаметны. Но все же они есть. К несчастью, мою веру и мой оптимизм не разделяет почти никто. Люди, отличающиеся добро от зла, ждут скорее нового рецидива бед и злодеяний. Я понимаю возможность рецидивов, но общий путь представляется мне ясным. Кто из нас прав? Жизнь покажет, а может, уже кое-что показала**.

Я должна, конечно, оговориться: никакого особого триумфа добра я, разумеется, не жду. Речь идет совсем о другом — меня интересуют ведущие идеи, а не крокодиловы слезы будущих жандармов. Не в них дело. Мы были свидетелями того, как восторжествовала воля к злу после того, как ценности гуманизма подверглись поношению и были растоптаны в прах. Причина, вероятно, кроется в том, что они, то есть ценности, не были обоснованы ничем, кроме восторга перед человеческим интеллектом. Думаю, что сейчас они должны получить лучшее обоснование хотя бы потому, что мы невольно пересматриваем наш опыт и видим ошибки и преступления прошлого. Сейчас соблазны прошлого отгорели: Россия некогда спасла европейскую христианскую культуру от татар, сейчас она спасает ее от рационализма и его следствия — воли к злу. И это стоило ей больших жертв. Могу ли я поверить, что они были бесплодны?

У меня есть приятель, еще совсем молодой, но умный и мрачный не по возрасту. Из всех поэтов он больше всего ценит Блока, потому что тот метался в предчувствии гибели русской культуры. Этот блоколюбец презирает меня за бабушкины розовые очки. По его мнению, культура, как предсказал Блок, действительно погибла, и мы похоронены под ее развалинами. Этот пессимист не замечает, какие сдвиги произошли со времени нашего первого знакомства. Он пришел ко мне сразу после Двадцатого съезда, когда растерянные люди спрашивали: «Зачем нам это сказали?» — одним не хотелось слышать про неприятное, другие — готовившиеся управлять — огорчались, что это занятие внезапно стало труднее, чем раньше, а кое-кто растерянно вздыхал, сообразив, что старыми способами уже карьеры не сделаешь и придется искать новых... Эту эпоху принято называть «оттепелью», потому что кто-то поверил, что люди

* Оптимизма больше нет. Брежнев первый некроважный среди вождей.

** Перечитывая книгу в 1977 году, я увидела, что оптимизма у меня нет ни на копейку, хотя сейчас жить легче, чем когда-либо.

получат сверху разрешение говорить полным голосом. Расчет на разрешение не оправдался, но не все понимают, что не в этом дело. Дело в людях, в каждом отдельном человеке и в его мироощущении. Сама потребность в разрешении — это остаток прошлой эпохи с ее верой в авторитет, санкцию и инструктивные указания, с ее страхом кары и ужасом перед начальственным окриком. Этот ужас может вернуться, если опять отправят в лагерь несколько миллионов граждан, но каждый из этих миллионов будет сейчас выть. Их семьи будут выть. Их друзья и соседи будут выть. И это немало.

Мой приятель пришел ко мне в первый раз, когда я жила в черном и грязном бараке, где разместилось общежитие преподавателей Чебоксарского пединститута. Всюду стоял смрад и висела керосиновая копоть. В моей комнате было холодно, как на дворе: одно из бревен второго этажа оборвалось и повисло наружу, грозя обвалиться на головы играющих детей. Ветер, пахнувший талым снегом, свободно гулял по комнате. Гость объяснил мне, что он так любит О. М., что не мог удержаться, чтобы не зайти ко мне. Он пришел прямо с улицы, не запасшись письмами от общих знакомых, по которым я могла бы определить, к какому разряду людей он относится. Но всей своей повадкой и, главным образом, выражением глаз он сразу внушил мне доверие. Я пригласила его сесть и заговорила с ним так, как никогда бы не стала разговаривать со случайным посетителем. Я сказала: «Когда ко мне кто-нибудь заходит и говорит, что любит Мандельштама, я знаю, что это стукач. Он либо подослал, либо пришел по собственной инициативе, чтобы потом сделать хорошенький донос. Это продолжается уже двадцать лет. Со мной никогда просто не говорят о Мандельштаме: литературные люди, которые когда-то читали его стихи, никогда в разговоре со мной его не упоминают. Я говорю это вам, потому что вы произвели на меня хорошее впечатление. Вы вызвали во мне доверие. Но я не могу говорить даже с вами о Мандельштаме и об его стихах. Вы теперь понимаете, почему?»...

Гость ушел. Через два приблизительно года я узнала, что у нас есть общие знакомые, и передала ему приглашение зайти. Ошарашенный первой встречей, он пришел с явной неохотой, но вскоре все позабылось. Не знаю, поинял ли он, что все сказанное мной при первой встрече было актом глубочайшего доверия, которое он сумел мне внушить всем своим обликом...

С тех пор прошло немного лет, а я спокойно отвечаю каждому, кто спрашивает меня про Мандельштама, — и все это люди новых поколений, хотя старшие тоже иногда вдруг возьмут да что-нибудь скажут... Мы разговариваем сейчас о множестве вещей, которые раньше были под полным запретом, и большинство людей моего круга не смели, не хотели и отвыкли от них думать. Мало того, мы сейчас не желаем знать, запретны ли еще какие-нибудь темы. Мы с этим не считаемся. Мы об этом забыли. Но это еще не все. Молодые интеллигентные люди двадцатых годов охотно собирали информацию для начальства и для органов. Они считали, что это делается для блага революции, для ее охраны и для таинственного большинства, которое заинтересовано в охране порядка и в укреплении власти. С тридцатых годов и вплоть до смерти Сталина они продолжали делать то же самое, только мотивировка изменилась. Стимулом стала награда, выгода или страх. Они несли куда следует стихи Мандельштама или доносы на сослуживца в надежде, что за это напечатают их собственные описки или повысят их по службе. Другие это делали из самого примитивного страха: лишь бы не взяли, не посадили, не уничтожили... Их запугивали, а они пугались. Им бросали подачку, а они хватили ее. К тому же их заверяли, что их деятельность никогда не выплывет наружу, не станет явной. Последнее обещание было выполнено, и эти люди спокойно доживают свои дни, пользуясь всеми скромными преимуществами, которые они получили за свою деятельность. А сейчас те, кого вербуют, уже не верят ни в какие гарантии... К прошлому нет возврата. Поколения сменились, и новые далеко не так запуганы и покорны, как прежние. И главное — их нельзя убедить, что их отцы поступали правильно, они не верят, что «все позволено». Это, конечно, не значит, что сейчас нет стукачей. Просто изменилась пропорция. Если раньше я могла ждать удара в спину от каждого юноши, не говоря уже о растленных людях моего поколения, то сейчас среди моих знакомых может затесаться подлец, но только случайно, только хитростью, а скорее всего даже подлец не сделает подлости, потому что в новых условиях ему это невыгодно

и от него все отвернутся. Среди той новой интеллигенции, которая образуется на наших глазах, уже не в чести всякая поговорка «Правда по-гречески значит мрзя», никто не повторит сейчас с чувством: «Лес рубят — щепки летят» и даже не скажет: «Против рожна не поперешь». Иначе говоря, снова образуются ценности, которые казались навсегда отмененными, и даже тот, кто мог бы по своему характеру обойтись без этих ценностей, теперь вынужден с ними считаться. Так случилось, и при этом неожиданно для тех, кто помнил об этих ценностях, и для тех, кто их похоронил. Где-то ценности жили подспудно, они бытовали в тиши замкнутых жилищ с притушенными огнями. Сейчас они в движении и набирают силу. Инициатором пересмотра ценностей была интеллигенция. Пересмотрев их, она переродилась и стала чем угодно, но только не интеллигентней. Сейчас идет обратный процесс. Он удивительно медленный, и у нас не хватает терпения. Откуда нам взять его? Мы уже натерпелись...

Никто не может определить, что такое интеллигенция и чем она отличается от образованных классов. Это понятие историческое, оно появилось в России и от нас перешло на Запад. У интеллигенции много признаков, но даже совокупность их не дает полного определения. Исторические судьбы интеллигенции темны и расплывчаты, потому что этим именем часто называют слои, не имеющие на это права. Разве можно назвать интеллигенцией технократов и чиновников, даже если у них есть дипломы или если они пишут романы и поэмы? В период капитализма над подлинной интеллигенцией издевались, а ее имя присвоили себе капитуланты. Что же такое интеллигенция?

Любой из признаков интеллигенции принадлежит не только ей, но и другим социальным слоям: известная степень образованности, критическая мысль и связанная с ней тревога, свобода мысли, совести, гуманизм... Последние признаки особенно важны сейчас, потому что мы увидели, как с их исчезновением исчезает и сама интеллигенция. Она является иосительницей ценностей и при малейшей попытке к их переоценке немедленно перерождается и исчезает, как исчезла в нашей стране. Но ведь не только интеллигенция хранит ценности. В народе они сохранили свою силу в самые черные времена, когда от них отсеклись на так называемых культурных верхах... Быть может, дело в том, что интеллигенция не стабильна и ценности в ее руках принимают динамическую силу. Она склонна и к развитию и к самоуничтожению. Люди, совершавшие революцию и действовавшие в двадцатые годы, принадлежали к интеллигенции, отрекшейся от ряда ценностей ради других, которые она считала высшими. Это был поворот на самоуничтожение. Что общего у какого-нибудь Тихонова или Федина с нормальным русским интеллигентом? Только очки и вставные зубы. А вот новые — часто еще мальчишки — их сразу можно узнать, и очень трудно объяснить, каковы те признаки, которые делают их интеллигентами. Остроумец-языковед Иисперсен, наслушавшись споров о том, как отличать части речи, сказал: «Народ знает, как отличить имя от глагола, как собака умеет отличать хлеб от глины»... Итак, они появились, и это процесс необратимый — его не может остановить даже физическое уничтожение, к которому так рвутся представители прошлого. Сейчас репрессии против одного интеллигента порождают десятки новых. Мы это наблюдали во время дела Бродского.

У русской интеллигенции есть один особый признак, который, вероятно, чужд Западу. Среди преподавателей провинциальных кафедр западной филологии я только раз встретила интеллигентку. Родом она из Черновиц и зовут ее Марта. Пораженная, она спрашивала меня, почему студенты, которые ищут добра и правды, неизбежно увлекаются поэзией. Это действительно так, и это — Россия. Однажды О. М. спросил меня, вернее себя, что же делает человека интеллигентом. Само слово это он не употребил — оно в те годы подвергалось переосмыслению и надругательству, а потом оно перешло к чиновным слоям так называемых свободных профессий. Но смысл был именно этот. «Университет? — спрашивал он. — Нет... Гимназия?.. Нет... Тогда что же? Может, отношение к литературе?.. Пожалуй, но не совсем...» И тогда, как решающий признак, он выдвинул отношение человека к поэзии. У нас поэзия играет особую роль. Она будит людей и формирует их сознание. Зарождение интеллигенции сопровождается сейчас небывалой тягой к стихам. Это золотой фонд наших ценностей. Стихи пробуждают к жизни и будят совесть и мысль. Почему так происходит, я не знаю, но это факт.

Мой приятель, любитель Блока, в котором он черпал силу для своего пессимизма, был первым вестником возрождения интеллигенции, которая пробуждается, переписывая и читая стихи. Его пессимизм не оправдан. Поэзия делает свое дело. Все пришло в движение. Мысль живет. Хранители огня прятались в затемненных щелях, но огонь не угас. Он есть*.

Последняя идиллия

Москва затягивала — разговоры, новости, добывание денег... Опомнившись, мы мчались к последнему поезду, чтобы не ночевать лишний раз в запрещенном городе. Случалось, мне уступали место в переполненном вагоне и разговаривали со мной со странным сочувствием. О. М. как-то рассказал об этом Пясту²⁹. Пяст фыркнул — у него был такой смехок, похожий на фыркание: «Это потому, что она так одета — они думают, что это она, а не вы»... Ходила я тогда в кожане, и Пяст хотел сказать, что мне сочувствуют, потому что меня принимают за ссыльную. В Москве столько народу от нас шарахалось именно за это, что сочувствие чужих людей в смазных сапогах показалось неожиданным подарком. Кожух, кстати, играл только добавочную роль, потому что это продолжалось и в других обстоятельствах.

Еще в вагоне у нас с О. М. начинался спор, брать ли в Калинин извозчика. Мне думалось, что лучше пойти пешком и сохранить деньги на лишний день калининской передышки. О. М. держался противоположного мнения: один день ничего не меняет и все равно придется ехать в Москву «устраивать дела». Это были вариации обычной в последний год его жизни темы: «Так больше продолжаться не может». В Калинин мы только об этом и говорили, никаких дел не было и ничего устроить мы не могли.

Спор разрешался просто: у вокзала торчало два-три извозчика. Этих частников уже успели разорить налогами и уничтожить как класс. На них набрасывалась целая толпа, и они исчезали с более удачными и быстрыми седоками, а нам оставалось только идти пешком.

На мостах через Волгу и Тьмаку дул пронзительный ветер — тот ветер ссылок и правительственных гонений, о котором я уже говорила. В предместьях, где мы снимали комнату, осенью стояла непролазная грязь, а зимой мы тонули в снегу. Люди там могут жить только потому, что они нигде не выходят: на службу и обратно... О. М. задыхался и твердил, что мы напрасно поспешили на извозчика, а я плелась за ним.

На стук нам открывала хозяйка, сухоощавая женщина, лет под шестьдесят. Хмуро оглядев нас, она спрашивала, не голодны ли мы. Хозяйка хмурилась не потому, что мы ее разбудили среди ночи. Ей было свойственно хмуриться, и она никогда не улыбалась. Быть может, ей казалось, что матери семейства, жене и хозяйке большого пятистенного дома не к лицу улыбка. Мы заверяли ее, что не голодны — закусили в Москве перед отъездом... Она молча исчезала на своей половине, но через секунду появлялась у нас в комнате с кружкой молока и остатками собственного обеда — оладьями, картошкой, капустой... Зимой зарезали свинью, и она приносила еще кусок мяса: «Ешьте — свое, не купленное»... Наши женщины своего труда никогда не считают: все, что выросло на огороде или в хлеву, это «свое», денег не стоит, Богом данное... Пока мы ели, она стояла рядом и расспрашивала, чего мы добились в Москве — возвращение или хоть работы... Говорили мы тихо, чтобы не разбудить других жильцов, мужа и жену, тоже стовесетников, спавших за дощатой, не доходявшей до потолка перегородкой. Сосед наш, ленинградец, бывший секретарь Щеголева³⁰, отсиживался в Калинин после лагеря или ссылки. Когда по совету прохожих мы постучались к Татьяне Васильевне — так звали нашу хозяйку, — ленинградец вышел на голос и узнал О. М. Хозяйка, услышав, что мы не проходники, сдала нам комнату, и это было большой удачей. Это у нас всегда так трудно, как, я думаю, было в послевоенной Европе, когда города стояли после бомбежек в развалинах. А может, еще труднее.

Татьяна Васильевна жила с мужем, рабочим-металлургом. Властвовала она в доме безраздельно, и ее муж, добрый и мягкий человек, охотно ей подчинялся. Они только всегда сохраняли decorum: Татьяна Васильевна не решала ничего, пока не спросит хозяина, — нас пригласили выпить

чаю, а придет хозяин, решит, сдавать ли комнату; а хозяин на все отвечал: «как мать». И против новых жильцов он не возражал, а с О. М. вскоре подружился — их объединяла общая страсть к музыке. К серебряной свадьбе сыновья — они вышли «в большие летчики» и один из них даже представлялся Сталину — подарили отцу пятефон и кучу пластинок. То были все больше песни, модные тогда среди комсомольцев и военных. Старик предпочел сыновью «горло-дранству» несколько пластинок, раздобытых О. М.: Бранденбургский концерт, какую-то церковную вещь Дворжяка, старых итальянцев и Мусоргского. Пластины добывались тогда с большим трудом и набор их был совершенно случайный, но мужчинам они доставляли массу радости. По вечерам, когда мы бывали в Калинин, они устраивали концерты, а Татьяна Васильевна ставила самовар и поила чаем с домашним вареньем. О. М. только все норовил заварить по своему и рассказывал, что первое, на что тратил, получив деньги, Шевченко, был фунт чаю... За чаем О. М. обычно просматривал газету; хозяину как кадровому рабочему удалось выписать «Правду».

Как я заметила, в рабочих семьях в то суровое время разговаривали гораздо более прямо и открыто, чем в интеллигентских. После московских недомолвок и судорожных оправданий террора мы терялись, слыша беспощадные слова наших хозяев. Нас ведь научили молчать, и Татьяна Васильевна на какую-нибудь уклончивую реплику О. М. говорила, с жалостью глядя на него: «Ничего не поделаешь — все вы пуганные»...

Уже отцы и деды наших хозяев работали на заводах. Татьяна Васильевна не без гордости объясняла: «Мы потомственные пролетарии». Она помнила политических агитаторов, которых ей приходилось в царские времена прятать у себя в доме: «Говорили одно, а что вышло!» К процессам оба относились с полным осуждением: «Нашим именем какие дела творятся», — и хозяин с отвращением отбрасывал газету. «Их борьба за власть» — вот как он понимал происходящее. Что все это называлось диктатурой рабочего класса, приводило обоих в ярость: «Заморочили вам голову нашим классом» или «Власть», говорят, за нашим классом, а пойдешь — покажут тебе твой класс»... Я изложила старикам историю о том, что классами руководят партии, а партиями вожди. «Удобно», — сказал старик... У обоих было понятие пролетарской совести, от которого они не желали отказываться.

В этой семье остро стоял вечный в России вопрос отцов и детей. Успеху сыновей наши хозяева не радовались и в его прочность не верили. «Внизу нас много — уцелеть легче, а наверх заберешься, того и гляди полетишь», — повторяла Татьяна Васильевна. Отец же смотрел в корень вещей — он не доверял детям. При них он не решался ни о чем говорить: «Враз донесут — известно, какие теперь дети»... Но до самого больного места мы добрались не сразу — чтобы узнать, что больше всего мучало родителей, надо было раньше вместе съестъ пресловутый пуд соли.

Татьяна Васильевна держала корову — «С одной рабочей зарплатой сынов не вырастить, только корова и спасла». Корова была единственной точкой соприкосновения этой семьи с деревней, потому что вся семья уже давно перекочевала в город — «в пролетарский класс». А сено для коровы покупалось у колхозников, и сделка совершалась за столом — вокруг самовара. Татьяна Васильевна за этими чапсиями наслушалась разговоров о коллективизации, планах и трудностях... Однажды, разгоряченная очередным разговором, она, проводив гостей, пришла к нам в комнату и рассказала О. М., как ее старшего сына еще комсомольцем послали на раскулачивание. Он пробыл в деревне довольно долго и, вернувшись, ничего не сказал родителям, ни на один их вопрос не ответил, а вскоре совсем покинул отчий дом. «Что он там творил? И не узнаешь! Зачем только растила»... Разговаривая с колхозниками, Татьяна Васильевна всегда прикидывалась в уме, что там мог наделать в деревне ее первенец, а муж успокаивал ее: «Брось, мать, все они теперь такие»...

Мы вскоре заметили своеобразную черту наших хозяев — эти трезвые люди, так правильно судившие о наивей жизни, не одобряли никаких форм политической борьбы, никакой активности вообще. Читая отчеты о процессах, хозяин говорил: «Зачем лезли? Ведь зарплату хорошую получали». Он все-таки подозревал, что какая-то активность жертвами процессов проявлена была, а нас приводила в ужас мысль, что никто даже пальцем не шевельнул, чтобы помешать Сталину захватить власть. Наоборот, все порошны помогали ему зато-

* Только женщины и церковники (священники, дьяконы). (Примечание 1977 года.)

наты в угол его очередную жертву. Но хозяин помнил, какими «они были раньше», и поэтому подозревал, что «все-таки мельтешились». А к О. М. оба относились хорошо, потому что считали его пассивной жертвой режима: «Ему-то до власти никакого дела нет, он ведь престо свое сочинял»... Они были бы довольны сыновьями, если б те держались подальше от всякой политики, с властью имущими не знались и «из своего класса не уходили». Любые виды сопротивления казались им бесполезными и просто ложными. Это и называлось у них «мельтешиться». В Калининне нам пришлось впервые участвовать в выборах. Пораженный их организацией, О. М. не знал, что ему делать. Он пробовал утешать себя: «Это только для начала, потом народ привыкнет и все будет нормально», — но затем говорил, что ни за что не станет участвовать в этой комедии. Хозяева спорили с ним. Первый их довод: «Против рожна не попрешь», второй: «Чем мы лучше других — все пойдут, и мы пойдём», а последний и самый убедительный: «Не заводись с ними, не отвяжутся». С этим нельзя было не согласиться, особенно в нашем положении. И мы все пошли голосовать — хозяева в шесть утра, как им велели на заводе, а мы попозже — после завтрака.

В сущности, Татьяна Васильевна была законопослушницей, но не потому, чтобы она уважала законы — к нашим, например, она относилась резко отрицательно, — а из-за общей жизненной установки. Она считала первой своей обязанностью — жить, и ради этой цели следовало, по ее мнению, уклоняться от всяких лишних действий. Идея жертвенности или гибели ради идеи показалась бы ей высшей нелепостью. Она стояла на том, что «мы люди маленькие», которым высовываться не с руки. И мы чувствовали некоторую надменность в этой позиции: наверху — борьба, злодейство, спекуляция на имени рабочего класса, принадлежность к которому она так остро ощущала, а она здесь ни при чем, у нее руки чистые, рабочие... Ее дело — жизнь и труд, а те пускай душу губят... При этом религиозности мы в ней не замечали, и в церковь она не ходила, хотя лампадку перед иконами жгла — по обычаю, как отцы...

Минутами даже мы казались Татьяне Васильевне частицей светлых верхов. Это бывало, когда она нас подозревала в отсутствии жизненной стойкости, воли к жизни. Читая какие-нибудь циничные, страшные или дикие высказывания, О. М. часто говорил: «Мы погибли»... Впервые он это произнес, показывая мне отзыв Сталина на сказку Горького³¹. «Эта штука сильнее «Фауста» Гете. Любовь побеждает смерть»... Он сказал еще «мы погибли», увидав на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову. «Где это видано, — удивлялся О. М., — чтобы глава государства снимался с министром тайной полиции»... Но дело было не только в том, кто был снят, но и в выражении лица Ежова: «Посмотри, он способен на все ради Сталина»... Однажды за столом у Татьяны Васильевны О. М. прочел речь Сталина курсантам-выпускникам. Сталин пил за ту науку, которая нам нужна, а не за ту науку, которая нам не нужна... Слова эти звучали зловеще: раз есть наука, которая нам не нужна и чужда, мы ее уничтожим, вырвем с корнем... И О. М. сказал привычное: «Мы погибли»... Вот тут-то Татьяна Васильевна и ее муж разъярились: «Вам только бы погибнуть... еще накликаете... вы бы как жить подумали... вот учите, смотрите на нас — мы же живем... нигде не лезть, и живы будете...» «Первая обязанность человека — жить», — резюмировал О. М.

После ареста О. М. я приехала в пятистенный дом на окраине Калининна за оставленной там корзиной с рукописями. Хозяева, узнав об аресте О. М., так расстроились, что я не выдержала и заплакала. Неулыбчивая Татьяна Васильевна обняла меня и сказала: «Не плачь — как святые будут», — а хозяин добавил: «Твой муж никому зла сделать не мог — последнее дело, если таких берут»... И оба они решили рассказать про это своим сыновьям, чтобы те знали, кому служат и чему поклоняются. «Только слушать они нас не станут», — вдруг вздохнул хозяин. Сыновья Татьяны Васильевны были «сталинскими соколами», добродетельными «зотовыми», которых так точно описал Солженицын³². Им действительно ничего рассказывать не стоило — в них изживались идеи, которые правят миром. Сейчас, в середине шестидесятых годов, это те отцы, которые направо и налево жалуются на своих детей — внуков Татьяны Васильевны. Внуки смыкаются с дедами, отказываясь от отцов. И я вспоминаю еще одну железнодорожную встречу с другом «обломком империи». Этот всецело стоял за Двадцатый съезд, потому что при Сталине испытал кое-какие неприят-

ности: его не арестовывали, но арестом крепко запахло... Теперь он радуется жизни и живет на хорошей пенсии как ответственный партийный работник. Сидеть сложа руки ему, партийцу, не хочется, и он взялся за воспитание молодежи: стал агитатором в каком-то техникуме в Ленинграде. Вот он и поведаль мне как педагогу свои трудности. Пришел потропить своих подопечных в день выборов — никто идти не хочет. Он говорит: «Вам надо с нас пример брать — мы революцию делали», — и сообщает, что сам с раннего утра уже отголосовал... А ему отвечает: «А кто вас просил революцию делать? Раньше лучше жилось»... Вся его революционная фразеология повисла в воздухе. «Подумайте, какая молодежь пошла! А как вы с ними справляетесь?»... Я искренно ответила, что справляюсь, со мной не ершатся... Это внуки Татьяны Васильевны, но есть ли у них за душой что-нибудь, кроме отрицательных реакций?

К Татьяне Васильевне приходили с ордером на мой арест, но меня уже там не было. Перерыли весь дом, включая чердак, сарай и погреб, но вещей не нашли, потому что я успела их увезти. Принесли женскую фотографию и внимательно вглядывались в обеих женщин — хозяйку и жилищку... Я узнала об этом через год на вокзале, когда ехала устраиваться и жить в Калинин. Эту вещь о том, что за мной приходили, сообщили из Ленинграда, куда ее привез бывший секретарь Щеголева. Пожалуй, знай я об этом заранее, я бы в Калинин не поехала, но вещи мои уже лежали в вагоне, и я махнула рукой: «Будь, что будет»... Да и страх уже поослабел: Ежов пал, и массовые аресты прекратились. В Калинин я прожила до самой эвакуации, почти два года, и никто меня не тронул, хотя в моем деле лежал неиспользованный ордер на мой арест. Случай как будто легендарный, но таких было немало: изменились контрольные цифры на уничтожение людей, и тот, кого не успели взять, уцелел... Террор тоже проводился, как плановое хозяйство, регулирующее жизнь и смерть.

Обыск произвел на Татьяну Васильевну огромное впечатление: три толстомордых парня перевернули у нее весь дом. Татьяна Васильевна поносила толстомордых и меня за то, что я скрываю, что сидела в тюрьме, а может, она даже заподозрила меня в чем-то другом: «Почему тебя выпустили — теперь никого не выпускают...» В ее голове не могло уложиться, что «они» хотели кого-то взять и не взяли, потому что не нашли... А в чей голове это уложится? Но под конец она смягчилась и спросила, есть ли у меня, где жить. «Если негде, живи, Бог с тобой», — сказала она, — береженого, говорят, Бог бережет, да теперь все равно не убежешь...» В сущности, этим она изменила своему принципу невмешательства в беспокойную жизнь нашей страны, но я у нее не осталась, потому что мысль о толстомордых мешала бы мне спать в ее доме еще больше, чем в других.

Текстильщики

В своих странствиях я сталкивалась с разным народом, и всюду мне было легче, чем среди тех, кто считался цветом советской интеллигенции. Впрочем, они тоже не жаждали моего общества...

После ареста О. М. я поселилась в Струнине, текстильном поселке за Загорском. Об этом поселке я узнала случайно, возвращаясь из Ростова Великого, где хотела устроиться. В первый же день я встретила там Эфроса³³. Он побледнел, узнав про арест О. М., — ему только что пришлось отсидеть много месяцев во внутренней тюрьме. Он был едва ли не единственным человеком, который отделился при Ежове простой высылкой. О. М., услышав за несколько недель до своего ареста, что Эфрос вышел и поселился в Ростове, ахнул и сказал: «Это Эфрос великий, а не Ростов»... И я поверила мудрости великого Эфроса, когда он посоветовал мне не селиться в Ростове: «Уезжайте, нас здесь слишком много»... В поезде, на обратном пути, я разговорилась с пожилой женщиной: ишу, мол, комнату, в Ростове не нашла... Она посоветовала выйти в Струнине и дала адрес хороших людей: сам не пьет и матом не ругается... И тут же прибавила: «А у нее мать сидела — она тебя пожалеет»... Поезда были добрее Москвы, и в них всегда догадывались, что я за птица, хотя была весна и кожух у меня успела продаться.

Струнино находилось на Ярославской дороге, по которой шли этапы. У меня была безумная мысль, что я когда-нибудь увижу в окне — то есть в щели — теплушечного поезда лицо О. М., и я сошла в Струнине и отправилась к хорошим людям. С ними у меня быстро наладились

дружеские отношения, и я рассказала им, почему мне понадобилась «дача» в стовой зоне. Впрочем, это они и так поняли. А снимала я у них крылечко, через которое никто не ходил. Когда начались холода, они силком перетаскивали меня в свою комнату, загорючили меня угол шкафом и простынями: «Чтобы вроде своей комнатки было, а то в общей ты не привыкла»... Насчет юдофобства я могу по своему опыту сказать, что в народе его нет. Оно всегда идет сверху. Я никогда не скрывала, что я еврейка, а во всех этих ссмах — рабочих, колхозников, мельчайших служащих — ко мне относились, как к родной, и я не слышала ничего похожего на то, чем запахло в высших учебных заведениях в послевоенный период, а, кстати, пахнет и сейчас. Самое страшное — это полубразование, и в полубразованной среде всегда найдется почва для фашизации, для низших форм национализма и вообще для ненависти ко всякой интеллигенции. Антиинтеллигентские настроения страшнее и шире, чем примитивное юдофобство, и они все время дают себя знать во всех переполненных людскими учреждениями, где люди так яростно отстаивают свое право на невежество. Мы давали им сталинское образование, и они получили сталинские дипломы. Естественно, что они держатся за те привилегии, которые дает диплом. Иначе им будет некуда деваться.

Из Струнина я ездила делать передачи в Москву, и скучное добро мое — я продавала книги О. М. — быстро иссякло. Хозяева заметили, что мне нечего есть, и делились со мной своей тюрей и мурцовкой. Редьку там называли «сталинским салом». Хозяйка налиwała мне парного молока и говорила: «Ешь, не то совсем ослабешь». Большую часть уюда им приходилось продавать на сено, и сами они не очень-то баловались молоком. А я носила им из лесу малину и другие ягоды. В лесу я проводила почти весь день, а возвращаясь домой, замедляла шаги: мне все казалось, что сейчас мне навстречу выйдет выпущенный из тюрьмы Мандельштам. Можно ли верить, что человека забирают из дома и просто уничтожают... Этому верить нельзя, хотя это можно знать умом. Мы это знали, но верить в это не могли.

Осенью ресурсы мои исчерпались, и пришлось думать о работе. Хозяин мой был текстильщиком, хозяйка — дочь ткачихи и красильщика тканей. Они очень огорчались, что я тоже впрягусь в эту лямку, но выхода не было, и, когда на воротах появилось объявление о наборе, я нанялась в прядильное отделение. Работала я на банкобробашных машинах, которые выделывают «ленту» из «сукна». По ночам я, бессонная, бегала по огромному цеху и, заправляя машины, бормотала стихи. Мне нужно было помнить все наизусть — ведь бумаги могли отобрать, а мои хранители в минуту страха возьмут да бросят все в печку — такое у меня случалось с самыми хорошими и литературными людьми... Память была добавочным способом хранения и, надо сказать, очень мне пригодилась в моем трудном деле. Восемь ночных часов отдавались не только ленте и сукну, но и стихам.

Чтобы отдохнуть, бабы убегали от машин в уборную. Там собирался настоящий клуб. Они умолкали и рассеивались, когда туда деловой походкой врывается какая-нибудь делающая карьеру комсомолка. «Этой берегись», — предупреждали меня работницы. А в тихие минуты, когда были только свои, они довольно энергично вправляли мне мозги, объясняя, как им живется, что они потеряли и что выиграли... «Раньше день был долгий, но прядильщица чаек попивала — на скольких машинах она работала, знаешь?»... Здесь я убедилась, как громадна популярность Есенина, потому что при мне постоянно поминали его имя. У этого поэта была настоящая народная легенда, они считали его своим парнем и любили...

По утрам, выйдя из ворот, они сразу становились в очередь к магазину за мануфактурой или за хлебом. До войны ситец был совершенно дефицитным товаром, хлеба не хватало, и жизнь они вели нищенскую. Об этом сейчас совершенно забыли, и мои псковские сталинисты упорно твердили, что до войны нужды не знали — только сейчас, мол, с ней познакомились... У людей поразительно короткая память, когда им этого хочется.

Именно здесь, в Струнине, я узнала слово «стопаптица» — все они так меня называли. Относились ко мне хорошо, особенно пожилые мужчины. Иногда кто-нибудь заходил ко мне в цех и протягивал яблоко или кусок пирога: «Ешь, жена вчера спекла». В столовой во время перерыва они придерживали для меня место и учили: «Бери хлебова. Без хлебова не насышься». На каждом шагу я замечала

дружеское участие — не ко мне, а к «стопаптице», и здесь антиинтеллигентскими настроениями не пахло.

Однажды ночью в мой цех вошли двое чистеньких молодых людей и, выключив машины, приказали мне следовать за ними в отдел кадров. Путь к выходу — отдел кадров помещался во дворе, в отдельном здании — лежал через несколько цехов. По мере того, как меня вели по цехам, рабочие выключали машины и шли следом. Спускаясь по лестнице, я боялась обернуться, потому что чувствовала, что мне устроили проводы: рабочие знали, что из отдела кадров нередко увозят прямо в ГПУ.

В отделе кадров произошел идиотский разговор. У меня спросили, почему я работаю не по специальности. Я ответила, что у меня никакой специальности нет. Почему я поселилась в Струнине? Потому что мне негде жить... «Образованная, а пошла к станкам»... У меня тогда не было никакого образования, кроме гимназии, и образованная я оказалась не по диплому, а по принадлежности к интеллигенции, и это они чуяли носом. «Почему вы не пошли работать?» «Не возьмут без диплома»... «Что-то тут не то — говорите прямо»... Чего от меня хотели, я так и не поняла, но в ту ночь меня отпустили, быть может, потому, что во дворе толпились рабочие. Отпуская, меня спросили, работаю ли я завтра в ночную смену, и приказали явиться до начала работы в отдел кадров. Я даже подписала такую бумажку...

К станкам в ту ночь я не вернулась, а пошла прямо домой. Хозяева не спали — к ним прибежал кто-то с фабрики рассказывать, что меня потащили «в кадры». Хозяин вынул четвертинку и налил три стакана: «Выпьем, а потом рассудим, что делать».

Когда кончилась ночная смена, один за другим к нашему окну стали приходить рабочие. Они говорили: «Уезжай», — и клали на подоконник деньги. Хозяйка уложила мои вещи, а хозяйка с двумя соседями погрузили меня на один из первых поездов. Так я ускользнула от катастрофы благодаря людям, которые еще не научились быть равнодушными. Если отдел кадров первоначально не собирался меня арестовывать, то после «проводов», которые мне устроили, мне, конечно бы, не уцелеть...

Струнино было чувствительно к нашим бедам и стопаптицкой жизни. Поезда с арестованными проходили чаще всего по ночам, а утром рабочие с текстильной фабрики, переходя железнодорожные пути, внимательно смотрели под ноги — они искали записок. Иногда арестованным удавалось выбросить в окно записку. Нашедший клал ее в конверт, переписывал адрес и отсылал. Тогда родные получали весточку от своего каторжника. А если поезд останавливался днем, то каждый старался бросить чего-нибудь из еды или курева в вагон за спиной у расхаживающего часового. Так моя хозяйка кинула детскую шоколадку... В Струнине своих тоже много забрали, и народ жил мрачный и насупленный. Здесь я впервые услышала, что Сталина в народе называют «рябым». Если спросить почему, отвечали: «А ты разве не знаешь, что у него оспа была... У них на Кавказе на этот счет беда...» Пожалуй, за кавказскую оспу им бы тоже не поздоровилось, но такие слова произносились только со «своими», а стукачей они знали наперечек. В этом преимущество маленького поселка. Мы своих стукачей знали далеко не всегда.

В Савелове тоже жили законопослушники, но природная доброта мешала им покоряться безмолвно. «Русская революция не жестокая», — сказал мне раз Якулов³⁴. — Вся жестокость отсосало государство — она ушла в ЧК».

В России, видно, все всегда происходит наверху. Народ безмолвствует, покорно сопротивляясь или строптиво покоряясь. Он осуждает жестокость, но уж во всяком случае никогда не одобрит никакой активности. Как эти свойства сочетаются с грозными бунтами и революциями, я не знаю. Разве это можно понять?

Шкловские

В Москве был только один дом, открытый для отверженных. Когда мы не заставляли Виктора и Василису, к нам выбегали дети: маленькая Варя, девочка с шоколадкой в руке, долговязая Вася, дочь сестры Василисы Тали, и Никита, мальчик с размашистыми движениями, птицелов и правдолюбец. Им никто ничего не объяснял, но они сами знали, что надо делать: дети всегда отражают нравственный облик дома. Нас вели на кухню — там у Шкловских была столовая, — кормили, поили, утешали рсбачными разговора-

ми. Вася-альтистка любила поговорить про очередной концерт — в те дни шумела симфония Шостаковича, и Шкловский выслушал все рассказы подряд, а потом радостно заявил: «Шостакович всех переплюнул»... Эпоха жаждала точного распределения мест: кому первое, кому последнее — кто кого переплюнет... Государство использовало старинную систему местничества, и само стало назначать на первые места. Вот тогда-то Лебедев-Кумач, человек, говоря, скромнейший, был назначен первым поэтом. Шкловский же занимался тем же, но жаждал «гамбургского счета». Вася тоже отдавала пальму первенства Шостаковичу. И О. М. рвался послушать симфонию, но не знал, как поспеть на последний поезд.

С Варей шел другой разговор. Она показывала учебник, где один за другим толстой бумажкой заклеивались по приказу учительницы портреты вождей. Ей очень хотелось заклеить Семашку³⁵ — «Все равно ведь заклеим — лучше бы сразу»... Редакция энциклопедии присылала списки статей, которые полагалось заклеить или вырезать. Этим занимался Виктор. При каждом очередном аресте всюду пересматривались книги и в печку летели опусы опальных вождей. А в новых домах не было ни печек, ни плит, ни даже отдушин, и запретные книги, писательские дневники, письма и прочая крамольная литература резалась ножницами и спускалась в уборные. Люди были при деле...

Никита, самый молчаливый из детей, иногда умел огоршить взрослых. Виктор однажды рассказал, как он с Паустовским ходил к знаменитому птичнику, дрессировавшему канареек. По его знаку канарейка вылетала из ящика, садилась на жердочку и давала концерт. Хозяин снова делал знак, и певунья покорно убиралась в свой ящик. «Как член Союза писателей», — прокомментировал Никита и вышел из комнаты. Огоршив, он всегда исчезал к себе. В его комнате жили приманенные им птицы, но он дружил с ними и дрессировкой не увлекался. Мы знали уже, что птицы учатся петь у мастеров своей породы. В Курске выловили знаменитых соловьев, и молодянку не у кого учиться. Так пала курская школа соловьиных певцов из-за прихоти людей, посадивших лучших мастеров в клетку.

Приходила Василиса, улыбалась светло-голубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала ванну и вынимала для нас белье. Мне она давала свое, а О. М. — рубашки Виктора. Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для О. М., шумел, рассказывал новости... Поздней осенью он раздобыл для О. М. шубу. У него был старый меховой — из собачки — полушубок, который в прошлую зиму таскал по нищете Андроников, человек-оркестр. Он успел выйти в люди и обзавестись писательским пальто, и Виктор вызвал его к себе вместе с полушубком. Обряджали О. М. торжественно, под Бетховена, которого высвистывал Андроников. Шкловский даже произнес речь: «Пусть все видят, что вы приехали на поезд, а не под буферами»... До этого О. М. ходил в желтом кожаном пальто, тоже с чужого плеча. В этом желтом он попал в лагерь.

Когда раздавался звонок, то прежде, чем открыть дверь, нас прятали на кухню или в детскую. Если приходили свои, нас немедленно с радостными криками освобождали из плена, а если Павленко³⁶ или соседка-стукачка, Леля Поволоцкая — та самая, которую потом от реабилитаций хватил паралич, — мы отскакивали в тайник. Они ни разу не застали нас врасплох, и мы этим очень гордились.

Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми. В этой семье знали, как обращаться с обреченными. На кухне устраивались дискуссии, где ночевать, как пойти на концерт, где достать денег и что вообще делать. У Шкловских мы ночевать избегали, потому что в доме были швейцарихи, лифтерши и дворничихи. Эти добродушные и убогие женщины спокон веку служили в охранке. Денег они за это не получали — это была их добавочная функция. Не помню уж, как мы устроились на ночь, но на концерт в конце концов пошли... А швейцарихи, когда я появилась одна, без О. М., уже после его смерти, спросили меня, где он. Я сказала: умер. Они вздохнули: «А мы думали, что вы будете первая»... Я из этого сделала два вывода: обреченность была написана на наших лицах — это первый, а второй — нечего бояться этих несчастных баб, они ведь сердобольные. Тех, которые меня тогда пожалели, быстро свезли на кладбище — они мрут как мухи на своем голодном пайке, но я с тех пор всегда дружу с их преемницами, и они никогда не сообщали милиционерам, что я ночую без прописки в квартире Шкловских. Возвращаясь после двенадцати, когда им приходилось вставать, чтобы открыть

мне парадное, я всегда совала им в руку двадцать, тридцать копеек, как полагалось. Только после денежной реформы шестидесятых годов мы сообразили, что давали на чай не гривенники, а две-три копейки. Вот сила названия — ведь слово «рубль» все-таки сохранило какое-то обаяние, и мы с большим трудом тратили, скажем, пятерку, чем сейчас полтинник. Таксисту тоже не дашь на чай гривенник, а недавно рубль считался роскошной приплатой к счетчику... А в тридцать седьмом году часовых мы не давали, от швейцарок шарахались, задержаться у Шкловских боялись, чтобы не подвести хозяев, падали с ног, задыхались и вечно куда-то спешили.

Иногда другого выхода не было, и мы все же оставались на ночь у Шкловских. Нам клали в спальне на пол тюфяк и меховую шкуру, овчину, разумеется. С седьмого этажа не слышно, как к дому подъезжают машины, но, когда ночью поднимался лифт, мы — все четверо — выбегали в переднюю и прислушивались: «Слава Богу, этажом ниже» или «Слава Богу, мимо»... Это прислушивание к лифту происходило каждую ночь, вне зависимости от наших ночевков. К счастью, лифт поднимался редко: обитатели дома жили обычно в Переделкине и вели солидный образ жизни, а их дети еще не успели подрасти. В годы террора не было дома в стране, где бы люди не дрожали, прислушиваясь к шелесту проходящих машин и к гулу поднимающегося лифта. До сих пор, ночуя у Шкловских, я вздрагиваю, когда слышу ночной лифт. И эта картина — полуодетые люди замерли, нагнувшись у входной двери, чтобы услышать, где остановился лифт, — незабываема.

Недавно мне приснился сон, потому что у дома остановилась машина. Меня будит О. М.: «Одевайся... На этот раз за тобой...» Но я не поддаюсь и отвечаю: «Хватит. Не стану вставать им навстречу. Плевать»... И, повернувшись, я снова заснула без снов. Это был психологический бунт. Это ведь тоже какая-то форма сотрудничества: за тобой приходят, чтобы утащить тебя в тюрьму, а ты добровольно поднимаешься с кровати и дрожащими руками натягиваешь платье. Хватит. Надоело. Ни одного шага навстречу. Пусть тащат на носилках, пусть убивают тут же дома... Не хочу!

Однажды среди зимы мы решили, что нельзя больше злоупотреблять добротой Шкловских. Боялись их подвести: вдруг кто донесет, а там и «загрохотать» недолго... Одна мысль, что мы можем загубить Шкловского, а с ним и всю семью, приводила нас в отчаяние. Мы торжественно сообщили о своем решении и, не слушая уговоров, несколько дней не приходили. Чувство бесприютности и одиночества обострялось в геометрической прогрессии. Как-то, сидя у Бруни, О. М. не выдержал и позвонил Шкловским. «Приезжайте скорее», — сказал Виктор, — Василиса тоскует, места себе не находит»... Через четверть часа мы позвонили, и Василиса встретила нас с радостью и слезами. И тогда я поняла, что единственная реальность на свете — голубые глаза этой женщины. Так я думаю и сейчас.

Хочу отговориться: Анну Андреевну я никогда не отделила, но в те дни она была далеко — Ленинград был недостижим.

Марьяна роща

Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка «Заяц»; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он шел по улице, посвистывая, как ни в чем не бывало, и нес всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось и он не собирался спрятать у себя в квартире страшных государственных преступников — меня и О. М. Так же спокойно он взял в 48 году у Евгения Яковлевича рукописи О. М. и сохранил их. А его брат, Сергей Игнатьевич Бернштейн, прятал в 37—38 году другого преступника — Виктора Владимировича Виноградова, которому была запрещена из-за судимости Москва. Когда у Виноградова все пришло в норму и ему, уже академику, поручили возглавлять сталинское языкознание, он почему-то забыл этот бедный дом и даже не пришел на похороны жены Сергея Игнатьевича, гостеприимной хозяйки тридцать седьмого года.

А чаще всего мы уходили от Шкловских с сестрой Василисой, Натальей Георгиевной, или попросту Талей, которая все время читает и, между прочим, до сих пор помнит наизусть сотни стихотворений девятнадцатого века.

Тая получила комнату в старой квартире Шкловских

в Марьиной роще, где жила со своей дочерью Васей, маленькой альтисткой. В те дни, когда мы шли к Тале, Вася оставалась у Василисы, а мы спали в комнате с ее матерью. В той же квартире одну из комнат занимал Николай Иванович Харджиев, и мужчины по вечерам много разговаривали и сидели допоздна. У Николая Ивановича я провела и первые дни после ареста О. М., а потом после известия о его смерти. Я лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть: «Ешьте, Надя, это горячее» или «Ешьте, Надя, это дорожное»... Никий Николай Иванович пытался пробудить меня к жизни млыми шутками, горячими сосисками и дорогими леденцами. Он единственный оставался верен и мне, и Анне Андреевне в самые тяжелые периоды нашей жизни. Однажды я у него увидела карандашный портрет Хлебникова, сделанный Татлиным. Татлин рисовал его через много лет после смерти Хлебникова, а он был как живой, точно такой, как я его запомнила, когда он приходил есть с нами гречневую кашу в Дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами. Меня вдруг осенило, что и О. М. когда-нибудь воскреснет на чьем-нибудь рисунке, и мне стало легче. Но мне не пришлось в голову, что все художники, которые его знали, успеют умереть прежде, чем решатся написать его портрет. А бедный рисунок Миклашевского в журнале «Москва» ни на одну сотую долю на Мандельштама не похож. Как-то поразительно плохо он давался художникам, а вот на фотографиях выходил удивительно.

О. М. говорил, что у Николая Ивановича абсолютный слух на стихи, и поэтому я настояла, чтобы его назначили редактором книги, которая уже почти десять лет не может выйти в «Библиотеке поэта»^{*}.

Полуразрушенный деревянный домишко в Марьиной роще казался мне крепостью, но до этой крепости надо еще было добраться. Мы выходили от Шкловских вместе с Талей, но мимо швейцарих дефилировали поодиночке. Талья и дальше шла впереди, вскакивала на трамвай, ждала на остановках, пересаживалась. Мы шли поодаль, не выпуская из виду ее широкую спину. Ведь мы были конспираторами, и поэтому нам не полагалось идти рядом. В случае, если бы О. М. забрали на улице — а о таких арестах мы слышали, — Наталья Георгиевна, случайная прохожая, оказалась бы ни при чем. У нее даже не проверили бы документов. Она могла бы спокойно — спокойно ли? — продолжать свой путь, и мы бы не навели ищейек на дом Шкловских. Наша конспирация смехотворна, но все это приходилось делать, потому что мы благоволили родиться в двадцатом веке. И не рядом, а вслед за Талей мы шли, как будто загипнотизированные ее качающейся походкой. Она всегда выглядела невозмутимой, и, если мы не попадали в тот трамвай, куда она вскакивала первая, мы знали, что она дожидается нас на остановке, где мы делали пересадку, или на конечной. Увидев нас, она опять пускалась в путь, а мы вдвоем, падая от усталости, за ней... В ее захлабленном доме мы никогда никого не встречали, хотя там были еще жильцы, но мы проскальзывали так, что они о нас не подозревали. Именно для этого Тале нужно было самой открыть дверь своим ключом и осмотреться прежде, чем впустить нас. Но все же сосед, член Союза писателей, некий Вакс, не мог не знать, что у Тали ночуют посторонние. Видно, он был порядочным человеком, что не донес на нас. А утром Вакс говорил по телефону в коридоре. Он требовал у Союза писателей материалов и средств, чтобы отремонтировать свою трущобу, которую мы считали крепостью или расм. О. М. сочинял по этому поводу шуточные стишки, где фигурировал «Вакс — ремонтнодышащий»... Стихи оборвались — в такой жизни стихи не сочиняются, а вот шуточные иногда возникали. Их почему-то ненавидел Шкловский. Ему казалось, что шуточные стихи — признак по крайней мере расслабления мозгов. И не потому, что время было не подходящее для шутки, а вообще: рифмы не те, и вообще не то... Шуточные стихи — это петербургская традиция. Москва признавала только пародии, а Шкловский забыл про свою петербургскую юность.

По ночам я кричала. В ту зиму я начала кричать страшным нечеловеческим криком, словно животное или птица, которую душат. Шкловский дразил меня, что все люди кричат во сне «мама!», а я кричу «Ося!». До сих пор я пугаю этим криком соседей, да еще цветом ладоней: с того же года они в минуты тревоги вдруг становятся ярко-

красными. А О. М. упорно не терял присутствия духа и продолжал шутить.

Иногда нам приходилось сидеть лишние дни в Москве, потому что не удавалось достать денег. Круг дающих все время сужался. Мы дожидались очередной получки Шкловского. Он приходил домой с деньгами, рассованными по всем карманам, и отделял нам кусок добычи. Тогда мы отправлялись проживать деньги к Татьяне Васильевне, на окраину чужого нам города Калинин.

Сопричастный

Осенью 37 года Катаев и Шкловский решили свести О. М. с Фадеевым, который у власти еще не был, но пользовался большим влиянием. Вернее, он был почти у власти. Встреча произошла, кажется, у Катаева. О. М. читал стихи. Фадеева проняло — он отличался чувствительностью... С трезвыми как будто слезами он обнимал О. М. и говорил все, что полагается чувствительному человеку. Меня при этой встрече не было — я отсиживалась несколькими этажами выше, у Шкловских. О. М. и Виктор пришли довольные. Они улизнули пораньше, чтобы дать возможность Катаеву с глазу на глаз обработать Фадеева. Фадеев не забыл стихов — вскоре ему пришлось ехать в Тифлис с Эренбургом — на юбилей Руставели, что ли? — и он уверял, будто попытается напечатать подборку стихов О. М. Этого не случилось. Быть может, ему «не посоветовали»; у нас была такая милая формула — лицо, у которого просят разрешения что-нибудь сделать, хмурится: «На ваше усмотрение, пожалуйста...» Нахмуренное лицо равносильно отказу, но «невинность соблюдения, роковое «нет» не сказано, и отказ от действия является «инициативой снизу», вполне демократическим... Этих тончайших оттенков бюрократического управления не знала никакая власть, кроме нашей, потому что, ко всем своим достоинствам, она отличалась еще неслыханным лицемерием. Итак, мы решили, что Фадееву «не посоветовали», но скорее всего он просто никого не спрашивал, чтобы «не связываться»... Это более вероятно. Все же в самом конце зимы 37—38 года, встретив О. М. в Союзе, он вдруг вызвался поговорить «наверху» и узнать, «что там думают». За ответом, или, вернее, информацией, мы должны были прийти в Союз через несколько дней.

К нашему удивлению, Фадеев не обманул и явился в назначенный день и час. Мы вышли из дому вместе и сели в его машину. Он предложил отвезти нас, куда нам надо, чтобы по дороге поговорить. Он сел рядом с шофером, а мы позади. Повернувшись к нам, он рассказал, что разговаривал с Андреевым³⁷, но ничего у него не вышло: тот решительно заявил, что ни о какой работе для О. М. не может быть и речи. «Наотрез», — сказал Фадеев. Он был смущен и огорчен. О. М. даже пробовал утешать его: «Ничего, как-нибудь образуются»... В кармане у нас уже лежали путевки в Саматиху — дом отдыха, куда нас вдвоем на два месяца послал Литфонд по распоряжению Ставского. Он вдруг принял О. М. и предложил поехать в «здравницу», чтобы мы там отсиделись, пока не решится вопрос с работой. Эта милость судьбы окрылила нас, и мы не очень огорчились неудаче Фадеева. А он принял эту новость довольно раздраженно: «Путевки?.. Куда?.. Кто дал?.. Где это?.. Почему не в писательский дом?»... О. М. объяснил: у Союза нет домов отдыха в разрешенной зоне, то есть за сто километров от режимных городов. «А Малеевка?» — спросил Фадеев. Мы поняли, не имели ни о какой Малеевке, и Фадеев вдруг пошел на попятный: «Так домишко... отдали Союзу... там, верно, ремонт...» О. М. выразил предположение, что сочи неудобны посылать в писательский дом до общего разрешения вопроса. Фадеев охотно это объяснение принял. Он был явно озабочен и огорчен. Сейчас, задним числом, я понимаю, что он думал: события, которых он ждал, приближались, и он понял технику их осуществления. Самый закаленный человек не может глядеть этим вещам в глаза. А Фадеев был чувствителен.

Машина остановилась в районе Китай-города. Что нам там понадобилось? Уж не там ли было управление санаториями, куда мы должны были сообщить о дне выезда, чтобы за нами выслали лошадей на станцию Черусти Муромской железной дороги. Оттуда до Саматихи было еще верст двадцать пять.

Фадеев вышел из машины и на прощание расцеловал О. М. По возвращении О. М. обещал обязательно разыскать Фадеева. «Да, да, обязательно», — сказал Фадеев, и мы расстались. Нас смутил торжественный обряд прощания и таинственная мрачность и многозначительность Фадеева.

^{*} Это была ошибка. Этот свнух навел на стихи свои порядки и даже предлагал мне уничтожить все, что с ним не согласуется.

Что с ним? Мало ли что могло быть с человеком в те годы: на каждого хватало бед... Ослепленные первой удачей за всю московскую жизнь, путевкой — Союз начал о нас заботиться! — мы даже не подумали, что мрачность Фадеева как-то связана с судьбой О. М. и с ответом Андреева, означавшим, в сущности, страшный приговор. Фадеев, человек тертый, отлично разбиравшийся в партийных делах, не мог этого не понимать. Почему, кстати, он не побоялся разговаривать при шофере? Этого не делал никто. При нашей системе слезки все шоферы видных лиц, несомненно, докладывали куда следует о каждом их движении и слове. Случайно мне довелось узнать, как Сурков, придя к власти в писательском департаменте уже после смерти Сталина, получил машину, которая была в распоряжении Фадеева, и его шофера. Первое, что он сделал, — это под каким-то дурацким предлогом отказался от машины — стара, плохой марки — и выгнал шофера. Видно, в новые времена ему захотелось избежать постоянного подслушивания...

Неужели Фадеев обладал такой демонической верой в свою неприкосновенность, что не считался с «ушами государевыми» в своей машине? Или он уже успел солидаризироваться с тем, что судьба заготовила Мандельштаму, и поэтому мог ясными глазами смотреть на своего шофера, разговаривая с неприкасаемым человеком? Мне говорила Люба, что Фадеев был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу. Это, по ее словам, стало совершенно ясно в период расправы с еврейскими писателями. Там тоже были поцелуи, прощания со слезой и апробирование их арестов и уничтожения. При этом Мандельштам был чужим для Фадеева человеком, а те — друзьями... Но мы, чуждые чиновному миру нашей иррациональной страны, вообще не понимали двуличности — какого черта она нужна писателю, даже если он занимает какой-то пост в писательских организациях!.. Всей глубины переживания мы еще не осознали. И мы не подозревали, что в процесс уничтожения людей втянуты как сообщники главы всех учреждений и что им надлежало ставить свою подпись под списками арестованных. Впрочем, в 38 году эта функция принадлежала как будто не Фадееву, а Ставскому. Так, во всяком случае, говорят. Наверняка мы ничего не знаем. Прошлое по-прежнему остается таинственным, и мы до сих пор не знаем, что с нами делали.

Не прошло и года, как Фадеев, празднуя в Лаврушинском переулке по поводу первых писательских орденов, узнал о смерти Мандельштама и выпил за его упокой: «Загубили большого поэта». В переводе на советский язык это значит: «Лес рубят — щепки летят».

История наших отношений с Фадеевым этим не кончается. Незадолго до окончания войны я поднималась к Шкловским в лифте и случайно очутилась вместе с Фадеевым. Он вошел вторым, когда я уже собралась закрыть дверь и нажать кнопку: швейцариха крикнула мне, чтобы я подождала — кто-то идет... Войдя, Фадеев не поздоровался. К этому я привыкла и просто отвернулась, чтобы не смущать человека, который не хочет меня узнавать. Но едва лифт начал подниматься, как Фадеев нагнулся ко мне и шепнул, что приговор Мандельштаму подписал Андреев. Вернее, я так его поняла. Сказанная им фраза прозвучала приблизительно так: «Это поручили Андрееву — с Осипом Эмилевичем». Лифт остановился, и Фадеев вышел... Я не знала тогда состава тройки и думала, что приговоры выносятся только органами, и поэтому растерялась — при чем тут Андреев. Кроме того, я заметила, что Фадеев был пьяноват.

Зачем он со мной заговорил, и правда ли то, что он мне шепнул? Возможно, что в его пьяном мозгу возникла случайная ассоциация — ему вспомнился разговор в машине, и мысль о Мандельштаме связалась с Андреевым. Но не исключена возможность, что он сказал правду. Об Андрееве я знаю еще из письма ташкентского самоубийцы, что он был одним из прямых проводников сталинской террористической политики и приезжал в Ташкент инструктировать работников органов. «Как действовать на новом этапе», то есть что означает приказ об «упрощенных методах допроса».

А не все ли равно, кто подписал приговор? В те годы каждый готов был поставить свою подпись под чем угодно, и не только потому, что отказавшегося бы немедленно отправили на тот свет. Такова была сила нашей организованности, что такие же люди, как мы, «с глазами, вдолбленными в череп», рушили, вытаптывали следы, убивали, уничтожали себе подобных, оправдывая все свои поступки «исторической необходимостью». Варфоломеевская ночь длилась ровно одну ночь, и, хотя молодчики, пролившие тогда чело-

веческую кровь, может, до конца жизни хвастались своим героизмом, все же она навсегда осталась в памяти человечества. Гуманистические принципы девятнадцатого столетия — несущественно, что они были плохо обоснованы и поэтому ввели людей в соблазны, — все же растворились в нашем сознании. Насмные убийцы всегда найдутся, но старые подпольщики — несомненные человеколюбцы, воспитанные на гуманизме девятнадцатого века, ради блага людей отдавшие свою юность, — что чувствовали они, участвуя в этой «исторической необходимости»? И неужели люди не научатся на нашем примере, что нельзя преступать «закона человеческого»?

Я ни в чем не уверена и ничего не знаю, но все же мне кажется, что тогда, в машине, Фадеев уже знал, какая участь заготовлена его собеседнику. Мало того, он сразу понял, что его неспроста отправляют не в писательский дом отдыха.

Мамочка послала барышню отдыхать в Саматиху

Все шло как по маслу. Мы вышли на станции Черусти, и нас уже ждали розвальни с овчинами, чтобы не замрзнуть. Отсутствие неувязок — такая редкость в нашей жизни, что мы очень удивились: видно, здорово строго приказали, чтобы все было в порядке, раз не забыли выслать вовремя сани. Мы решили, что нас принимают, как почетных гостей... Март стоял холодный, и мы слышали, как в лесу трещат сосны. Лежал глубокий снег, и первое время мы ходили на лыжах. Как все тенишесцы, О. М. вполне ловко ходил и на лыжах, и на коньках, и здесь в Саматихе оказалось, что прогулка на лыжах, не очень дальняя, конечно, требует меньше усилий, чем пешком. Нам сразу дали отдельную комнату в общем доме, но там стоял вечный шум, и по первой же просьбе нас перевели в избушку на курьих ножках, служившую обычно читальней. Главврач сказал, что его предупредили о приезде О. М. и предложили создать ему условия, и поэтому он решил временно закрыть для общего пользования читальню, чтобы дать нам пожить в тишине. А во время нашего пребывания в Саматихе врачу даже звонили несколько раз по телефону из Союза и спрашивали, как поживает О. М. ... Он докладывал нам об этих звонках с некоторым удивлением, считая, очевидно, что к нему попала важная птица. А мы решительно утверждались в своем впечатлении, что произошел какой-то сдвиг и о нас начали заботиться. Разве не чудеса: звонят, предупреждают, спрашивают, приказывают «создать условия», как настоящим людям... Такого с нами еще не бывало...

Народ в санатории собрался спокойный — все больше рабочие разных заводов. Как всегда в домах отдыха, они были поглощены своими временными любовными историями и на нас не обращали ни малейшего внимания. Приставал только «затейник»: ему все хотелось устроить вечер стихов О. М., но и его удалось отвести, сказав, что стихи пока запрещены и для устройства вечера требуется санкция Союза. Это он сразу понял и отступился. Было, конечно, скучновато. О. М. привез с собой Данта, Хлебникова, одно-томник Пушкина под редакцией Томашевского да еще Швечкин, которого ему в последнюю минуту подарил Боря Лалин³⁸. Несколько раз О. М. порывался съездить в город, но врач говорил, что ни на розвальнях, ни на грузовике нет места. Достать частных лошадей было невозможно — кругом почти не было деревень, да и в деревнях лошади остались только колхозные. «А мы, часом, не попались в ловушку?» — спросил как-то О. М. после одного из отказов врача довести нас до станции, но тотчас об этом забыл. Все-таки в Саматихе жилось хорошо и спокойно, и мы считали, что все худшее осталось позади: ведь сам Союз купил нам путевки — обоим! — и приказал «создать нам условия»...

В начале апреля — мы еще жили в главном доме, то есть в самые первые дни — в Саматиху приехала вполне интеллигентная барышня. Она подошла к О. М. и заговорила с ним. Оказалось, что барышня знакома с Каверинным, с Тынниным и еще с кем-то из вполне приличных людей. У барышни тоже была судимость, и поэтому родители вынуждены были купить ей путевку в такое демократическое место, как Саматиха: сто пятая верста, ничего не подделаешь... Мы посочувствовали и удивились: такая молоденькая, а уже успела отбыть пять лет. Впрочем, все случается на этой земле... Барышня часто забегала к нам, особенно когда мы переселились в читальню — там было так уютно!.. Барышня все

рассказывала про своих папочку и мамочку: как папочка, когда она заболела, сам внес ее на руках в палату — какого это папочку пускают в палату? — какие у них дома пушистые кошки, которые всегда сидят у папочки на коленях, и как у них в доме все благородно и нежно, и какие у самой барышни породистые узкие ножки и ручки... И вдруг среди всего этого вздора промелькнул рассказ о следователе: он требовал, чтобы барышня назвала автора стихов, но она наотрез отказалась и только упала в обморок. «Какие стихи? — спросил О. М. — При чем тут стихи?» На это наша знакомая пролепетала, что во время обыска у нее в ящике письменного стола нашли запрещенные стихи, но она не выдала их автора... В другой раз она пристала к О. М. с расспросами, кто же интересуется его поэзией, у кого лежат его стихи, кто их хранит... «Алексей Толстой», — ответил, разозлившись, О. М., но поумнел он не сразу, а в первые дни даже прочел ей какой-то стишок, кажется, «Разрывы круглых бухт», и барышня подняла вопль: «Как вы решились написать такое» и нельзя ли получить список... Я даже упрекнула О. М. в том, что он от скуки распускается. «Глупости», — ответил он. — Ведь она знакомая Каверина... От санаторского благополучия и скуки он готов был даже слушать про папочку. А я потом наслушалась рассказов про папочку и мамочку и прочие семейные идиллии от Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, и от своих учениц такого же происхождения, и мне подумалось, что в их среде это считается интеллигентным разговором.

Барышня уехала за два-три дня до Первого мая. Собираясь она жить в Саматихе месяца два, но неожиданно папочка позвонил ей по телефону из Москвы и разрешил вернуться. Разрешил или предложил, этого мы не разобрали. На станцию ее отправили на грузовике, а с ней затейник и один из отдыхающих, которому поручили сделать к празднику покупки. Мы тоже заказали ему папирос, потому что в местном ларьке продавалась одна дрянь. О. М. очень хотелось сбежать на праздничные дни в Москву — мы предчувствовали пьянство и неисчислимое количество развлечений и хорошего пения, но доктор воспротивился: обратно грузовик пойдет загруженным и мест не будет... Человек, которому мы поручили купить папиросы, задержался в Черусти и кое-как приехал обратно с попутными телегами. Барышня, оказывается, закутила в Черусти с шофером и затейником. Они напились пьяные и такое вытворяли, что рабочий, бывший нечаянным свидетелем их попойки, не знал, как удрать. Его удивило, что начальник станции не разгневался на дебош, но предоставил им для ночлега детскую комнату по первой просьбе барышни... Наутро кутеж продолжался, а наш знакомый решил не ждать шофера и пустился в путь на свой риск. После рассказов об интеллигентных и благородных папочке и мамочке выбор собутыльников показался нам довольно странным. «А что если она шпичка?» — сказала я О. М. «Не все ли равно», — ответил О. М. — Ведь я им теперь не нужен. Это уже все прошлое... Ничто не могло выбить у нас из головы, что наши беды кончились. Сейчас я не сомневаюсь, что барышня находилась в служебной командировке, а врач велели не отпускать О. М. из Саматихи. Тем временем в Москве решалась его судьба.

Первое мая

Приближалось Первое мая, и весь санаторий чистился, мылся, готовился к празднику. Люди гадали, что будет на праздничный обед. Ходили слухи, что заказано мороженое. О. М. рвался удрать, а я его успокаивала, не идти же пешком на станцию. Потерпишь — каких-нибудь два дня, и все уляжется...

В один из последних дней апреля мы шли с О. М. в столовую, помещавшуюся в отдельном бараке, недалеко от главной усадьбы. Возле домика главврача стояли две машины, а легковые машины всегда вызывали у нас дрожь. Почти у самой столовой мы встретили врача с какими-то приезжими. Видом своим они резко отличались от отдыхающих — крупные, холеные, сытые... Один был в военном, другие в штатском. Явно — начальство, но неужели районное? На районных секретарей, которых нам приходилось встречать, они нисколько не походили. «Комиссия», — подумала я. «А вдруг они проверяют, здесь ли я», — вдруг сказал О. М. — Ты видела, как он на меня посмотрел?» Действительно, один из приезжих, одетый в штатское, оглянулся и внимательно на нас посмотрел, а потом что-то сказал врачу. Но мы тут же об этом позабыли. Гораздо естественнее было предположить, что это районная комиссия проверяет, как санаторий

готовится к международному празднику Первого мая. В такой жизни, как наша, приходилось все время бороться с припадками страха, когда невольно у каждого накапливаются приметы приближающейся катастрофы, иногда реальные, иногда впустую, но самые поиски этих примет приводят человека на грань психического заболевания. Мы старались не поддаваться, но тщетно. И припадки холодного ужаса перемежались у нас с легкомыслием, и с собственными шпиками мы разговаривали, как со знакомыми.

Весь день Первого мая шла гульба. Мы сидели у себя и выходили только в столовую, но к нам доносились крики, песни и отголоски драк. К нам спаслась одна отдыхающая, текстильщица с одной из подмосковных фабрик. Чего-то она болтала, а О. М. шутил с ней, а я дрожала, что он скажет что-нибудь лишнее, а она побежит и донесет. Разговор зашел об арестах в их поселке, она рассказала про одного арестованного, что он хороший человек и к рабочим был всегда внимателен. О. М. стал ее расспрашивать... Когда она ушла, я долго его упрекала: «Что за невозддержанность... Ну кто тебя за язык тянет!..» Он уверял меня, что больше не будет — обязательно исправится и ни с кем из посторонних слова не скажет... И я навсегда запомнила, как я сказала: «Жди, пока исправиться — великий сибирский путь»...

В ту ночь мне приснились иконы. Сон не к добру. Я проснулась в слезах и разбудила О. М. «Чего теперь бояться — сказал он. — Все плохое уже позади... И мы снова заснули... А мне никогда ни раньше, ни потом иконы не снились — они не входили в наш быт, а старинные, которые мы любили, были для нас живописью на загрунтованных досках.

Нас разбудили под утро — кто-то скромно постучал в дверь. О. М. вышел отворить. В комнату вошли трое — двое военных и главврач. О. М. одевался, я накинула халат и сидела на кровати. «Ты знаешь, когда подписан ордер?» — сказал О. М. Оказалось, что около недели назад. «Ничего не поделаешь», — объяснил военный. — Перегрузка... Он пожаловался, что люди в праздник гуляют, а им приходится работать, и грузовик они в Черусти еле раздобыли — никого не найдешь... Очнувшись, я начала собирать вещи и услышала обычное: «Что даете так много вещей — думаете, он долго у нас пробудет? Спросят и выпустят»...

Никакого обыска не было: просто вывернули чемодан в заранее заготовленный мешок. Больше ничего... Я вдруг сказала: «Мой адрес: Москва, Нащокинский. Наши бумаги там». На Нащокинском уже ничего не было, и мне хотелось отвести их от комнаты в Калинин, где действительно находилась корзинка с бумагами. «На что нам ваши бумаги?» — миролюбиво ответил военный и предложил О. М. идти. «Проводи меня на грузовике до Черусти», — попросил О. М. «Нельзя», — сказал военный, и они ушли. Все это продолжалось минут двадцать, а то и меньше.

Главврач ушел с ними. Во дворе затахтел грузовик. Я сидела на кровати, не шевелясь. Даже дверь за ними не закрыла. Они уехали, и тут вернулся врач. «Время такое», — сказал он, — не отчаивайтесь, может, обойдется... И он привалял обычную фразу о том, что надо беречь силы: они пригодятся... Я спросила, что это за комиссия у него была. Оказалось, работники районного центра. Они затребовали, между прочим, списки отдыхающих. «Но я про вас даже не подумал», — сказал врач. У него уже арестовывали отдыхающих. Один раз тоже приезжали накануне, чтобы проверить списки отдыхающих, а в другой — просто запросили по телефону, кто из отдыхающих не находится на месте... Великое уничтожение людей тоже имеет свою технику: чтобы арестовать человека, надо застать его на месте. Главврач был старым коммунистом и славным человеком. Он спрятался подальше от шумной жизни в скромный рабочий дом отдыха и там один вел все хозяйство и лечил людей. А жизнь все же врывается к нему в его обитель, и никуда от нее уйти он не мог...

Утром прибежала текстильщица, та самая, которой я накануне вечером так испугалась. Она заплакала и последними словами крыла сукиных детей. Чтобы добраться до Москвы, мне пришлось распродать вещи. Те гроши, что у нас были, я отдала О. М. Текстильщица помогла мне распродаться и сложить чемодан. Пришлось мучительно долго ждать таратайку. Меня отправляли вместе с инженером, приехавшим на праздник в санаторий навестить отдыхавшего там отца. Врач простился со мной в комнате, а к таратайке вышла только текстильщица. Инженер рассказывал, когда мы тряслись в таратайке, что у него два брата и все трое работают в автомобильной промышленности, так что, если рухнет один, загрямят и оба другие: молодые были, не думали, что

следует поосторожнее и подальше друг от друга... Вот будет горе отцу... А мне казалось, что он просто чекит и везет меня прямо на Лубянку. Но мне было все равно.

Мы сошлись с О. М. первого мая 19 года, и он рассказал мне, что на убийство Урицкого большевики ответили «гекатомбой трупов»... Мы расстались первого мая 38 года, когда его увели, подталкивая в спину, два солдата. Мы не успели ничего сказать друг другу — нас оборвали на полуслове, и нам не дали проститься.

В Москве я вошла к брату и сказала: «Осю забрали». Он побежал к Шкловским, а я отправилась в Калинин, чтобы вывезти оттуда оставленную у Татьяны Васильевны корзину с рукописями. Задержись я хоть на несколько дней, содержимое корзинки попало бы в мешок, а меня бы увезли в «черном вороне». В те дни я предпочла бы «черного ворона» своей так называемой свободной жизни. А что бы случилось со стихами? Когда я вижу книги разных арагонов, которые хотят помочь своей стране и научить их жить, как мы, я думаю, что мне следует рассказать и о своем опыте. Ради какой идеи, собственно, нужно было посылать несчастье поезды с каторжниками на Дальний Восток и среди них человека, который был мне близок? О. М. всегда говорил, что у нас берут безошибочно: уничтожался не только человек, но и мысль.

Гуговна

Мне попала раз книжечка о вымерших птицах, и я вдруг поняла, что все мои друзья и знакомые не что иное, как вымирающие пернатые. Я показала О. М. парочку уже несуществующих попугаев, и он сразу догадался, что это мы с ним. Книжку эту, потаскав с собой, я потеряла, но эта аналогия успела открыть мне глаза на многое. Единственное, чего я тогда не знала, это то, что вымершие птицы необычайно живучи, а живое воронье ни на какую жизнь не способно.

Покойный Дмитрий Сергеевич Усов сказал мне, что считает породу О. М. не сарейской, а ассирийской. «Где? в чем?» — удивилась я. Усов показал ассирийский ракурс в строчке: «Солнце подсолнечника грозных прямо в очи оборот». «Поэтому он так легко раскусил ассирийца», — прибавил Усов.

Бородатый, задыхающийся и одичавший, как О. М., тоже ничего не боящийся и всем напуганный, Усов умирал в ташкентской больнице и звал меня проститься, а я опоздала прийти. Пусть он простит мне этот грех за то, что я скрасила стихами Мандельштама, любимого им беспредельно, его последние дни. Когда Мишенька Зенкевич³⁹ ездил по каналу, каторжник Усов уже зарабатывал там свою грудную жабу. Он принадлежал к «словарникам» — делу, по которому ждали много расстрелов, но чей приговор был смягчен по ходатайству Романа Роллана. Во время войны кое-кто из словарников вышел, отсидев пять лет в лагерях, и попал в Среднюю Азию, куда выслали их жен. Эти сорокапятилетние люди один за другим умирали от сердечных болезней, нажитых в лагерях. Среди них — мой приятель Усов. Каждое такое дело — эрмитажники, историки, словарики — это крупица народного мозга, это мысль и это духовная сила, которую планомерно уничтожали.

Алиса Гуговна Усова похоронила своего великана на ташкентском кладбище, приготовила себе рядом могилку и осталась доживать свои дни в смертельно опасном для нее среднесазиатском климате. Она еще умудрилась вытащить из глухой казахстанской ссылки какого-то бывшего ответственного работника с большой семьей за то, что он помог ей коротать сыльные годы, колоть дрова и таскать воду. Все это семейство она прописала в своей комнате в доме педагогического института. Это было сделано затем, чтобы добро, то есть комната, полученная профессором Усовым, зря не пропала после ее смерти. Тогда она решила, что совершила на земле все земное, и спокойно легла в могилу, заранее заплатив кладбищенским нищим, чтобы они над ней посадили такое же дерево, как над Дмитрием Сергеевичем, а также поливали, пока не забудут. Цветы. На вселенных в ее комнату людей она не очень надеялась...

Постепенно сходя на нет, Алиса Гуговна продолжала живо реагировать на все причуды жизни и осыпала отборной бранью чиновников, болванов и псевдоученых. В академической жизни она плавала, как рыба, и твердо определяла, кто достоин и кто не достоин ученого звания, кто стукач и с кем можно распить бутылочку кислого вина. Это она придумала тост, произносимый в тех случаях, когда на наших скромных

пирах вдруг появлялся кто-нибудь из аспирантов, которым доверять, разумеется, не приходилось. А на что можно донести, если профессорско-преподавательский состав сам добровольно поднимает первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь! Стукачи и аспиранты оставались на бобах...

Хромая Гуговна бегала по комнате и разводила неслыханный уют из остатков щербатого фарфора, гарусных одеял, совершенно рваных, но помнивших крепостное право, и кучки усовских книг. Любимую кружку они вместе с Усовым прозвали «щеглом» и позволяли пить из нее только тем, кто знал наизусть мандельштамовские стихи. Тоненькими пальчиками Гуговна массирует лицо и говорила про Анну Андреевну: «Совершенно неухоженная женщина...» Она непрерывно заботилась о маникюре — а это особенно актуально, когда годами топишь времянку, скребешь кастрюли и полы, — и о своей длинной полусудой косе. Ее грызло тайное беспокойство, что, если она «не сохранит своего облика», Усов может не узнать ее на том свете. Точно так она беспокоилась о своем «облике» и в казахстанской ссылке, когда Усов отсиживал лагерный срок. Она тщательно готовилась встретить его такой же красоткой, как в ночь расставания. После смерти Усова она долго на него сердилась, что он так легкомысленно бросил ее одну, попросту дезертировал, и ей приходится самой разбираться во всех этих лексикологиях и стилистиках, чтобы заработать свой черствый вдовый кусок хлеба.

Она последняя владела прекрасной скрипучей музыкой московского барского говора, и Усов уверял, что ее при любых обстоятельствах назначат не простой, а почетной еврейкой. При этом учили бы ее московскую досильную профессию: она служила консультантом Ленинской библиотеки и определяла, кто изображен на портретах восемнадцатого и начала девятнадцатого века. Ей были известны все сплетни про дам этого периода, и не существовало лучшего знатока генеалогии тех семейств, из которых вышли поэты.

Так начинали жизнь красотки моего поколения, вдовы страстотерпцев, утешавшихся в тюрьмах, лагерях и ссылках тайным запасом хранимых в памяти стихов. Читатели стихов — особая порода, тоже принадлежавшая в те дни к числу вымирающих птиц. Лучшие читатели были последними добряками, прямыми и смелыми людьми. Откуда бралась у них смелость или, вернее, стойкость? Будет ли новое поколение читателей, тех, что появились сейчас в шестидесятые годы, похоже на своих предшественников? Сумют ли они выдержать испытания, которые им готовит судьба, как их выдержала Гуговна, всегда твердившая, что она — избалованная женщина, каприза и злока... Судьба так баловала Гуговну, что она даже в ссылке сохранила длинную косу, отличную память на стихи и яростную нетерпимость ко всякому приспособленчеству и лжи.

Однажды Гуговну остановил в САГУ⁴⁰ один молодой ученый и долго расспрашивал ее обо мне и о том, храню ли я бумаги Мандельштама. Гуговна отвечала уклончиво и тотчас прибежала ко мне, чтобы передать совет молодого ученого: немедленно бросить все бумаги в печку. Он настойчиво просил это передать мне, ссылаясь на какой-то таинственный источник, который он не смел назвать. «Ерунда, — сказала я, — и не подумаю. Если придут и заберут — это одно, но сама уничтожать ничего не буду... Правильно, — сказала Гуговна. — Но отдавать им тоже нельзя. Мы с вами приготовим для них копии, а подлинники спрячем». Мы просидели всю ночь и приготовили груды копий, а подлинники Гуговна унесла с собой и куда-то пристроила; мы придерживались такого правила: на случай ареста я не должна была знать, у кого спрятаны бумаги. Это означало, что я ни при каких обстоятельствах не смогу назвать место, где они лежат... Мы всегда готовились к худшему и, может, поэтому уцелели. Встречаясь со мной в САГУ, где мы обе служили, Гуговна оповещала меня о здоровье «щеглов» — все в порядке, поют — и даже успела прослыть любительницей птиц. Это произошло в тот период, когда ко мне ходила «частная ученица», про которую Лариса сообщила мне, что она «служит у папы». Похоже, что эта «ученица» работала не по приказу сверху, а по собственной инициативе, потому что отец Ларисы, когда она пришла к нему жаловаться, что Лариса ходит ко мне и мешаю ей «работать», велел оставить меня в покое. Он сказал, что О. М. не политический, а уголовный преступник: «Был пойман в Москве, наскандалил, а не имел права там находиться... И еще он сказал, что я «числяюсь за Москвой». Обо всем этом я узнала от Ларисы. Вероятно, так было сказано в моем досье, которое

путешествовало за мной из города в город. Когда «учеища» исчезла, Усова принесла мне мои бумаги. Она не дожидая смерти Сталина, но, как и я, была неисправимой оптимисткой и не сомневалась, что он когда-нибудь умрет. Я не перестаю в это верить и сейчас.

Западня

Пока не пришло известие о смерти Манделштыма, я все видела один сон: я что-то покупаю на ужин, а он стоит сзади, мы сейчас пойдем домой... Когда я оборачиваюсь — его уже нет, он ушел и маячит где-то впереди... Я бегу, но не успеваю догнать его и спросить, что с ним «там» делают... Уже пошли слухи об истязаниях заключенных.

Днем меня мучило раскаяние: почему, увидев комиссию и почуввав недоброе, мы не поддались страху и не убежали пешком на станцию? Что за спартанство проклятое — не поддаваться панике! Выдержка еще нам нужна... Нам бы пришлось идти пешком — ведь лошадей нам не дали, мы бы бросили кучку барахла и, может, свалились в инфаркте на этом муромском двадцатипятиверстном тракте.

Зачем мы позволили заманить себя в ловушку ради того, чтобы несколько недель не думать о крове и хлебе, чтобы не надоедать знакомым и не просить у них милостыню? Что Ставский сознательно послал нас в западню, я не сомневалась. Где-то наверху, наверное, дожидались решения Сталина или кого-нибудь из его приближенных. Без санкции сверху Манделштыма нельзя было забрать, так как на деле 34 года стояла резолюция «изолировать, но сохранить». Ставскому, очевидно, предложили дать нам временную оседлость, чтобы потом нас не разыскивать. Чтобы избавить органы от сыщичьей работы, Ставский любезно заманил нас в дом отдыха. Работники органов изнемогали от перегрузки — такой сознательный коммунист, как Ставский, всегда готов был им помочь. И дом отдыха он выбрал внимательно: такой, из которого нельзя было, за здорово живешь, отлучиться — двадцать пять километров от станции сердечный больной не осилит.

Перед отправкой в Саматиху Ставский впервые принял О. М. Мы тоже сочли это добрым знаком. На самом же деле ему, наверное, понадобился добавочный материал для «рецензии» на Манделштыма, то есть для характеристики, предвещающей его арест. Иногда такие характеристики писались задним числом, когда человек уже находился в тюрьме, иногда перед арестом. Такова была одна из процедурных деталей уничтожения людей. В обычных случаях характеристики писались главой учреждения, но при аресте писателей часто требовались и дополнительные, для чего в органы могли вызвать любого члена Союза. По этике шестидесятых годов мы различаем прямые доносы и «характеристики», написанные под нажимом. Кто из пригласенных в органы мог отказаться от дачи «характеристики» своему арестованному товарищу? Это означало бы немедленный арест, а что будет с детьми, с семьей? Люди, писавшие такие характеристики, оправдываются сейчас тем, что не сказали ничего такого, что бы не фигурировало уже в прессе. Ставский, наверное, изучил прессу — ему подобрали все аккуратные секретарши — и прибавил несколько личных впечатлений — Манделштым помог ему в этом, сообщив о своем отношении к расстрелам. Он заметил, что Ставский очень внимательно его слушал... Известно, что ничто так не объединяет правящие круги, как общее преступление, а этого у нас хватило на всех...

В 56 году, когда после двадцати лет я впервые зашла в Союз к Суркову, он встретил меня с бурной радостью — в те дни многим казалось, что пересмотр прошлого пойдет гораздо более круто, чем произошло на самом деле, оптимисты не учли отдачи пружины, заранее заготовленной сталинским режимом, то есть противодействия целых толп, замешанных в преступлениях прошлого режима. Как говорила тахтентская Лариса: «Нельзя было так резко менять — ведь это же травмирует старых работников»... Вероятно, именно на это она хотела жаловаться за границу...

С Сурковым речь сразу зашла о наследстве Манделштыма — где оно? И тут он долго и упорно повторял, что у него тоже были стихи Манделштыма, записанные рукой О. М., но Ставский почему-то их отобрал... Зачем ему нужны были стихи, ведь он никогда стихов не читал... Чтобы прекратить этот бессмысленный разговор, я прервала Суркова и сказала, что думаю о роли Ставского. Сурков не возражал.

То же самое мне пришлось повторить Симонову, к которому я однажды зашла в отсутствие Суркова. Симонов, вели-

кий дипломат, посоветовал подать заявление о посмертном приеме в Союз Манделштыма, сославшись на то, что Ставский собирался оформить членство О. М. между первым и вторым арестом. Я отказалась от такой тактики и сообщила Симонову, что я думаю о роли Ставского. Он тоже ничего не возразил. Опытный человек, он знал, что делают начальники в роковые годы. И Суркову, и Симонову, кажется, повезло: в эти годы они в начальниках не состояли и поэтому списков арестованных не подписывали, и «характеристик» на уничтожаемых с них не требовали. Дай-то им Бог, чтобы это было так...

А разве дело в фамилии начальника? Любой бы сделал это, иначе за ним бы ночью пришла машина... Все мы были овцами, которые дают себя резать, или почтительными помощниками палачей, потому что не хотели переходить в отряд овец. И те, и другие проявляли чудеса покорности, убивая в себе все человеческие инстинкты. Почему мы, например, не выдавили стекла, не выпрыгнули в окно, не дали волю глупому страху, который погнал бы нас в лес, на окраину, под пули? Почему мы стояли смирно и смотрели, как роятся в наших вещах? Почему О. М. покорно пошел за солдатами, а я не бросилась на них, как зверь? Что нам было терять? Неужели мы боялись добавочной статьи о сопротивлении при аресте? Ведь конец все равно один — чего уж там бояться? Нет, это не страх. Это совсем другое чувство: скрывающее силы и волю сознание собственной беспомощности, которое овладело всеми без исключения — не только теми, кого убивали, но и убийцами. Раздавленные системой, в построении которой так или иначе участвовал каждый из нас, мы оказались негодными даже на пассивное сопротивление. Наша покорность разнуздывала тех, кто активно служил этой системе, и получился порочный круг. Как из него выйти?

Окошко на Софийке

Единственная связь с арестованными — передача. Раз в месяц, отстояв длинную очередь — аресты приуменьшились, и мне не приходилось стоять больше трех-четыре часов, — я подходила к окошку и называла фамилию. Человек в окошке перелистывал списки на букву «м» — я приходила в дни, когда он перелистывал эту букву. «Имя, отчество?» Я говорила, и из окошка высовывалась рука. Я вкладывала в нее свой паспорт и деньги, затем, получив обратно паспорт с вложенной в него распиской, уходила. Мне все завидовали, потому что я знала, где находится мой арестованный и что он еще жив. Ведь то и дело из окошка раздавалось рывканье: «Нету... Следующий»... Всякие распросы были бесполезны. Вместо ответа человек в клетке захлопывал окошко, а к вопрошавшему приближался солдат из внешней охраны... Порядок мгновенно водворялся, и к окошку подходил следующий, чтобы назвать фамилию своего арестанта. Если кто-нибудь пожелал бы задержаться у окошка, очередь помогла бы солдату из внешней охраны выдворить его.

В очереди никаких разговоров обычно не происходило. Это была главная тюрьма в Советском Союзе, и публика здесь подбиралась отборная, дисциплинированная, солидная... Никаких недоразумений не случалось, разве что кто-нибудь задаст лишний вопрос, но тут же, смутившись, ретируется. Только однажды пришли две накрахмаленные девочки, у которых накануне ночью увели мать. Их пустили без очереди, не спросив, на какую букву начинается их фамилия. У всех женщин, наверное, жалось сердце при мысли, что скоро точно так же к окошку подойдут их собственные дети. Кто-то приподнял старшую девочку, потому что она не доставала до окошка, и она закричала: «Где мама?» и «Мы не хотим в детдом... Мы не вернемся домой...» Окошко захлопнулось, а девочки успели еще сказать, что их папа военный. Это могло означать и настоящий военный, и чекист. Детей чекистов с детства учили говорить, что их папа военный, чтобы не насторожить школьных товарищей. «К нам ведь плохо относятся», — объясняли в таких случаях детям. А перед поездками за границу детей чекистов заставляли заучивать свою новую фамилию, под которой их родители работали за рубежом... Накрахмаленные девочки жили, вероятно, в ведомственном доме, и они рассказали людям в очереди, что за другими детьми в их доме уже приехали и увезли их в детдома, они же рвались к бабушке на Украину. Но тут открылась боковая дверь, из нее вышел военный, увел девочек, окошко снова открылось, снова начали выдавать справки, и воцарился полный порядок. Только, когда

девочек уводили, кто-то сказал: «Попались дурочки», — а другая женщина прибавила: «Надо своих отослать, пока не поздно»...

Накрахмаленные девочки представляли собой исключение, обычно приходившие в очередь дети были сдержанны и молчаливы, как взрослые. Обычно сначала уводили отца, особенно если он был военным любого сорта, а оставшаяся с детьми мать заранее обучала их, как им вести себя, когда они останутся одни. Многие из них избежали детдомов, но это зависело главным образом от положения, которое занимали в обществе их родители: чем оно было выше, тем меньше шансов имели дети на частную жизнь. А самое удивительное, что жизнь продолжалась и люди обзаводились семьями и рожали детей. Как они могли на это решиться, зная о том, что происходило перед окошком на Софийск*?

Женщины, стоявшие со мной в очереди, в разговоры старались не ввязываться. Все, как одна, утверждали, что их мужей взяли по ошибке и скоро выпустят, а глаза у них были красные от слез и бессонницы, но я никогда не видела, чтобы в очереди кто-нибудь заплакал. Выходя на улицу, женщины внутренним усилием как бы отглаживали свои черты и прихорашивались. Большинство возвращалось на службу, откуда они отпрашивались под каким-нибудь предлогом, чтобы сделать передачу. На службе они не смели показать своего горя, и у них были не лица, а маски. В Ульяновске в конце сороковых годов со мной работала женщина, жившая в общежитии с двумя детьми. Она поступила лаборанткой и вскоре стала незаменимой. Ее даже повысили в чинах и дали ей разрешение заочно учиться. Жила она нищенски, дети буквально голодали, а муж бросил ее и не желал давать ей даже на детей. Ей советовали подать на алименты, но она плакала и говорила, что гордость ей этого не позволяет. Все трое — мать и дети — худели на глазах. Ее вызывали в местком, в парторганизацию и к директору, и все объясняли ей, что ради детей следует поступиться гордостью. А она стояла на своем: он ее предал, подло изменил ей с другой, и денег она у него не возьмет и к детям приблизиться ему не позволит. На нее пробовали влиять через старшего мальчика, но он оказался таким же непреклонным, как мать. Прошло несколько лет, и вдруг к ней явился муж, и мы все видели, как она бросилась ему на шею. Тут же она подала на увольнение и стала складывать чемоданы. Вездесущие сторожки узнали, что ему отказали в прописке, потому что он вернулся из лагеря. Все эти годы она врал про гордость и разбитое сердце, чтобы не потерять работу. Вероятно, это было мельчайшее из мелких дел, иначе органы оповестили бы отдел кадров, что она жена репрессированного, а скорее всего он привлекался не по знаменитой пятидесяти статье, а по какой-нибудь уголовной или бытовой. Освободили его перед самой смертью Сталина, так что повторным арестам он уже не подвергался, и я надеюсь, что все они сейчас благоденствуют. И я себе представляю, как эти трое заговорщиков — она и двое истощенных детей — шептались по ночам: «Спрашивали про папу... я их отбрил... а они меня уговаривали, но я и виду не подавала... держись, смотри... лишь бы вернулся...» Отец когда-то читал политэкономии и был идеологической звездой. Несомненно, при такой выдержке он стал звездой первой величины. Это один из бесчисленных случаев, когда «по своим артиллерия бьет»...

Отстояв несколько месяцев на Софийке, я однажды узнала, что О. М. переведен в Бутырки. Там формировались эшелоны на высылку в лагерь. Я бросилась в Бутырки узнавать, когда дают справки людям с фамилией на «м». В Бутырках приняли только одну передачу, а во второй раз сказали, что О. М. отправлен в лагерь на пять лет по решению Особого совещания. Это мне подтвердили и в прокуратуре, где я тоже отстояла все положенные очереди. Существовали окошки, где подавали заявления, и я подавала заявления, как все. Ровно через месяц после подачи заявления нам всем сообщали, что получен отказ. Таков обычный путь жены арестованного, если она сама так удачлива, что не угодила в лагерь. В гладкой, несокрушимой стене, о которую мы бились, продлабли специальные окошки для подачи заявлений и для получения справок и отказов. Из лагеря я получила письмо — одно-единственное, — и это тоже считалось большой удачей: ведь я узнала, где находится О. М. Немедленно я выслала посылку, и она вернулась ко мне «за смертью адресата». Через несколько месяцев

брату О. М. — Александру Эмильевичу — выдали справку о смерти О. М. Никто из моих знакомых женщин таких справок не получал. Не знаю, почему мне была оказана такая милость.

Незадолго до Двадцатого съезда, гуляя с Анной Андреевной по Ордынке, я заметила неслыханное скопление шпинок. Они торчали буквально из каждой подворотни. «На этот раз не бойтесь», — сказала Анна Андреевна. — Происходит что-то хорошее». До нее дошли смутные слухи о партийной конференции, на которой Хрущев зачитал свое знаменитое письмо. Именно по поводу этой конференции город охранялся толпами агентов, пересодетых в штатское. Вот тут-то Анна Андреевна и посоветовала мне сходить в Союз прозондировать почву. Мы уже знали, что вдова Бабеля и дочь Мейсхольда подали на реабилитацию. Эрэнбург давно уже совещал мне последовать их примеру, но я не торопилась, а в Союз все же пошла. Ко мне выскочил Сурков, и по его обращению я поняла, что времена действительно переменялись: так со мной еще никто никогда не разговаривал... Первая встреча с Сурковым произошла в присмной, при секретаршах. Принять меня он обещал через несколько дней и очень просил не уезжать из Москвы, не поговорив с ним. Две или три недели подряд я звонила в отдел кадров, и меня нежно уговаривали подождать еще. Это означало, что Сурков еще не получил инструкций, как со мной разговаривать, и я ждала, удивляясь, как страшное место, называвшееся «отдел кадров», внезапно переменило тон. Свидание, наконец, состоялось, и я увидела, как Сурков радуется тому, что может говорить, как человек. Он обещал помочь Леве Гумилеву и сделать все, что я просила, для меня. Благодаря Суркову я дослужила до пенсии, потому что к моменту нашего разговора я опять сидела без работы, и он обратился к министру просвещения и рассказал, что со мной вытворяют... Будущее представлялось ему радужным, он обещал перетащить меня в Москву — комната, прописка — и заговаривал о печатании Мандельштама, о его наследстве... Для начала он просил, чтобы я подала на реабилитацию. Я попыталась, что было бы, если б у Мандельштама не осталось вдовы, кто бы тогда подал эту бумажку, но упрямиться не стала... Вскоре я получила повестку о реабилитации по второму делу 38 года, и прокурорша продиктовала мне заявление относительно реабилитации по делу 34 года: «Подсудимый написал стихи, но распространением их не занимался»... Это дело рассматривалось во время венгерских событий, и в реабилитации мне отказали. Сурков решил с отказом не считаться и назначил комиссию по наследству. Мне выдали пять тысяч за голову погибшего. Я разделила их между теми, кто помогал нам в 37 году. Таков ритуал возвращения к жизни писателей, погибших в лагерях. Второй этап — печатание их книг.

Препятствий к изданию книг слишком много. Я не знаю, что такое конкуренция, которой нас пугают, но отлично видела борьбу за место в обществе, которая велась у нас всеми средствами. Когда пошли первые слухи о микояновских комиссиях, многим стало не по себе — и далеко не только тем, кто способствовал изытанию соперников. Я слышала шепотки о том, куда же денутся возвращенцы: а вдруг им захочется занять свои прежние места. Сколько новых единиц понадобится в советских учреждениях, чтобы пристроить все эти толпы? Никакой драмы, однако, не произошло. Большинство вернулось в таком состоянии, что ни о какой активной деятельности не помышляло. Все прошло спокойно, и те, кто боялся, что им придется потесниться, облегченно вздохнули. Иное дело литература. Тщательно построенная табель литературных рангов подлежит активной охране, иначе рухнет множество устоявшихся репутаций. Вот почему так старательно противодействуют изданию книг покойников. Впрочем, и с живыми поступают не лучше.

Книга О. М. поставлена в план «Библиотек поэта» в 56 году. Все члены редколлегии высказались за издание. Мне очень понравилась точка зрения Прокофьева — он считает, что никакого поэта Мандельштама не существует и, чтобы рассеять иллюзию, надо его издать. К несчастью, он, видимо, не способен стоять на такой благородной позиции и не прекращает борьбу с изданием. Орлов, главный редактор «Библиотек», не знал, что ему придется встретиться с активным противодействием, и писал мне любезные письма, но, сообразив, что издание может повлечь за собой некоторые неприятности, быстро отступился и заодно прекратил переписку. Да что говорить об Орлове — крупном чиновнике, который к тому же вполне равнодушен к поэзии Мандельштама. Гораздо серьезнее позиция настоящих лю-

* Пущечная улица.

бителей его поэзии, людей авторитетных, независимых и отнюдь не бюрократов. Двое из них, лучшие из сохранившихся представителей разгромленных поколений, объяснили мне, что Орлов совершенно прав, не издавая О. М., на что формально он имеет все возможности. «Этим могут воспользоваться его враги — на его место зарятся многие, — его снимут, и погибнет культурное издательство»... Ценой отказа от издания Мандельштама он сохранит свое положение и выполнит план издания поэтов двадцатых, тридцатых и сороковых годов прошлого века, в которых участвуют оба человека, которых я цитировала*. В этом переплетении личных и групповых интересов, борьбы за занятые места и за куски государственного пирога мне не разобраться. Единственное, что бы мне следовало сделать, — самой и за свой счет издать Мандельштама, что невозможно по нашим условиям. И я понимаю, что мне не придется увидеть его книги, так как дни мои тоже идут к концу. Меня утешают только слова Анны Андреевны, что О. М. в изобретении Гутенберга не нуждается. В каком-то смысле мы действительно живем в допечатную эпоху, читателей стихов становится все больше, и стихи по всей стране ходят в списках. И все же я хотела бы увидеть книгу, которую я не увижу**.

(Окончание следует)

Комментарий

1. Л. Н. Гумилев, сын А. А. Ахматовой, неоднократно репрессировался.
2. «Один день Ивана Денисовича».
3. Рассказ Б. Дьякова о лагерном эпизоде; напечатан в противовес повести А. И. Солженицына.
4. Бест — слово, заимствованное из персидского, употреблялось в те годы; означает «недосягаемое, но не скрытое убежище» («Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, т. 1. М., 1935, с. 135).
5. В «Поэму без героя» (журнал «Горизонт» № 4, 1988, с. 53).
6. Реминисценция стихотворения «Не веря воскресенья чуду...».
7. Художник, автор одного из немногих прижизненных портретов Мандельштама.
8. М. С. Шагинян.
9. Семья репрессированного в 30-е годы писателя С. М. Третьякова.
10. Поэтесса; Мандельштам сочувственно упомянул ее в статье «Литературная Москва» (1922 г.), в Воронеже написал доброжелательную рецензию на книжечку ее стихов («Вопросы литературы» № 12, 1980).

* Лидия Гинзбург и Ирина Семенко.

** Увидела и пришла в отчаяние⁴¹ <...>

11. Поэт, перс по происхождению, иммигрировал в СССР из Ирана.
12. По Беломорско-Балтийскому каналу, строившемуся заключенными.
13. Советский писатель, главный редактор журнала «Октябрь» в 60—70-е годы.
14. Поэт и переводчик, близкий акмеистам, перевел «Божественную комедию» Данте.
15. С. Д. Лебедева, скульптор.
16. «Клейкой клятвой пахнут почки...», стихотворение адресовано Н. Е. Штемпель.
17. В доме искусствоведа Н. Н. Пунина, где жила А. А. Ахматова.
18. И. Л. Андроников, литературовед, мастер устного рассказа.
19. «Звезда» № 5, 1933; полный текст — «Литературная Армения» № 3, 1967.
20. Актер и режиссер.
21. Поэт.
22. Стихотворение А. А. Ахматовой «Немного географии».
23. Жену Н. А. Бруни звали Аниой Александровной.
24. Драматург, автор пьесы «Самоубийца».
25. Поэт, переводчик.
26. Переводчик-античник, адресат одной из эпиграмм О. Э. Мандельштама.
27. Н. Я. Мандельштам имеет в виду стихотворение О. Э. Мандельштама:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

28. В рассказе «Рыгачи».
29. Поэт-символист, друживший с О. Э. Мандельштамом и восхитившийся его стихами.
30. Известный пушкинист, автор книги «Дуэль и смерть Пушкина».
31. «Девушка и Смерть».
32. В романе «Раковый корпус».
33. Литературный критик и переводчик, искусствовед и театровед.
34. Художник.
35. Первый нарком здравоохранения РСФСР (1918—30 гг.).
36. Известный советский писатель, по-видимому, имел друзей в НКВД; по рассказам современников, частично воспроизведенным Н. Я. Мандельштам в главе «Христофорыч» (см. «Юность» № 8, 1988 г., с. 56), хвалился, что присутствовал на одном из допросов О. Э. Мандельштама во внутренней тюрьме Лубянки в 1934 г.
37. Советский партийный и государственный деятель, в те годы секретарь ЦК ВКП(б).
38. Писатель, младший современник и друг О. Э. Мандельштама.
39. Поэт-акмеист.
40. Среднеазиатский государственный университет в Ташкенте.
41. Издание О. Мандельштама в «Библиотеке поэта» вышло в свет в 1973 г.; в книгу не вошли многие стихотворения, особенно периода 1930—1937 гг.

Публикация и комментарий
Ю. ФРЕЙДИНА

Уважаемые товарищи!

Журнал «Юность» предполагает опубликовать в 1990 году:

Габриэль Гарсиа МАРКЕС. Новый роман.

Нина БЕРБЕРОВА. «Железная женщина».

Э. ЛИМОНОВ. Рассказы.

Лев ТРОЦКИЙ. Из книги «Портреты революционеров».

Марк АЛДАНОВ. «Убийство Троцкого».

Рассказы Евгения ЗАМЯТИНА, Владимира НАБОКОВА, Михаила ОСОРГИНА.

Страницы произведений Павла ФЛОРЕНСКОГО, Василия РОЗАНОВА.

Лев ТИМОФЕЕВ. Моление о чаше.

Политический детектив Ле КАРРЕ. «Маленькая барабанщица».

Романы, повести, рассказы писателей «новой воли»: Петра КОЖЕВНИКОВА, Александра ЛАВРИНА, Валерии НАРБИКОВОЙ, Евгения ПОПОВА.

Документальное повествование Юрия ШЕРБАКА: «Голод на Украине в 30-е годы».

Публикации в «20-й комнате»: тревожные проблемы молодых с точки зрения молодежи.
Материалы нашей экологической экспедиции.

Стихи Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО, Ивана ЖДАНОВА, Наума КОРЖАВИНА, Булата ОКУДЖАВЫ, Владимира РЕЦЕПТЕРА, Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО, Владимира СОКОЛОВА, Олега ЧУХОНЦЕВА.

Под рубрикой «Испытательный стенд» — экспериментальные публикации прозы и поэзии молодых.

Нам обещали свои новые произведения Анатолий АЛЕКСИН,
Владимир АМЛИНСКИЙ, Борис ВАСИЛЬЕВ.



**Инна
ГОФФ**

Более тридцати лет Инна Гофф печатает в журнале «Юность» свою прозу. И, возможно, не все знают, что начинала она со стихов. Ее первым учителем в Литературном институте был Михаил Светлов. В поэты прочили ее Ярослав Смеляков, Павел Шубин.

Начало было успешным, однако ее увлекла проза. Инна Гофф ушла в семинар К. Г. Паустовского. Занималась и в семинаре В. П. Катаева. Стихи продолжала писать для себя. Многие из них стали потом широко известными песнями: «Русское поле», «Август», «Я улыбаюсь тебе», «Когда разлюбишь ты» и другие. Это стихи, положенные на музыку. Других Инна Гофф до сих пор не публиковала. Таким образом, стихи разных лет, предлагаемые сейчас читателю, являются для нее как бы своеобразной премьерой.

☆☆☆

Бесплатные иатурищцы-деревья,
Те, что стояли около пруда,
Исполнены спокойного доверья,
Все ждали, когда он придет сюда.

Они листвою негромко шелестели,
Свой лик меняли десять раз на дню,
Ну, а потом все разом облетели...
И вот тогда он написал их юю.

Быль

Толстой писал в казацком курене.
Быть может, затевались им «Казак».
Писал он при свечах и при луне,
Мысль обращая в буквенные знаки.

И, свесившись с печи, смотрел казак
На бег пера, на лист, лежавший косо.
— А ты прости его, — он вдруг сказал.
Он илагал, что иишут лишь доносы.

☆☆☆

Какие мы гусары?
Иная нынче рать.
В прапрадедовы сабли
Негоже нам играть.

Живем в крутое время
Не лучшей из эпох.
В прапрадедово стремя
Не лезет наш сапог.

☆☆☆

То не дождь, а чьи-то слезы
Льются с неба на березы,
Омывают каждый лист.
Вечер холоден и мглист.

Оттого он так тревожит,
Этих слез неясный шум,
Что причин понять не может
Человека бедный ум.

☆☆☆

Так повелось, что гибнет первый,
Чтобы к победе шел второй.
Страдали Бруно и Коперник
Далекой, давящей порой.

Разбился первый авиатор,
И мореход пошел ко дну.
Погибли первые солдаты,
Уехавшие на войну.

О них не плачут. Это почесть.
Ей позавидует любой. —
Шагнуть вперед навстречу ночи,
Дорогу проложить собой.

Так повелось, что первый гибнет,
Но первый сыщется всегда,
И в честь него слагают гимны
И воздвигают города.

И это лучшее из качеств
Потомкам входит в плоть и кровь.
Так повелось. О них не плачут.
Им только память и любовь.

1946

Песня¹

Пока ты рос, носил матроску
И тягот жизненных не знал,
От Повенца до Беломорска
Мы провели тебе канал.

Теперь ты ходишь капитаном,
Теперь ты водишь здесь суда.
Но не сказал ты уркаганам
За то спасибо иикогда.

Когда ты видишь здесь березки,
А рядом камни-валуны,
Знай, здесь пролились наши слезки,
Здесь кореша погребены.

Так пусть им будет спать не жестко
В земле, холодной, словно лед...
От Повенца до Беломорска
Проходит белый пароход.

1959

☆☆☆

Вставала алая заря
И обещала день хороший...
Не жаль мне батюшку-царя,
Но жаль мне мальчика Алешу.

Пролив так много крови зря,
Ну как же тут не обессилеть?
Не жаль мне батюшку-царя,
Но жаль мне матушку-Россию.

1973

☆☆☆

Его в толпе я встретила случайно.
Он мне сказал: — Ты та же, что была!..
Есть у любви оптический тайна,
Ее не опровергнут зеркала.

¹Написана в соавторстве с К. Ваншенкиным.

Александр
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

«ТЫ ОДИН МНЕ НАДЕЖДА И ОПОРА...»

Что противопоставить национализму? Вопрос, который несколько лет назад мог показаться забавой праздного ума, ныне обрел драматическую весомость. Потому что ответ, который проще всего предложить и который образуется методом механического подосоединения приставки «интер» при сохранении того же корня, благообразен ровно настолько, насколько может быть благообразным идеал Вавилонской башни. Да, именно этот библейский символ приходит на память — хотя он вроде бы противоположен образу мира, который рисовался мечтателям III Интернационала. Им-то казалось, что все языки, все национальные культуры должны слиться в общечеловеческий конгломерат после мировой революции. Вавилонские строители были едины до начала своей затеи, но в том-то и дело, что любое строительство общечеловеческого Вавилона, независимо от конечных целей, как раз и приводит к разделению языков, раздроблению единого человечества. Другое дело, что мало кто помнит об этом.

Но хотя бы ближнюю-то свою историю мы помнить должны! В рассказе Владимира Тендрякова «Охота» («Знамя», 1988, № 9), посвященном эпохе, о которой в последнее время почему-то приходится вспоминать все чаще — послевоенному ужасу шовинизма и антисемитизма 1948—1953 годов, — есть поразительная по точности деталь. Повествователь, студент Литинститута Тенков, пытается понять, что же происходит с Отечеством, и вспоминает: в детстве над его кроватью висел плакат: «три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо»: негр, китаец и европеец. «Любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели»...

То-то и оно, что противоположности сходятся. Черносотенный шовинизм конца «сороковых-роковых» лишь по видимости противостоит довоенному уничтожению всего национального; по сути же — место одной ненависти заняла другая, а от смены объектов ненависти не меняется. Нам, забывчивым, об этом напоминает не только тендряковский рассказ, но и целый ряд других публикаций самого последнего времени¹.

И тут необходимо обратить внимание на еще одно звено в роковой цепи причин и следствий: те же годы стали пиком борьбы с интеллигенцией, причем не только «иностранной». Кто же сейчас не знает, когда было принято постановление о «Ленинграде» и «Звезде», когда совершалось глумление

над русскими классиками Ахматовой и Зощенко, когда наносился удар по нашей музыкальной культуре, когда был разгромлен филфак Ленинградского университета, самый цвет отечественной гуманитарии, дорогие сердцу каждого филолога имена: фольклорист Марк Азадовский, литературоведы Григорий Гуковский и Борис Эйхенбаум... В 1948-м вышел в свет последний прижизненный сборник стихов Пастернака, и тогдашние советские газеты все еще хранят оскорбительные статьи по его адресу... Скорбный список можно продолжить.

Вот и задумаемся: почему именно в условиях, когда «все русское стало вдруг вызывать болезненную гордость, даже русская матерщина», когда, «разгромив «Унтер ден Линден», мы старательно упрятывали под липы центральную улицу своей столицы» (В. Тендряков), почему именно в этих условиях и неизбежен был удар по гуманитарному слою нации? То есть по тем, кто с юных лет рыцарски-преданно вслушивался в музыку русского слова, кто переживал историю отечественной культуры едва ли не острее, чем припечетии собственной судьбы, кто был действительной опорой национального самосознания?

В автобиографической повести Л. К. Чуковской¹ героиня, переводчица Нина Сергеевна, живущая в писательском санатории на переломе от зимы к весне 1949 года, постоянно наталкивается на непробиваемую стену бессмысленно-страшных слов. Слов, равномерно бьющих отовсюду: из радиопередач, из газет, из разговоров околелитературных собеседников. «Буквы складываются в слова, слова в строки, ...абзацы в статьи, но ничто — в мысли, чувства и образы». Нина Сергеевна, работавшая некогда стенографисткой, ловит себя на том, что рука ее готова самопроизвольно стенографировать эти идеологические заклинания, причем одним стенографическим значком можно заменить не только «ходовые» слова, но и целые выражения, переходящие из речи в речь, из статьи в статью: «Слова статей кололи мозг, как давно застрявшие там занозы, впивавшиеся теперь глубже и глубже... слитные формы: «Выше знамя большевистской бдительности» и «матерый двурушник»... слитные формы, кувыркающиеся в пустоте». И этот «планомерно распределяемый бред» оказывает свое катастрофическое воздействие: капля камень долбит. Столкнувшись в роще с Людмилой Павловой, директоршей санатория, Нина Сергеевна видит на ее лице, обычно самодовольном, сытом и глуповатом, след растерянности и горя. Вернувшись послышка, отправленная семье сестры: «адресат выбыл», — и это в дни, когда начали брать повторно всех, кто уже сидел, а муж сестры только-только вернулся. И вот что слышит она в ответ на утешения? «И все из-за них, евреев»; устраивают заговоры, у всех родственники за границей, а когда лес рубят — щепки летят...

Аналогичная ситуация и в рассказе Тендрякова. На одного из персонажей, не самого симпатичного, «безродного» писателя Юлия Марковича Искина, доносит дочь его домработницы Раиса. Вернувшись из парткома Союза писателей, он готовит Раисе обструкцию, предвкушает миг, когда возгласит «Вон из моего дома!», но воля его парализована бесхитростным ответом: «Разрослись по нашей земле цветик-василечки, колосу места нет». И ладно Раиса с ее хваткой, жеманной жестокостью; но даже лицо добрейшей домработницы, живущей в семье Искиных несколько лет и без памяти любящей их маленькую Дашеньку, выражает недоумение: «Чего ж тут не понять? Все говорят об этом». Да и сам рассказчик, Тенков, пытается убедить себя в том, что дыму без огня не бывает...

Но вот вопрос: ощутили ли себя эта самая Людмила Павлова или Раиса более русскими, чем прежде, когда они и не подозревали, от кого все беды на свете? Конечно же, нет. Они лишь ощутили себя сразу и более беззащитными — от инородцев, и более защищенными — карающей Советской властью, они почувствовали необходимость еще большей сплоченности. Но отнюдь не с Россией, а с Государством и Обществом. И в этом-то все дело. Шовинизму не нужна национальность, ему нужны державность, безропотное единство, скрепленное ненавистью к чужой крови. Интернацио-

¹ Речь ниже пойдет также о повести «Спуск под воду» Л. К. Чуковской («Повести» — М.; Московский рабочий, 1988), записках покойной дочери Г. А. Гуковского — замечательного педагога Н. Г. Долиной («Нева», 1988, № 1), письмах Н. А. Заболоцкого («Знамя», 1989, № 1).

¹ Обратим внимание: работа над повестью начата вскоре после антиахматовской кампании, в 1949 г., а закончена в год передачи рукописи «Доктора Живаго» за рубеж (1957). Два акта трагедии уничтожения свободного русского слова. Для Л. Чуковской, автора классических записок об А. А. Ахматовой (Ymca-Press. Paris) и близкого друга семьи Пастернаков, название «Спуск под воду» имеет, видимо, личный подтекст.

налисты Сталин, Каганович и Молотов знали, что делали.

Потому-то так не по-русски составлены были словесные блоки речей, призванных пробудить имению великодержавную гордость своей русскостью! Не просто не по-русски — антирусски, словно дикторы, газетчики, политики изъяснялись на мертворожденном языке, новом советском эсперанто — иначе и быть не могло. Новой идеологии противостояла самая логика традиционного русского языкового мышления с его установкой на плавность, напевность, мягкость, красочность, с его стремлением открыть доступ в свои пределы иноязычным понятиям, не ассимилируя их полностью. Так что для развешивания массовой великорусской истерии постановщикам этого спектакля прежде всего нужно было заблокировать все действительно русское, и в первую очередь — русское Слово. Подобно тому, как, прежде чем натравить великий народ на малые народы, нужно сначала запалить на ночных площадях костры из книг.

Это мыслимо лишь в определенных условиях, а именно — когда от народа морально изолированы те, кто со Словом связывали духовными узами, кто без труда может отделить словесные зерна от словесных плевел: гуманитарины. Вспомним, как трагически переживает молодая учительница Долинина то, что человек с языковым чутьем пропустил бы мимо ушей, — Сталин после победной речи начал словом «соотечественники», тогда как знаменитое обращение к народу четыре года назад начал как проповедь: «Братья и сестры!» Слово не воробей; Долинина сразу понимает, что братства больше не будет, будет — государственность. В процессе языковой селекции всех, имеющих уши, чтобы слышать, надлежало или физически изъять из общественной жизни, или морально. Обе возможности были использованы с истощающей полнотой.

Только в 1946 году вернулся из заключения и ссылки Николай Заболоцкий. Его письма к семье, часть из которых обнаруживало «Знамя», позволяли судить о том, как трагически переживал человек, живший Словом, дышавший им, — и свой отрыв от словесности, и бессилие Слова, и силу бессловесной жестокости. Когда случайно в заключении он услышал, как по радио читают его перевод Руставели, «голос московского чтеца прозвучал как голос с того света». Все это входило в замысел вершителей человеческих судеб: чтобы интеллигент уровня Заболоцкого духовно угас, чтобы он — впервые после уржумского детства — так остро почувствовал полную отомкнутость абсолютного большинства людей от сферы поэзии, от власти культуры и вновь ощутил себя не петербургским интеллигентом, хотя бы и новой формации, а уржумским мещанином.

В статье Н. Велиховой «Угрошение языка» («Советская культура» от 14 января 1989 г.) в качестве иллюстрации приводится рассказ Варлама Шаламова «Сентенция»: «Его герой видит, что он забыл все слова, что он давно впал в жизнь полусознания, и его язык «стал беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей»... И вдруг, к его полному внутреннему потрясению, он почувствовал, «что вот тут — я это ясно помню — под темной костью родилось слово, вовсе не пригодное для тайги... Сентенция! Сентенция! — бросал я прямо в северное небо, в двойную зарю, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова»... жизнь стала возвращаться к нему через восстановление слов человеческой речи...»

Не потому ли, вернувшись из ссылки, Заболоцкий восславил именно животворящую, святую материю русского языка — «полюго разума»?

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, ночью не похожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг...

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?..

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Очень легко обвинить эти стихи во всех смертных грехах, «наложив» их на конкретную политическую ситуацию 1948 года и предположив в строке «щебетанье щегла» намек на

Мандельштама. Труднее понять, что Заболоцкий мучительно и обреченно пытался внести смысл в «бессмыслицу скомканной речи» командующих наступлением по «национальному фронту». Что он пробовал перевести на язык культуры то, что безязыко вешалось газетами и радио. Перевести, как переводят рельсы, желая изменить направление пути. Что Заболоцкий сознательно смещал тему национального величия с ненависти к чужому на любовь к своему. И прежде всего к тому, с чего начинается, в чем воплощается и чем завершается любая национальная культура, — к родному языку.

Тот, кто действительно «верует в животворящий, полный разума русский язык», не сможет втиснуть себя в прокрустово ложе очередных лозунгов. Нина Сергеевна, героиня Чуковской, духовно противостоящая разгулу антисемитизма, — самая русская из всех персонажей повести «Спуск под воду». Именно потому, что она дышит воздухом чистого русского слова, постоянно размышляет о нем и понимает, что среди творимого шашаба задуматься над смыслом двойного созвучия «ск» — «сн» в пушкинском стихе «Скользя по утреннему снегу» — не менее нравственно, чем открыто вступить за поэзию хулимого Пастернака (это, кстати, она тоже делает). И, напротив, выговорить как нечто само собой разумеющееся «борщ характеризуется свеклой» (как ее жутковатая ленинградская соседка) — значит уже наполовину подготовить себя к предательству...

От людей, подобных Нине Сергеевне, чистота словесного строя, в те годы особенно неотделимая от чистоты строя душевного, не может не расходиться кругами. Один из самых пронзительных эпизодов повести — посещение маленькой Лельки. Нина Сергеевна, узнав, что деревенским детям книжек из писательской библиотеки не дают (тоже, по-своему, изоляция), в кино не пускают («грязи нанесете»), сама берет книжку с русскими сказками и отправляется в гости — Лельке едва ли не впервые в жизни читают вслух; после чтения она пытается словесно оформить охватившее ее незнакомое чувство — а как меняется самый облик, ритм ее речи; он подчиняется пластике и душевной гармонии сказа, не превращаясь в стилизацию: «Была бы у меня эта книжечка... я бы спать не ложилась — ее читала! День и ночь бы читала, глаз бы не перевела». Ее речь звучала в лад со сказкой — это наново поразило меня».

Либо лад, либо разлад, либо мы русские, либо «русовики» (это жутковатое слово, напоминающее «штурмовики», проносится во вставной новелле жеициина-финка, стоящая в околотоременной очереди вместе с Ниной Сергеевной: «Рискали ночью наша деревня русовики и сех мужчин увез»).

В автобиографическом рассказе Тендрякова к студентам Литературного института, жителям «литературной слободы», то и дело подходит старик интеллигент и ведет с ними странные диалоги. Он до конца не договаривает, туманно намекает на что-то, пока однажды не заводит с Тенковым речь напрямую, в лоб. О том, что немцы в сходных условиях вели себя подобным образом; о том, что — воспользуясь собственным тендряковским выражением — «давно замечено — победители подражают побежденному врагу»; о том, что он боится, «как бы не пришлось стыдиться того, что он — русский»... Этот загадочный герой, которому начинающий писатель Тенков не отвечает, даже гонит его прочь (гонит, но задумывается...), — в рассказе обрисован лишь пунктирно, однако и без особых деталей домосливается его биография. Он явно взрос на твердой, давней культурной почве, он носитель тщательно разрушенных нравственных убеждений старой русской интеллигенции. Он действительно социально опасен, ибо его не обманешь и не запутаешь — он слишком хорошо видит, что власти предрекающие отлично выучили урок побежденного врага, осознали силу подконтрольной национальной стихии, ослепляющей тех, кто поплыл по ее течению, и сметающей тех, кто решается встать на ее пути.

Что произошло с этим таинственным героем, мы не знаем; но врагом в тех условиях мог и должен был стать не только человек, уже осознавший происходящее, но даже и тот, кто способен был мыслить не идеологическими и языковыми клише. Недаром развязкой «литинститутской» линии сюжета становится в «Охоте» арест Эмики Манделя, поэта (ныне известного под псевдонимом Н. Коржавин). Мандель у Тендрякова — человек не от мира сего; раз в году отвозящий стирать белье к маме в Киев, растерянно бормочущий в миг ареста о том, что он только начал понимать Маркса, — Эмика целиком погружен в словесную стихию, он и думает-то стихами. И это внутренне обрекает его, он

подчинил себя ясной логике русского слова, а не навязываемым извне схемам.

Такие люди опасны уже тем, что у них есть в запасе духовная глубина, в которую они могут спуститься, как под воду, и в этом «подводном» царстве освободиться от вездесущей тираннии. Ненадежно, но — освободиться. Эта глубина сверхсознания внесловесна, тут властвует говорящее безмолвие, однако путь в него открывает именно Слово, попасть туда можно лишь через погружение в стихию слова. «Зачем же я совершаю свой спуск? Я хочу найти братьев — не теперь, так в будущем. Все живое ищет братства, и я ищу его. Пишу книгу, чтобы найти братьев — хотя бы там, в неизвестной дали» (Л. Чуковская). Тот же, кому спасительная глубина отверста постоянно, становится большим писателем (недаром в повести Чуковской так много реминисценций из поэзии Анны Ахматовой, особенно в описании «спусков под воду»). А как же те, кто не мог не чувствовать, не осознавать смысла и цели происходящего, но не имел опоры в традиционных устоях русской интеллигенции? Кто, подобно Александру Фадееву, не утратил совестливость и любовь к слову, но не обрел жертвенной неспоклонности? Тем приходилось худо; гораздо хуже, чем тем, кто совестливости и любви к слову не имел никогда или дал им полную отставку за ненадобностью. В тендряковской «Охоте» образ Фадеева — едва ли не самый пронзительный и психологически достоверный. Фадеев, который мертвенно восседает на проработанных собраниях и возглашает «позор» дрожащим от страха «космополитам». И Фадеев — искренне предлагающий жертве очередного собрания деньги и приносящий извинения. И Фадеев, который вдруг сходит с «круга», отбрасывает все начальственные обязательства и вместо встречи с зарубежной делегацией направляется в пивнушку, где по горькой российской привычке пьет с мужиками, которых не знают, кто он и что он, и которые уважают его не за рсгалии, а просто так. Это пьяное уважение Фадееву нужнее и важнее всех постов. Нужнее, хотя и оно — самообман; можно прятаться так неделю, месяц, а потом все равно придется идти на очередной словесный погром и восседать в президиуме.

Не выдерживает испытания Словом и герой Л. К. Чуковской, прозаик Билибин. Барственная осанка, бархатные интонации, галантность — все это маска, за которой скрыта боль человека, пережившего кошмар лагерей. Свою маску он предпочитает на людях не снимать и лишь наедине с Ниной Сергеевной — и то не всегда — приоткрывается. В такие минуты он перестает быть литератором; его рана кровоточит. Те образы, которые он подальше (по глубже) загнал в сознание (рудник, сокамерники, дети, не умеющие ходить в четыре года, а до пяти — говорить), встают перед ним. Эти воспоминания и есть настоящий Билибин. Но вот он принисит прочесть ей только что доработанную для «Знамени» повесть, и героиня Чуковской в ужасе узнает их — в переплавленном, «правильно» обработанном виде. Быт шахтеров, борьба за план, семейные неурядицы — во все это умело вмонтированы эпизоды той жизни.

«До сих пор мне случалось испытывать в жизни горе. Но стыд я испытала впервые.

Чувство стыда было такое сильное, что время остановилось. Как от счастья».

Однако вершить над Билибиным окончательный суд Нина Сергеевна в конце концов отказывается. Он гораздо лучше ее понял (ему это дали понять), что Слово столь же бессильно, сколь и абсолютно бессильно¹. Сам он — и это подчеркнуто в повести — пошел в лагерь за неосторожное слово. И подспудно, подсознательно пытается совершить несправедную мсну: бессильное спасти Слово — на никем не гарантированное Спасение. И сам не замечает, как вместе со Словом духовно продаст тех, о ком оно произнесено.

Но тот, кто не предал, кто не отслоил любви к слову от главного — любви к человеку, кто умножил их друг на друга и принес тем самым сторичный плод, тот, подобно Наталье Долининой, становится свободным. Ее записки построены так, что тема трагическая — в личном и общественном преломлении — дана как бы фоном; имя отца, Григория Гукковского, даже ни разу не названо; о постоянных вызовах в МГБ говорится мимоходом. Установка Долининой на быт (подрастают у юной учительницы русского и литературы дети-близняшки), на профессию (она работает в школе ве-

черий молодежи). Но за мозаичными подробностями послевоенной ленинградской жизни, за неприязательным рассказом о старых учителях и взрослых учениках вдруг начинает прорисовываться вторая, потаенный сюжет. Сюжет раскрытия личности, сюжет раскрытия ее и — как следствие — освобождения.

Когда перелистываешь эти записки, или повесть Чуковской, или письма Заболоцкого, на память сам собой приходит финал антиутопии Брэдбери: в стране, где поставлено под контроль государства не только «внешнее», но и «внутреннее» бытие, языковое сознание, — люди в поисках спасения начинают собираться на острове и читают наизусть книги. Жизнь возвращается к ним, как в рассказе Шаламова, через Слово.

Мы, слава богу, еще не дожили до такой необходимости. Но слово наше уже больно — и трагически показательно стиливая, писательская деградация тех, кто, уподобляясь участникам давних собраний, вновь возглашает «позор» безродным космополитам.

Никто, ни один человек, будь он дважды руководитель республиканской писательской организации и четырежды сотрудник Института мировой литературы, не может претендовать на действительную связь с русской словесностью, русской культурой, если он не спешит стать на защиту гонимого, если не чтит чужое национальное достоинство и не возлюбил его так же, как свое достояние. Так вот: и Тендряков, и Чуковская, и Заболоцкий, и Долинина не просто связаны с нею, но внутренне принадлежат ей. Этим все сказано. Но — и это важно подчеркнуть — посвящены их вещи отнюдь не «еврейскому вопросу». Совсем нет; они написаны «коренным», беспримесным, не засоренным кондовостью или технократизмом ясным русским языком классической литературы и посвящены вопросу русскому. Они не о евреях, ни о России, ее драме, ее всеотзывчивости, ее тайне, ее судьбе, ее Слове. Иначе и быть не могло: единственное, что мыслимо противопоставить национализму, — это чистая любовь к Отечеству, открытая для мира. Эпиграфом ко всем названным вещам звучат спокойно-величественные строки Анны Ахматовой 1941 года, которые недаром все чаще цитируют:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,—
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Мы помним, когда созданы эти стихи, и тем они актуальнее.

¹ Да она и сама во вставной новелле о тюремных очередях обронила: есть минуты, когда захватывает «чувство тщетности всякого слова».

Рой
МЕДВЕДЕВ

ОНИ ОКРУЖАЛИ СТАЛИНА

КРАСНЫЙ
МАРШАЛ
ВОРОШИЛОВ

Л. Каганович, В. Молотов, А. Микоян,
Н. Ежов и К. Ворошилов на 1 сессии
Верховного Совета СССР.
Январь, 1938 года
Фото Павла Трошкина
(из архива Карины Трошкиной-Савельевой)



Человек и легенда

Как политическая личность Климент Ефремович Ворошилов значительно уступал многим деятелям из окружения Сталина по своему влиянию, но столь же заметно превосходил их по своей легсиде. Ворошилов не обладал умом, хитростью и деловыми качествами Микояна, у него не было организаторских способностей, активности и жестокости Кагановича, а также канцелярской работоспособности и «каменной задницы» Молотова. Ворошилов не умел ориентироваться, подобно Маленкову, в хитросплетениях аппаратных интриг, ему не доставало огромной энергии Хрущева, он не обладал теоретическими знаниями и претензиями Жданова или Вознесенского, и даже как полководец Ворошилов больше понес поражений, чем одержал побед. Но, может быть, именно из-за отсутствия каких-либо выдающихся способностей Ворошилов дольше других сохранил свое место в верхах партии и государства. И чем меньшими были реальные достижения Ворошилова как руководителя, тем больше различных легенд возникало вокруг его имени.

Ведь с нами Ворошилов,
Первый красный офицер,
Сумеем кровь пролить
За СССР,

— пели пионеры еще в 1926 году.

«Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет...», «Красный маршал Ворошилов, погляди на казаки богатырские полки...» — это слова из предвоенных красноармейских песен.

Многочисленные биографии Ворошилова стали появляться еще в те годы, когда Сталин с показной скромностью говорил: «Не пришло еще время писать биографию Сталина».

Ворошилов обладал незаурядной личной храбростью, и как военному ему приходилось нередко оказываться в сложных переделках. Но он отдавал себе отчет в скромности своих умственных способностей и сам искал политического покровителя и руководителя. Именно такой человек был очень нужен Сталину во главе военного ведомства. Но такому человеку было легче сохранить свое место и при всех его пресмниках.

Трудное детство

К. Е. Ворошилов родился 23 января (4 февраля) 1881 года в семье отставного солдата, путевого обходчика Ефрема Ворошилова. Мать Клина — Мария Васильевна — работала кухаркой и прачкой. Это была бедная семья, где были все неграмотны, в том числе и маленький Клим, которому уже в восемь лет пришлось работать подпаском, а в десять лет подсобным рабочим на Голубовском руднике недалеко от Луганска, одного из промышленных центров Донецкого бассейна. Вскоре мать забрала его с тяжелой работы на руднике, и он смог в течение двух сезонов посещать земскую начальную школу. С пятнадцати лет Ворошилов начал работать на металлургическом заводе в городе Алчевске, сначала курьером, потом помощником машиниста на водокачке, слесарем в электротехническом цехе, машинистом крана в чугунолитейном цехе. Здесь, в Алчевске, семнадцатилетний Клим Ворошилов вступил в социал-демократический кружок и прочел «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Он участвовал в первой забастовке, был арестован, уволен с работы и затем в тече-



Продолжение. Начало см. в №№ 3, 5 и 6 за 1989 год.

ние трех лет скитался по южным губерниям России, перебиваясь случайными заработками.

В 1903 году Ворошилов возвращается в Донбасс и устраивается на работу в Луганске на паровозостроительный завод Гартмана. В Луганске в этом же году была создана городская социал-демократическая организация, в которую вступил и Ворошилов. Он примкнул к большевистской фракции и вскоре стал членом ее городского комитета.

Профессиональный революционер

Революционные события 1905 года всколыхнули рабочий Донбасс. В Луганске Ворошилов возглавил не только городской большевистский комитет, но и Совет рабочих депутатов. Под его руководством проходили забастовки и манифестации луганских рабочих. Летом 1905 года Ворошилова арестовали, но вскоре он был освобожден под залог по требованию многотысячной демонстрации.

В начале 1906 года Ворошилова избрали от луганских социал-демократов делегатом на IV съезд РСДРП. По дороге в Стокгольм Ворошилов провел несколько недель в Петербурге. Здесь он впервые встретился с Лениным. Он также познакомился и подружился со Сталиным, которого знали в партийных кругах еще под именем Коба, а также под партийной кличкой Иванович. У Ворошилова была партийная кличка Володя или Володин. Участие в работе Стокгольмского съезда Ворошилов сочетал с закупкой оружия для боевых групп луганских рабочих. Он организовал несколько транспортов с оружием из Финляндии. С помощью Ворошилова в Луганске была организована подпольная типография, и под его редакцией стала выходить местная большевистская газета «Донецкий колокол».

В 1907 году Ворошилов приехал в Лондон для участия в V съезде РСДРП. На съездах партии он познакомился со многими известными большевиками той эпохи, но особенно близко сошелся с М. В. Фрунзе и М. И. Калининым.

В 1907 году Ворошилов встретился с Екатериной Давыдовой Горбань, которая стала вскоре его женой.

Революция 1905—1907 годов закончилась поражением. Была разгромлена и луганская организация большевиков. Ворошилова вновь арестовали и сослали в Архангельскую губернию. Он бежит из ссылки на юг, в Баку, где в 1908 году работает вместе со Сталиным в составе Бакинского комитета большевиков. И снова арест. До 1912 года Ворошилов побывал во многих тюрьмах и дальних поселениях архангельской ссылки. Освободившись, он вернулся в Донбасс, где возобновил свою деятельность среди рабочих. Но его опять схватили и отправили в пермскую ссылку, из которой он освободился через год по амнистии — по случаю 300-летия царского дома Романовых.

Работать в Донбассе для Ворошилова было опасно, и он устроился рабочим на оружейный завод в Царицыне.

Началась мировая война.

Многие большевики не уклонялись от призыва в армию, они шли на фронт, чтобы вести там большевистскую агитацию и готовить армию к участию в революции. Но Ворошилов решил избежать мобилизации. Поэтому он уехал с семьей из Царицына и через некоторое время обосновался в Петрограде, где стал работать на небольшом котельном заводе и установил связь с нелегальным городским комитетом большевиков. Здесь, в Петрограде, Ворошилова и застала Февральская революция.

Год новых революций

В решающие дни февраля мы видим Ворошилова в гуще рабочих демонстраций. Еще в начале 1917 года он установил связь с некоторыми солдатами Измайловского полка. Теперь он приобрел влияние в гарнизоне. От солдат Измайловского полка Ворошилов был избран в первый же состав Петроградского Совета. Однако Ворошилова зовут в Луганск, и он с согласия руководства партии едет снова в Донбасс, где его избрали председателем городского комитета партии.

Февральская революция дала свободу всем политическим партиям и группам России. Вместе с различными националистическими организациями в одном лишь Луганске действовало 15 различных партий. Однако партия большевиков стала здесь наиболее сильной революционной организацией. К концу июля в луганскую организацию большевиков входило уже больше 2500 человек. От Луганска Ворошилов участвовал также в VI съезде партии, взявшем курс на вооруженное восстание. Но в Луганске дело обошлось без восста-

ния. Уже в августе большевики победили здесь на выборах в городскую думу, председателем которой был избран Ворошилов. В дни корниловского мятежа в Луганске было создано несколько отрядов Красной гвардии. А в сентябре на перевыборах Советов большевики получили две трети всех мандатов. К своей должности городского головы Ворошилов прибавил и пост председателя Совета. Не только фактически, но и формально большевистская организация Луганска взяла власть в городе в свои руки. Ворошилов не поехал на 2-й Всероссийский съезд Советов, у него было слишком много дел в городе. От Луганска на съезде присутствовали двое большевиков. Однако именно Ворошилов был избран заочно на этом съезде Советов членом ВЦИК.

Только в декабре 1917 года Ворошилов, делегат Учредительного собрания, выехал в Петроград. Он принял участие в работе 3-го съезда Советов и был снова избран во ВЦИК. По просьбе Дзержинского Ворошилов вошел в первый состав ВЧК. Его пребывание в столице затягивалось из-за необходимости выполнить многие поручения ЦК, а также СНК РСФСР. В одном из постановлений СНК было, например, записано: «Поручить тов. Ворошилову ликвидацию бывшего Петроградского Градоначальства согласно плану тов. Дзержинского и организацию специального органа для поддержания спокойствия и порядка в Петрограде. Для помощи ему в этом деле организовать комиссию из трех лиц... Поручить организацию этой комиссии тов. Ворошилову».

Во главе 5-й Украинской армии

В феврале 1918 года после срыва переговоров и окончания перемирия немецкие войска начали наступление на восток. Оно было приостановлено после подписания Брест-Литовского мирного договора между РСФСР и Германией. Однако на Украине немецкие войска по соглашению с так называемой Центральной Радой продолжали продвигаться и уже 1 марта заняли Киев. Советские отряды с боями отходили под давлением немецких дивизий. В городах Донбасса создавались рабочие отряды, оборудовались бронепоезда. В Луганске под руководством Ворошилова был сформирован Луганский социалистический партизанский отряд, который принял участие в боях под Харьковом. В промышленных районах Украины была образована Донецко-Криворожская республика. В ходе боев отдельные отряды объединялись в насупь сколоченные армии. Одной из наиболее крупных стала 5-я Украинская армия, командование которой было поручено Ворошилову.

Немецкое командование не признало Донецкой республики. Плохо вооруженные войска терпели поражения и отступали. Ворошилов приказал своей армии оставить Луганск и отходить в пределы РСФСР. Однако в Донецкой области, через которую должна была пройти армия Ворошилова, Советская власть была свергнута. Казачье правительство генерала Краснова вступило вговор с германским командованием. Это ставило бойцов Красной Армии в очень трудное положение. Уже в первом бою у станции Лихая они потерпели поражение и отступили к Белой Калитве. Было решено, однако, не бросать эшелонов, не оставлять беженцев, а продолжать движение вдоль линии железной дороги на Царицын. Позднее Ворошилов вспоминал:

«Десятки тысяч деморализованных, измученных, оборванных людей и тысячи вагонов со скарбом рабочих и их семьями нужно было провести через бушевавший казачий Дон. Целых три месяца, окруженные со всех сторон генералами Мамонтовым, Фицканоуровым, Денисовым и др., пробивались мои отряды, восстанавливая ж.-д. полотно, на десятки верст снесенное и сожженное, строя заново мосты и возводя насыпи и плотины. Через три месяца «группа войск Ворошилова» пробилась к Царицыну...»

В боях под городом Царицыном

Участие в обороне Царицына составляет, несомненно, основной эпизод в восинной биографии Ворошилова. Он привел в Царицын 15 тысяч бойцов, из которых сформировали одну из дивизий фронта. Кроме того, было образовано еще несколько дивизий и отдельных бригад. Все они были объединены приказом РВС в 10-ю армию, во главе которой был поставлен К. Е. Ворошилов. Политкомиссаром армии стал Е. А. Щаденко. В состав армии вошла и кавалерийская дивизия Б. М. Думенко, одной из бригад этой дивизии командовал С. М. Буденный. Общее руководство обороной Царицы-

на взял на себя Сталин, который находился в Царицыне еще с начала июня 1918 года в качестве руководителя продовольственного дела на юге России, облеченного чрезвычайными правами. В течение многих месяцев под Царицыном шли с переменным успехом тяжелые бои главным образом с казачьими полками генерала Краснова. Ворошилов показал себя храбрым командиром. Казачий журнал «Донская волна» в феврале 1919 года писал: «Нужно отдать справедливость Ворошилову, что если он не стратег в общепринятом смысле этого слова, то во всяком случае ему нельзя отказать в способности к упорному сопротивлению».

Белым дивизиям не удалось в 1918 году захватить Царицын, и это значительно облегчило общее военное положение Советской республики. Красная Армия еще только создавалась, и у Ворошилова нередко возникали острые конфликты с Председателем РВС Республики Л. Д. Троцким. Действия 10-й армии несли на себе еще сильный отпечаток партизанщины. К тому же Ворошилов долгое время отказывался использовать военных специалистов из числа офицеров старой армии. Конечно, за спиной Ворошилова стоял в данном случае Сталин, которому он уже тогда подчинялся почти беспрекословно. Когда Сталин покинул Царицын, Ворошилов был отстранен Троцким от командования 10-й армией. Украина в это время уже освобождалась от немецкой оккупации, и Ворошилова назначили наркомом внутренних дел Украинской советской республики. На VIII съезде РКП(б) Ворошилов был одним из лидеров так называемой «военной оппозиции», осужденной большинством съезда. Выступая на съезде, Ленин говорил:

«...Старая партизанщина живет в вас, и это звучит во всех речах Ворошилова и Голощекина. Когда Ворошилов говорил о громадных заслугах царицынской армии при обороне Царицына, конечно, тов. Ворошилов абсолютно прав, такой героизм трудно найти в истории... Но сам же сейчас рассказывая, Ворошилов приводил такие факты, которые указывают, что были страшные следы партизанщины. Это бесспорный факт. Тов. Ворошилов говорит: — у нас не было никаких военных специалистов и у нас 60 000 потерь. Это ужасно... Героизм царицынской армии воидет в массы, но говорить, мы обходились без военных специалистов, разве это есть защита партийной линии... Вина тов. Ворошилов в том, что он эту старую партизанщину не хочет бросать... может быть, нам не пришлось бы отдавать эти 60 000, если бы там были специалисты, если бы была регулярная армия...»

К сожалению, уже в годы гражданской войны и как военачальник, и как политработник Ворошилов отличился не только на полях сражений. Ворошилов, Щаденко и Буденный были причастны к аресту, суду и расстрелу знаменитого в то время героя гражданской войны, организатора первых конных частей Красной Армии, «первой шашки Республики» Б. М. Думенко. Сохранившиеся в деле Думенко ложные и даже нелепые показания Ворошилова, Щаденко, Буденного дали основание вынести поспешный и несправедливый приговор. На письменных показаниях Буденного о том, что «со стороны Думенко наблюдались некоторые недовольства к политработникам... Приказы исполнялись Думенко не всегда аккуратно...», Ворошилов поставил «резюлюцию»: «Сам он (Думенко.— Р. М.) ничтожество». Не только Орджоникидзе и Тухачевский, но даже Сталин просили поспешно созванный Ревтрибунал воздержаться от ареста или от сурового приговора. Однако организаторы фальсифицированного «дела Думенко» торопились, и сразу же после вынесения приговора он был расстрелян.

Во главе Первой Конной армии

Гражданская война на Украине отличалась особой ожесточенностью и сложностью, и Ворошилову не довелось спокойно работать в советском правительстве Украины. Он участвовал в боях с отрядами мятежного атамана Григорьева, Махно, затем во главе 14-й армии оборонял Екатеринослав, в составе РВС 12-й армии — Киев. Под напором войск генерала Деникина Красной Армии пришлось оставить большую часть Украины. Ворошилов некоторое время командует 61-й стрелковой и 11-й кавалерийской дивизиями, но после образования Первой Конной он был назначен членом РВС этой армии. Буденный, Ворошилов и Щаденко стояли во главе Первой Конной осенью 1919 года, когда она вела ожесточенные бои с кавалерийскими дивизиями белых в центральной России, а затем преследовала отступающего

Деникина. Большую роль сыграла Первая Конная в боях на Северном Кавказе, а затем и на польском фронте во второй половине 1920 года. Бои в Таврии и в Крыму против войск генерала Врангеля, а затем против отрядов Махно и Петлюры завершили боевой путь Первой Конной. От партийной организации этой армии Ворошилова направили на X съезд партии. Ворошилов был избран в Президиум съезда и председательствовал на некоторых его заседаниях. Вместе с группой делегатов съезда он участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа, командуя Южной группой войск. За участие в этой военной операции Ворошилов был награжден вторым орденом Красного Знамени. С двумя орденами на груди он появился на очередном заседании съезда партии, за что и удостоился саркастического замечания Ленина. Для членов партии считалось тогда дурным тоном демонстрировать на деловых собраниях или даже на съездах свои награды. На следующее заседание съезда Ворошилов пришел уже в вышитой украинской рубашке и без орденов. На X съезде партии Ворошилов был избран членом ЦК РКП(б). В состав ЦК в 1921 году входило всего 25 членов и 15 кандидатов.

Во главе военных округов

Хотя Ворошилов не был профессиональным военным, его оставили после окончания гражданской войны на военной работе. В 1921—1924 годах он командует крупным Северо-Кавказским военным округом. Партийным руководителем Северо-Кавказского края был в эти годы Микоян, с которым у Ворошилова установились дружеские отношения. Вместе с Орджоникидзе и Сталиным Ворошилов был введен в 1923 году в РВС республики. Вскоре он стал членом Президиума РВС. Эти назначения явно преследовали цель ограничить влияние в РВС Троцкого и его ближайших сторонников. В мае 1924 года Ворошилова назначили вместо Н. И. Муралова командующим Московским военным округом. Муралов был одним из героев гражданской войны. Он отличился на Восточном фронте в боях против Колчака. Но он был также политическим и личным другом Троцкого, и Сталин хотел удалить его из московского гарнизона. Поэтому Муралов сменил Ворошилова на посту командующего Северо-Кавказским военным округом. В январе 1925 года ЦК партии принял отставку Троцкого. На пост наркома по военным и морским делам и Председателя РВС СССР был назначен М. В. Фрунзе. Оставаясь командующим Московским военным округом, Ворошилов стал также заместителем Фрунзе.

Ворошилов — Народный комиссар обороны

Фрунзе возглавлял Красную Армию всего около года. Он умер в конце 1925 года во время несмелого и халатно проведенной медицинской операции. Советский Союз располагал тогда хорошими кадрами боевых командиров, комиссаров и военных специалистов. Многие из них командовали в годы гражданской войны не только отдельными армиями и дивизиями, но и фронтами, участвуя в планировании и проведении крупномасштабных военных операций. По своему военному опыту Ворошилов уступал многим. Он был далеко не первым среди равных. Однако некоторые из наиболее выдающихся полководцев гражданской войны, как, например, Тухачевский, были новичками в большевистской партии и не занимали видного места в партийной иерархии. Некоторые из старых большевиков, отличившихся в годы гражданской войны, как, например, М. М. Лашевич, хотя и были членами ЦК ВКП(б), но принимали участие в той или иной оппозиции. Поэтому кандидатура Ворошилова на пост наркома по военным и морским делам не вызвала возражений в Политбюро, хотя это назначение и комментировалось весьма критически в кругах левой оппозиции.

Я не собираюсь здесь рассказывать о длительной и многообразной деятельности Ворошилова в роли руководителя наркомата по военным и морским делам (позднее он был переименован в наркомат обороны). Строительству современной Красной Армии и Военно-Морского Флота в нашей стране в условиях капиталистического окружения придавалось не меньшее значение, чем созданию современной промышленности или развитию культуры. У Ворошилова как у наркома обороны было много дел и обязанностей. Однако он выполнял главным образом представительские функции и функции политического руководителя армии, мало занима-

ясь вопросами военной науки и изучением проблем военной стратегии. Этим он отличался от таких видных военных деятелей, как Б. М. Шапошников, который изучал проблемы деятельности армейских штабов (книга «Мозг Армии»), как М. Н. Тухачевский, который считался знатоком стратегии (книга «Вопросы современной стратегии»), как К. Б. Калининский, который изучал роль танковых соединений (книга «Танки»), и других. В сущности, Ворошилов так и не стал профессиональным военным, и ему не раз не хватало как общего, так и специального военного образования. Однако в целом кадры наркомата обороны в 1926—1936 годах отличались очень высоким профессиональным уровнем. Для своего времени, может быть, это были лучшие в мире кадры военных руководителей.

В 1926 году Ворошилов был избран в члены Политбюро. едва ли можно было сомневаться в том, что в борьбе с «левой» оппозицией, в которой принял участие очень много военных и военно-политических работников, Ворошилов неизменно находился на стороне Сталина и большинства ЦК.

Ворошилов отличился в годы гражданской войны. Но среди ее участников было немало людей, которые имели заслуги более весомые, чем Ворошилов. Среди военачальников гражданской войны некоторые пользовались большей популярностью и славой, чем Ворошилов. «Отставал» Ворошилов и по числу боевых наград. У В. К. Блюхера, которого первого в республике наградили орденом Красного Знамени, к концу гражданской войны было четыре ордена Красного Знамени, как и у Я. Ф. Фабрициуса и И. Ф. Федько. Я уже не говорю о тех, кто был награжден трижды. Ворошилов был тщеславен, и Сталин использовал этот недостаток. Стали создаваться легенды о Ворошилове, особый культ «рабоче-полководца». Уже через год после назначения Ворошилова наркомом по военным и морским делам начали появляться первые его биографии и рассказы о его подвигах. Поэт и писатель К. Алтайский написал не только сборник рассказов, но и поэму о Ворошилове, там есть такие строки:

... Поэт Владимир Маяковский
Зарисовал нам Ильича...
Поэт-партиец Безыменский
Дзержинского нарисовал...
Мы от эпохи неотстали,
Нас мелочи берут в плен.
Еще не зарисован Сталин,
Калинин песней обойден...
Большая тема нас пленила,
Звонка, как бой,
Остра, как штык.
Климент Ефремыч Ворошилов,
Боец, нарком и большевик.

Еще одну поэму о Ворошилове сочинил и 90-летний казахский акын Джамбул. «На тех, кто границы нарушить посмел, обрушишь войска ты, прекрасен и смел, батыр Ворошилов...»

Ворошилов не остался в долгу. В конце 1929 года в нашей печати была опубликована большая статья «Сталин и Красная Армия», которая положила начало легенде о Сталине как наиболее крупном полководце гражданской войны и организаторе главных побед Красной Армии. Ворошилов писал: «В период 1918—1920 гг. товарищ Сталин являлся, пожалуй, единственным человеком, которого Центральный Комитет бросал с одного боевого фронта на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее страшные для революции места. Там, где было относительно спокойно и благополучно, где мы имели успехи, — там не было видно Сталина. Но там где... трещали красные армии, где контрреволюционные силы... грозили самому существованию советской власти... — там появлялся товарищ Сталин».

Конечно, в 1929 году к историческим фальсификациям следовало подходить все же с некоторой осторожностью. В 1929 году Ворошилов вставляет в приведенный отрывок слово «появился». Он говорит о Сталине как об «одном из самых выдающихся организаторов побед гражданской войны».

Через 10 лет можно было отбросить эти оговорки. В 1939 году в статье «Сталин и строительство Красной Армии» Ворошилов пишет: «О Сталине, создателе Красной Армии, ее вдохновителе и организаторе побед, авторе законов стратегии и тактики пролетарской революции — будут написаны многие тома. Мы, его современники и соратники, можем

только дать кое-какие штрихи об его огромной и плодотворной военной работе».

В конце двадцатых годов Ворошилов еще сохранял черты самостоятельной личности. В 1928—1929 годах, когда Сталин развернул наступление на крестьянство, Ворошилов на заседаниях Политбюро иногда высказывал сомнения относительно такой политики. Он опасался, что недовольство крестьянства отразится на боеспособности Красной Армии, укомплектованной главным образом за счет крестьянской молодежи. Слухи о расхождении Ворошилова со Сталиным были, однако, настолько преувеличены, что находящийся в ссылке Троцкий в некоторых из своих писем говорил о возможности восстановления крестьянства против Сталина под руководством Ворошилова и Буденного.

Когда И. Бабель опубликовал в 1926 году знаменитый цикл рассказов «Конармия», Буденный был разгневан и обвинил его в клевете. Неприязненно встретила очерки Бабеля и современная ему критика. Однако не только А. М. Горький, но и Ворошилов встали тогда на защиту писателя.

Однако в 30-е годы Ворошилов все более теряет черты самостоятельной личности и подпадает под влияние и власть Сталина. В это время Ворошилов входил в самое ближайшее окружение Сталина и считался его интимным другом. Они сидели вместе в президиумах различных совещаний, стояли рядом на трибуне Мавзолея, вместе бывали на охоте, отдыхали на юге, проводили время на даче Сталина и в его квартире в Кремле. Довольно часто Сталин и Ворошилов посещали Горького, окончательно вернувшегося в СССР. В музее Горького в Москве и сейчас можно получить книгу Алексея Максимовича с поэмой «Девушка и смерть» и с надписью Сталина: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете (любовь побеждает смерть)». На соседней странице Ворошилов написал и свой отзыв, начинавшийся словами: «Я человек малограмотный...»

Несколько раз Ворошилову приходилось высказаться за границу. На устраиваемых там приемах Климент Ефремович не танцевал — не умел. Военный офицер, который не умеет танцевать, производил на Западе странное впечатление. По инициативе Ворошилова, в многочисленных Домах Красной Армии, которые создавались почти во всех крупных городах, и в командирских клубах в военных городках было введено обучение командиров современным европейским танцам, столь презиравшим в 20-е годы комсомольской молодежи.

Конечно, гораздо важнее, чем введение танцев в быт армии, было интенсивное техническое перевооружение Красной Армии, начавшееся в начале 30-х годов одновременно с форсированной индустриализацией страны. Партия не скрывала, что развитие военной промышленности и максимальное техническое оснащение армии и флота является одной из главных задач первой и второй пятилеток. Еще до 1930 года Красная Армия имела главным образом то оружие, которое досталось ей со времен первой мировой и гражданской войн. В следующие четыре года Красная Армия получила большое количество новых танков, артиллерии, средств связи, химической техники. Особенно большая работа отводилась военно-воздушным силам, включая бомбардировочную авиацию и самолеты других типов. Был увеличен и модернизирован Военно-Морской Флот. Выступая на XVII съезде партии, Ворошилов утверждал, что Красная Армия к началу 1934 года технически лучше оснащена, чем французская и американская армии, и более механизирована даже, чем английская армия, которая считалась тогда лучшей в мире по техническому оснащению.

Культ Ворошилова после XVII съезда партии еще более возрос. В это время имена «вождей» присваивались многим городам и селам. Город Луганск был переименован в Ворошиловград. Крупный город на Северном Кавказе Ставрополь, входивший тогда в Орджоникидзевский край, был переименован в Ворошиловск (прежнее название было возвращено городу в 1943 году, когда на Северном Кавказе началась новая волна переименований). Еще несколько городов и поселков в разных частях страны стали носить имя Ворошилова. Появились заводы, колхозы и горные вершины имени Ворошилова. Лучшие стрелки получали почетные значки «Ворошиловский стрелок». Тяжелый советский танк «КВ» был назван так в честь Ворошилова. В одной из областей деревня Остолопово и Остолоповский сельсовет были переименованы в деревню Ворошилово и Ворошиловский сельсовет.

Между тем управление и техническое оснащение Красной Армии в 30-е годы усложнялось, и Ворошилов уже не справлялся с решением сложных проблем военного строи-

тельства. В РВС часто возникали разногласия, тем более что Ворошилов и Буденный продолжали преувеличивать роль крупных кавалерийских соединений в будущей войне, тормозя мотомеханизацию армии.

Перемены были необходимы. В 1934 году наркомат обороны был реорганизован. Одним из первых заместителей Ворошилова стал Тухачевский. В книге Лидии Норд о Тухачевском приводится такой отзыв о Ворошилове:

«Все пойдет по-новому, — продолжал он (Тухачевский. — Р. М.) уже за столом. — Мы с Ворошиловым, Егоровым, Блюхером, Орджоникидзе и другими, вошедшими в Совет Обороны, три недели сидели, днями и ночами, за планами. Ворошилов, надо сказать, очень дубоват, но у него есть то положительное качество, что он не лезет в мудрецы и со всем охотно соглашается...»

В годы террора (1936—1938)

«Великий террор» второй половины 30-х годов с особой жестокостью обрушился на военные кадры Советского государства. Без преувеличения можно сказать, что основная и, как правило, лучшая часть руководящих кадров Советской Армии и Военно-Морского Флота была безжалостно перебиита в 1936—1938 годах. Эти люди погибли не на поле боя, а в подвалах Лубянки в других тюрьмах страны, а также в «трудовых» концлагерях. Точных данных на этот счет ни у кого нет, но можно с достаточной долей уверенности сказать, что было погублено от 25 до 30 тысяч кадровых командиров и военно-политических работников Красной Армии и Флота. В 1935 году в СССР ввели звание маршала. Его присвоили пяти военачальникам: Ворошилову, Буденному, Блюхеру, Тухачевскому и Егорову. Но уже через три года Блюхер, Тухачевский и Егоров были расстреляны как «враги народа». Из состава 1935 года во время террора погибли: из 16 командармов 1-го и 2-го ранга — 15, из 67 комкоров — 60, из 199 комдивов — 136, из 397 комбригов — 221. Из четырех флагманов флота погибло четверо, из шести флагманов 1-го ранга погибло шестеро, из 15 флагманов 2-го ранга погибло 9. Погибли все 17 армейских комиссаров 1-го и 2-го ранга, а также 25 из 29 корпусных комиссаров. Из 97 дивизионных комиссаров было арестовано 79, из 36 бригадных комиссаров — 34. Была арестована третья часть воскомов полков.

Какова роль в этом страшном избиении военных кадров наркома Ворошилова? У нас нет данных о том, что именно он составлял проскрипционные списки для арестов и расстрелов. Но Сталину и не нужно было, чтобы Ворошилов занимался арестами. Достаточно было того, что он давал санкцию на них и подписывал большую часть списков вместе со Сталиным и Ежовым. Никто из видных военачальников не мог быть арестован без ведома и согласия наркома обороны. И Ворошилов всегда давал такое согласие. Ворошилов способствовал разжиганию шпиономании в армии и на флоте. Еще в августе 1937 года, то есть вскоре после военного суда и расстрела Тухачевского, И. Э. Якира, И. П. Уборевича, Б. М. Фельдмана, А. И. Корка и других и самоубийства заместителя Ворошилова Я. Б. Гамарника, нарком обороны Ворошилов и нарком внутренних дел Ежов подписали совместный приказ по Вооруженным Силам СССР. В нем утверждалось, что в СССР, и особенно в Красной Армии, создана разветвленная сеть шпионов различных государств. Отсюда вытекало требование: всем, кто как-то связан со шпионами, — сознаться; а тем, кто что-то знает или подозревает о шпионской деятельности, — донести.

В ряде случаев Ворошилов выступал и в роли прямого соучастника репрессивных органов. И. Федько, назначенный после гибели Тухачевского и Гамарника первым заместителем наркома обороны, оказал явившимся к нему работникам НКВД вооруженное сопротивление и приказал своей охране держать их под прицелом. Одновременно Федько тут же позвонил Ворошилову. Ворошилов сказал Федько, что он, Ворошилов, лично во всем разберется. Но вместе с тем Ворошилов приказал Федько прекратить сопротивление и «временно» подчиниться работникам НКВД. Вскоре Федько был расстрелян по списку, который был, несомненно, подписан не только Сталиным и Ежовым, но и Ворошиловым. Некоторых из военных атташе СССР за границей вызывали в Москву на прием к Ворошилову, и их арестовывали в приемной наркома обороны. Было очевидно, что это делается с его согласия и одобрения.

Когда Гитлер готовился к нападению на СССР, то он без обиняков ссылаясь на уничтожение советских военных кад-

ров как на благоприятный для Германии фактор. «Первоклассный состав высших советских военных кадров, — говорил Гитлер Кейтелю, — истреблен Сталиным... Таким образом, необходимые умы в подрастающей смене еще пока отсутствуют».

Неудачи в советско-финской войне

Советская Армия крайне ослабла в результате массовых репрессий. Дело было не только в потере первоклассного состава высших советских кадров. Снизилась дисциплина в армии, где солдаты и младшие командиры переставали доверять старшим командирам. Быстрое выдвижение новых кадров происходило зачастую просто по анкетным данным. При этом командиры взводов становились командирами батальонов, а то и полков, командиры полков и батальонов — командирами дивизий. Почти парализована была на два-три года деятельность военных академий, ослабла военно-инженерная и конструкторская деятельность. Многие важнейшие начинания прежних командующих были прекращены: например, остановили формирование партизанских баз в западных областях, строительство оборонительных рубежей вдоль прежней государственной границы. Армия увеличилась численно, возросло количество полков, дивизий, армейских соединений, но кадров и военного опыта у новых командиров не хватало. А между тем началась вторая мировая война, и это обстоятельство повысило требования к Красной Армии. Ворошилов, Буденный и новые маршалы СССР — С. К. Тимошенко, Г. И. Кулик, — все из бывшей Первой Конной, пытались навести порядок и дисциплину в армии, но не всегда успешно.

Об одном из таких визитов Ворошилова в расположение полка рассказывал не без юмора известный комедийный артист Ю. Никулин, которого призвали в армию перед Отечественной войной:

«Как-то к нам в полк приехал Климент Ефремович Ворошилов. Он был в кубанке, короткой куртке, отороченной мехом, сбоку — маленький браунинг в кобуре. Побывал он и на нашей батарее. Учебная тревога прошла хорошо. Потом Ворошилов вместе с сопровождающими зашел в столовую. Повар, увидев легендарного маршала, от неожиданности потерял дар речи.

— Что, обед готов? — спросил Климент Ефремович.

— Нет, — чуть слышно пролепетал повар. — Будет через час.

— Ах, хитрец, — сказал, улыбаясь, маршал, — боишься, что опоздаю у вас останемся? Не останемся, не бойся.

Он вышел из столовой и приказал выстроить батарею. Климент Ефремович за отличную боевую подготовку объявил всем благодарность и, сев в черную «эмку», уехал.

Приезд Ворошилова на нашу батарею стал огромным событием. Мы в деталях подробно обсуждали все, что произошло. У нас-то все прошло хорошо, а вот в соседнем полку, рассказывали, вышел казус. На одну из батарей Ворошилов нагрянул неожиданно. Дневальный, растерявшись, пропустил начальство, не вызвав дежурного по батарее и не доложив ему о приезде маршала.

— Где комбат? — сразу спросил Ворошилов.

— А вон, в домике, — ответил дневальный.

Ворошилов прошел к домику, открыл и видит: сидит за столом спиной к двери командир батареи в одних трусах и что-то пишет в тетрадке. Ворошилов кашлянул. Комбат обернулся и, тут же подскочив, воскликнул:

— Климент Ефремович! Это вы?!

— Это я, — сказал Ворошилов. — А как ваше имя-отчество?

— Да Павлом Алексеевичем зовут.

— Очень приятно, Павел Алексеевич, — ответил Ворошилов и... взяв комбата под руку, повел его на позицию.

Так и шел комбат на глазах у всех в трусах и по приказу Ворошилова объявил тревогу.

Когда все собрались, Ворошилов дал задание: там-то, на такой-то высоте самолет противника. Открыть огонь. От неожиданности и неподготовленности все пошло скверно: орудия смотрели во все стороны, но только не на цель. Ворошилов, ни слова не говоря, сел в машину и уехал».

Стремясь создать более выгодные в стратегическом отношении границы на Западе, Сталин решил отодвинуть советско-финскую границу, которая на Карельском перешейке проходила слишком близко от Ленинграда. Сам Сталин при-

нял в Кремле финскую делегацию во главе с Юхо Кусти Ласкиви и предложил обменять территорию в 2700 квадратных километров вблизи Ленинграда на 5500 квадратных километров в Карелии. Однако финны должны были потерять при этом не только экономически более освоенные территории, но и свои главные линии укреплений. Финское правительство отклонило это предложение и не реагировало на прямые угрозы войны, с которыми выступил Молотов. Шел ноябрь 1939 года, и финны думали, что Советский Союз не решится начать войну перед началом зимы. Это было заблуждением: утром 30 ноября первые бомбы упали на Хельсинки, и Красная Армия перешла советско-финскую границу. Но это была и большая ошибка Сталина, пребывавшего в уверенности, что речь пойдет о короткой и не слишком дорогостоящей военной акции. Ведь против маленькой Финляндии была развернута армия в 450 тысяч человек, 1700 орудий, 1000 танков и 800 самолетов. Финляндия имела под ружьем 215 тысяч солдат, но всего 75 боевых самолетов, 60 старых танков, несколько сот орудий. Однако только первую линию финской обороны Красная Армия одолела без большого труда. На второй линии советские части завязли в боях. Атака шла за атакой, но успеха не было. Финны храбро оборонялись, они оказались лучше подготовлены к войне в зимних условиях. Одна за другой втягивались в войну все новые советские дивизии. Ворошилов лично руководил боевыми действиями, часто выезжая на фронт. Однако каждый километр отнятой у противника территории приходилось буквально устилать телами убитых и замерзших солдат. Раненые и обмороженные исчислялись сначала десятками, а потом, возможно, и сотнями тысяч. Зима 1939/40 годов оказалась нестерпимо суровой, морозы достигали временами 50 градусов. В таких условиях батальон Красных лыжников мог и остановить, и разбить дивизию Финской Армии.

Неудачи Красной Армии вызвали раздражение и гнев Сталина. Еще до поражения Финляндии Сталин на многих неофициальных встречах выражал по этому поводу свое недовольство. Н. С. Хрущев вспоминал позднее:

«Сталин в беседах... критиковал военное ведомство, он критиковал Министерство обороны, он критиковал особенно Ворошилова, все сосредоточивал на персоне, на Ворошилове... Я согласен был со Сталиным и другие были согласны с этой критикой, потому что действительно в первую голову отвечал Ворошилов, потому что он много лет занимал пост министра обороны... Я помню, когда Сталин в пылу гнева острей полемикой, а это не на каких-либо заседаниях, это происходило на квартире в Кремле и на Ближней даче. Вот там, я помню, когда Сталин очень критиковал, разнервничался, встал, значит, на Ворошилова, Ворошилов тоже... вскипел, покраснел, поднялся и... говорит на критику Сталина: «Ты виноват в этом, ты истребил кадры военные...» И Сталин ему соответствующую дал ответ...»

Уже в феврале 1940 года Сталин отстранил Ворошилова от непосредственного руководства военными операциями, назначив командующим действующей армией маршала С. К. Тимошенко. Тимошенко получил подкрепление, в том числе несколько дивизий из Сибири. Имелась почти 500-тысячная армия, Тимошенко начал генеральное наступление. Лед Финского залива стал столь крепким, что советские танки могли двигаться по нему в обход Выборга. В конечном счете СССР одержал победу, но крайне дорогой ценой. По западным оценкам, потери нашей страны исчислялись примерно в 300 тысяч солдат.

Итоги финской кампании рассматривались в апреле 1940 года на расширенном заседании Главного Военного Совета. На этом совещании много и довольно остро говорил о промахах наркома обороны Ворошилова Л. З. Мехлис. Некоторые из выступавших спорили с Мехлисом, но было ясно, что такой спор стал возможен лишь с одобрения Сталина. Были приняты решения, направленные на усиление боеспособности Красной Армии. Неофициально Сталин дал указание реабилитировать и освободить часть репрессированных командиров Красной Армии.

Чтобы как-то смягчить удар по престижу Ворошилова, его наградили орденом Ленина и назначили на пост заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров. Однако реальное влияние Ворошилова в партийной и военной иерархии явно уменьшилось.

Отечественная война началась для Красной Армии тяжелыми поражениями. Уже к концу первого дня гитлеровцы добились ощутимого успеха, а наркомат обороны и Генеральный штаб стали утрачивать нити управления войсками. Сталин на несколько дней уединился на своей даче и никого не принимал. Во главе созданной 23 июня 1941 года Ставки Главного командования встал Тимошенко. Важная роль принадлежала и Жукову, возглавлявшему Генеральный штаб. Особо тяжелое положение создалось на основном, Западном фронте. Ставка направила сюда маршалов Шапошникова, Кулика и Ворошилова. Но и они не смогли ничего изменить или даже овладеть управлением войсками, чтобы упорядочить отступление. Видя разгром и беспорядочный отход многих частей, Ворошилов и Шапошников предложили создать новую линию обороны не по реке Березине, а гораздо восточнее — по среднему течению Днепра. Фактически продвижение немцев удалось временно приостановить еще восточнее — в боях за Смоленск.

Главная ответственность за поражения первого периода войны лежит, конечно, на Сталине. Но и спрос с Ворошилова также очень велик. Он виноват в том, что допустил избивание военных кадров. Он успокаивал страну речами, что Красная Армия якобы имеет более мощные огневые средства, чем любая другая, между тем как немецкая армия имела преимущество по большинству видов вооружения. Ворошилов как нарком обороны чрезвычайно преувеличивал роль конницы в будущей войне в ущерб развитию танковых соединений и войск ПВО.

1 июля 1941 года Ворошилова отозвали в Москву. Сталин вернулся к руководству страной и армией. Был создан Государственный Комитет Обороны, в который вошел и Ворошилов. Сталин возглавил Ставку Верховного командования, Буденный — Юго-Западное направление обороны, Тимошенко — Западное, Ворошилов — Северо-Западное. 11 июля Ворошилов с небольшим штабом прибыл в Ленинград, чтобы принять командование отступающими войсками на Северо-Западе. Интересно, что уже в июле не только молодые бойцы, но даже школьники разучивали новую песню, в которой был такой припев:

**Призыв раздается: К победе вперед!
В своих полководцах уверен народ.
Ведь, Ворошилов, ведь, Тимошенко, ведь нас, Буденный,
В священный поход!**

Прибытие Ворошилова и его штаба в Ленинград не вызвало в потрепанных и усталых войсках особого воодушевления. И командиры, и партийные работники на Северо-Западе еще хорошо помнили о неудачной финской кампании. Тем не менее ленинградская печать приветствовала Ворошилова. По многим предприятим прошли митинги и собрания. В резолюции, принятой на собрании рабочих и служащих Кировского завода, утверждалось: «Назначение товарища Ворошилова на пост Главнокомандующего войсками Северо-Западного направления еще раз говорит о том, какое громадное внимание партия и правительство уделяют коллели социалистической революции — городу Ленина...»

Да здравствует славный полководец Клим Ворошилов! Да здравствует знамя наших побед — великий Сталин!» Ленинградские поэты сочинили наскоро «Ленинградский марш»:

**Трубы, трубите тревогу,
Стройся к отряду отряд.
Смело, товарищи, в ногу,
В бой за родной Ленинград!..**

**Всех нас война подружила,
Думой спаяла одной.
В бой нас ведет Ворошилов.
Жданов зовет нас на бой!**

Но назначение Ворошилова не изменило неблагоприятной обстановки на фронте. Отступление Красной Армии в Прибалтике продолжалось, и лишь на отдельных участках сражения шли с переменным успехом. К счастью для города, не слишком активно действовала ослабленная недавней войной финская армия. Тем не менее линия фронта постепенно перемещалась на восток, а численность советских войск и их вооружение уменьшались. Осложняла положение и необходимость эвакуации сотен тысяч людей и множества предприятий из Прибалтики главным образом через Ленинград.

В августе гитлеровцы вышли на дальние подступы к Ленинграду. Ворошилов действовал храбро, но неумело. У него было достаточно смелости, и он часто высезжал на передний край обороны в зону прямой видимости противника. Но ему

не хватало твердости в руководстве войсками. В конце августа Ленинград был почти окружен и лишился железнодорожной связи со страной. 1 сентября Ворошилов получил телеграмму Сталина:

«Ставка считает тактику Ленинградского фронта пагубной для фронта. Ленинградский фронт занят только одним — как бы отступить и найти новые рубежи для отступления. Не пора ли кончать с героями отступления? Ставка последний раз разрешает вам отступить и требует, чтобы Ленинградский фронт набрался духу честно и стойко отстаивать дело обороны Ленинграда».

Однако отступление продолжалось, и 9—10 сентября после потери Шлиссельбурга Ленинград был окружен. Ворошилов 10 сентября лично возглавил атаку морских пехотинцев, но это был скорее акт отчаяния. 10 сентября 1941 года Сталин принял решение сместить Ворошилова и назначить на его место генерала армии Жукова. Жуков немедленно вылетел в Ленинград и прямо с аэродрома выехал в Смольный. С собой он вез короткую записку Сталина Ворошилову: «Передайте командование фронтом Жукову и немедленно вылетайте в Москву».

Появление Жукова прервало совещание Военного Совета фронта, на котором обсуждалось, что надо делать, если не удастся удержаться Ленинград. Но этот вопрос отпал сам собой, так как Жуков привез и приказ Сталина: не сдавать Ленинград, чего бы это ни стоило.

Никаких формальностей при сдаче командования фронтом не было, и Жуков доложил по прямому проводу в Ставку: «В командование вступил». Ворошилов собрал генералов штаба, чтобы попрощаться. «Отзывает меня Верховный, — с горечью сказал маршал. — Ныне не гражданская война — по-другому следует воевать...» Ворошилов хотел перед отлетом в Москву дать Жукову какие-либо советы, но последний довольно резко отказался от разговора с ним. Начавшийся уже через несколько дней новый штурм немцами Ленинграда был отбит под командованием Жукова. Как представитель Ставки Ворошилов некоторое время помогал командующему 54-й армии своему другу Кулику, который пытался пробиться на помощь Ленинграду с востока. Но маршал Кулик оказался неспособным умело руководить армией и потерпел поражение. Он был также смещен и строго наказан.

Ворошилова Сталин пощадил. Назначил от ГКО контролировать подготовку резервов Красной Армии в Московском, Приволжском, Среднеазиатском и Уральском военных округах. В сентябре 1942 года Ворошилов стал Главным командующим партизанским движением. Ему был подчинен созданный еще весной 1942 года Центральный штаб партизанского движения, возглавляемый П. К. Пономаренко, первым секретарем ЦК КП Белоруссии. Он-то и являлся главным руководителем партизанского движения, ибо участие Ворошилова было лишь эпизодическим и формальным. Также чисто формальным было участие Ворошилова и в работе тыла. Бывший заместитель наркома вооружений В. Н. Новиков вспоминал:

«В 1942 г. приехал в Ижевск член ГКО К. Е. Ворошилов, который занимался тогда формированием новых воинских подразделений. Он провел смотр созданных в нашем регионе воинских частей. На другое утро Климент Ефремович выразил желание осмотреть завод. Начали с цехов, где выпускали винтовки. Когда он пришел на сборку, то на двух конвейерах винтовки текли (ширина конвейерной ленты была около метра) буквально рекой. Операции были разбиты на очень мелкие с тем, чтобы быстрее обучать людей сборке. Ворошилов долго стоял, смотрел, потом говорит мне: «Товарищ Новиков, неужели винтовки могут выпускаться рекой?» Я сказал, что так идет производство круглые сутки.

Он покачал головой и предложил продолжить знакомство с другими цехами. В 6 час. вечера Климент Ефремович неожиданно попросил меня вернуться вместе с ним еще раз в сборочный цех. Пришли — и опять река винтовок. Он сказал: «Чудеса!»

Когда Красная Армия начала продвигаться на запад, Ворошилов возглавил Трофейный комитет. Он выполнял и другие поручения: вел переговоры с английской военной делегацией, участвовал в Тегеранской конференции, был председателем комиссий по перемирию с Финляндией, Венгрией и Румынией.

Иногда, впрочем, Ворошилов выезжал и на фронт как представитель ГКО. В книге В. Карпова «Полководец» рассказывается о том, как в 1944 году после блестяще проведенного Отдельной Приморской армией десанта и захвата

плайдарма на Керченском полуострове для координации действий сухопутных войск и флота туда прибыл Ворошилов. Он приказал самолично провести силами Азовской флотилии еще одну десантную операцию, которая закончилась полной неудачей. Но вина за нее была возложена Сталиным на генерала И. Е. Петрова, и потому его временно отстранили от командования армией и понизили в должности.

Чем дальше войска Красной Армии продвигались на запад, тем меньше Ворошилов принимал участия в военных делах. В 1944 году он был, например, назначен руководителем комиссии по созданию нового Гимна СССР. Десятки раз он прослушивал исполнение многих его вариантов, прежде чем утвердить окончательный. За время войны на груди Ворошилова появилось мало новых наград. Он был награжден в 1944 году орденом Суворова. Свое первое звание Героя Советского Союза Ворошилов получил через одиннадцать лет после окончания войны, к своему 75-летию. Это была просто награда в честь юбилея. На трибуне Мавзолея во время Парада Победы рядом со Сталиным стояли Жуков, Ворошилов и Буденный. Но для Ворошилова это был один из последних эпизодов в его жизни, когда ему пришлось надеть военную форму.

Первые годы после войны

После войны Ворошилов почти полностью отошел от военных дел. Как член Политбюро и Бюро Совета Министров СССР Ворошилов получил новое поручение.

Надо сказать, что до войны Ворошилов иногда «курировал» культуру.

Он, например, вел переписку с Репиным. Сталин очень хотел, чтобы великий русский художник вернулся в СССР.

И вот теперь Ворошилова поставили во главе Бюро культуры при Совете Министров СССР. В ведении этого Бюро находились деятельность театров страны, Комитета по делам кинематографии, книгоиздательское дело. В служебном кабинете Ворошилова в Кремле теперь можно было встретить не генералов, а режиссеров, директоров крупных издательств, некоторых артистов. Конечно, основные вопросы культуры решались и ныне помимо Ворошилова. Так, например, ни один кинофильм не выходил на экраны страны без предварительного просмотра самим Сталиным. Однажды режиссер М. И. Ромм долго беседовал с Ворошиловым о создании документальных фильмов к 10-летию битвы под Москвой. Вместе с тем ощущалось, что Ворошилов находится при культуре, а не во главе ее, он просто опасался что-нибудь решать самостоятельно, хотя и был членом Политбюро. «Чувствую, что старею и глушею», — сказал в конце беседы Ворошилов.

Чаще всего Ворошилов вмешивался в музыкальные дела. В работу Союза композиторов, оперы, музыкальных театров. У Ворошилова были некоторые музыкальные способности, он хорошо знал украинские народные песни и любил хоровое пение. Видимо, этого было достаточно, чтобы он возмнил себя таким же «специалистом» по музыке, каким считал себя А. А. Жданов. Ворошилов с большим старанием давал многим композиторам и интерпретаторам различные указания. Известный артист рассказывал Д. Шостаковичу, как он однажды пел вместе со Сталиным, Ворошиловым и Ждановым. Это было после одного приема, когда все были крупно навеселе. Солисты Большого театра сопровождали пение «вождей». Сталин дирижировал, ибо и здесь он не мог позволить кому-то командовать.

Сталин в эти годы не только не считался с Ворошиловым, но часто выказывал ему пренебрежение и недоверие. Существует легенда, что в 1949 году была сделана попытка арестовать жену Ворошилова, которая, как и жена Молотова, была еврейкой. И будто бы Ворошилов схватил не то шашку, не то пистолет и выгнал из своей квартиры явившихся туда чекистов. Эта легенда не соответствует действительности. Никаких попыток арестовать жену Ворошилова не предпринималось. Но некоторые из его родственников были арестованы. К тому же сам Ворошилов все болел попадал в опалу «при дворе» Сталина.

На одном из заседаний Политбюро после войны обсуждался вопрос о путях развития Советского Военно-Морского Флота. Это было расширенное заседание, на которое были приглашены командующие основными флотами. Как обычно, Сталин предложил высказываться всем присутствующим, оставляя за собой последнее слово. Мнение Ворошилова не совпало, однако, с мнением большинства. Завершая прения, Сталин не просто отверг предложения Ворошилова,

но при этом сказал: «Не понимаю, для чего хочется товарищу Ворошилову ослабить Советский Военно-Морской Флот». Сталин повторил эту зловещую фразу еще два раза. После заседания все его участники пошли по приглашению Сталина смотреть кинофильм «Огни большого города», который Сталин уже много раз видел. В небольшом просмотрном зале стояли столики с закуской. Никто из присутствующих не сел уже за столик к Ворошилову, он оставался в одиночестве. Когда после окончания фильма зажегся свет, Сталин обернулся и, увидев одиноко сидящего Ворошилова, неожиданно встал и, подойдя, положил ему руку на плечо. «Лавре́нтий,— обратился Сталин к Берия.— Надо нам лучше заботиться о Ворошилове. У нас мало таких старых большевиков, как Клим Ворошилов. Ему нужно создать хорошие условия». Все молчали, ибо трудно было понять, почему именно к Берия обращался Сталин с предложением «позаботиться о Ворошилове». Заместитель ВМФ СССР Адмирал Флота И. С. Исаков, присутствовавший на этом заседании Политбюро, записал свои впечатления сразу же по приходе домой.

Сталин не только отдалил от себя Ворошилова, но неоднократно выражал ему в присутствии других членов ЦК политическое недоверие и даже заявлял иногда, что Ворошилов является... английским шпионом. Нередко его не приглашали на заседания Политбюро. Были случаи, когда Ворошилов, узнав о предстоящем заседании, звонил лично секретарю Сталина А. Поскребышеву и униженно просил: «Узнайте, пожалуйста, можно ли мне приехать на заседание Политбюро?»

Тем не менее в 1952 году Ворошилов председательствовал на некоторых заседаниях XIX съезда партии и закрывал этот съезд краткой речью (Сталин выступил уже после формального закрытия съезда). Ворошилов был избран в состав расширенного Президиума ЦК КПСС и в состав Бюро Президиума из девяти человек. До конца жизни Сталина только двое членов высшего руководства партии обращались к нему на «ты» — Молотов и Ворошилов. При этом Ворошилов часто называл Сталина «Коба».

Ворошилов — Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Сразу после смерти Сталина Ворошилов принял участие в совещаниях высших должностных лиц партии и государства, на которых шла речь о распределении власти. В это время пост Председателя Президиума Верховного Совета занимал Н. М. Шверник. Он не пользовался большим влиянием и даже не был после войны полноправным членом Политбюро, а лишь его кандидатом. До войны он возглавлял советские профсоюзы. Теперь было решено снова назначить Шверника Председателем ВЦСПС. На пост главы Советского государства, то есть Председателя Президиума Верховного Совета СССР, был избран Ворошилов.

Вскоре после смерти Сталина Президиум Верховного Совета СССР постановил объявить весьма широкую амнистию, на основании которой из тюрем и лагерей были освобождены сотни тысяч осужденных, главным образом уголовных преступников и так называемых «бытовиков». Поскольку Указ Президиума был подписан Ворошиловым, эта амнистия получила в народе название «ворошиловской». Об этой амнистии многие помнят и до сих пор. Несомненно, для множества людей она была большим благом — в сталинские времена длительные сроки заключения получали многие и за весьма незначительные правонарушения. К различного рода «бытовым» преступлениям людей часто вынуждала тяжелая жизнь. Под амнистию попало и очень небольшое число политзаключенных, но не более одного процента от общего их количества. Видимо, на основании тайной инструкции Берия под амнистию попали и злостные уголовные преступники, грабители, убийцы, рецидивисты, которые, если строго придерживаться текста амнистии, должны были оставаться в лагерях. Берия хотел осложнить обстановку в городах и продлить в них (особенно в Москве) пребывание специальных войск МВД. И действительно, сразу же после «ворошиловской» амнистии в Москве и во многих крупных городах резко возросла преступность и увеличились наглые ограбления отдельных граждан, квартир, магазинов. В результате милиция получила особые полномочия по борьбе с преступностью. Но все это не спасло Берия от возмездия. Чекистам недолго пришлось петь свой новый гимн, написанный к их

35-летию юбилею, то есть к декабрю 1952 года. В нем их называли «любимцами Сталина, питомцами Берия».

Ворошилов поддержал Маленкова и Хрущева при смещении Берия. После предварительной беседы с Маленковым о Берия Ворошилов не только дал согласие на его арест, но даже расплакался от волнения. Он слишком долго боялся, что Берия действительно возьмет на себя «заботу» о нем.

Однако дружной совместной работы с Хрущевым у Ворошилова не получилось. Ворошилов поддержал Молотова, Маленкова и Кагановича, когда они выступили в июне 1957 года против Хрущева. Линия Хрущева на разоблачение сталинских преступлений очень беспокоила Ворошилова, и он был против его намерения выступить о вреде культа личности еще на XX съезде КПСС. Ворошилов, однако, был не слишком верным союзником Молотова и Маленкова. Когда он убедился, что Пленум ЦК не поддержит решение своего Президиума, он снова встал на сторону Хрущева и в выступлении на Пленуме решительно осудил своих недавних союзников. Поэтому фамилия Ворошилова не была упомянута в решениях Пленума об антипартийной группе. Сам Ворошилов уже в начале июля, выступая в Ленинграде, осудил еще раз «гнусную попытку» Молотова, Маленкова и Кагановича выступить против «ленинского руководства» ЦК КПСС в лице товарища Хрущева. В результате Ворошилов на несколько лет сохранил за собой пост главы государства. Но эта его деятельность не была отмечена ни проблемами государственного ума, ни проявлениями какой-либо инициативы. Зато близких к Ворошилову по работе людей иногда удивляли несвойственные раньше ему проявления скупости. Он, например, очень не хотел отдавать в фонд государства те весьма ценные подарки, которые нередко получал как глава государства во время своих визитов в другие страны или при визитах глав других государств в СССР. Как можно больше из этих подарков Ворошилов старался оставить себе.

Несояльность, проявленная Ворошиловым в июне 1957 года, все же не была забыта. Город Луганск, который в 1935 году был переименован в Ворошиловград, в 1958 году снова стал Луганском. В 1960 году, когда Ворошилову исполнилось уже 79 лет, он был освобожден от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Уход Ворошилова с поста главы государства был отмечен торжественной процедурой. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, произнесены приличествующие данному случаю речи. Климент Ефремович остался членом Президиума Верховного Совета. Председателем Президиума был избран 53-летний Л. И. Брежнев.

На XXII съезде КПСС

Ни Молотов, ни Каганович, ни Маленков не присутствовали на XXII съезде КПСС. Ворошилов же был не только избран делегатом этого съезда, но и как член партийного руководства находился в его президиуме. Ему пришлось выслушать здесь немало обвинений, направленных не только против его недавних политических соратников, но и против него самого.

Уже Хрущев в своем Отчетном докладе, говоря о фракционной антипартийной группе, назвал в числе ее активных участников и Ворошилова. При этом Хрущев сказал, что его позиция не была случайной, ибо и он несет персональную ответственность «за многие массовые репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров и за другие явления подобного рода, имевшие место в период культа личности». Почти все другие ораторы также упоминали Ворошилова в числе членов антипартийной группы. Особенно резко и аргументированно выступил против Ворошилова Председатель Совета Министров РСФСР Д. С. Полянин:

«Следует сказать и о поведении тов. Ворошилова как участника антипартийной группы. Всем известны его прежние заслуги перед Родиной. Поэтому Центральный Комитет партии очень снисходительно отнесся к нему. А ведь вы, тов. Ворошилов, играли активную роль в этой группе, хотя и говорите, что вас «черт попутал». Мы думаем, что черт тут ни при чем. Вы хотели замести следы своего участия в репрессиях против ни в чем не повинных людей, особенно против кадров военных руководителей, известных всей стране. Будучи членом антипартийной группы, являясь ее активным участником, тов. Ворошилов вел себя дерзко, грубо, вызывающе. В критические минуты он даже отказался встретиться с членами Центрального Комитета партии, требовавшими созыва

Пленума Центрального Комитета. Он забыл о том, что его избирали в Президиум Центрального Комитета и, следовательно, могли лишиться этого высокого доверия. А как он вел себя на Пленуме ЦК? Напомним только один момент. Когда Кагановичу было предъявлено обвинение в массовых репрессиях на Кубани, проводившихся по его указанию и при его личном участии, Ворошилов выступил в защиту Кагановича; вскочил с места и, размахивая кулаками, кричал: «Вы еще молодцы, и мы вам мозги вправим». Мы тогда ответили на его реплику: «Успокойтесь, ЦК разберется, кому следует мозги вправлять!» Так что вы, тов. Ворошилов, не прикидывайтесь Иваном не помнящим родства. За антипартийные дела вы должны нести полную ответственность, как и вся антипартийная группа».

Во время речи Полянского Ворошилов вел себя очень нервно. Он вставал, садился, затем со злобой бросил блокнот и вышел из президиума съезда и из зала. Но на следующий день он снова сидел на съезде и слушал выступления, в которых иередко упоминалась и его фамилия. Так, например, А. Н. Шелепин, занимавший в 1961 году пост председателя Комитета государственной безопасности, сказал, в частности, о Ворошилове:

«...Накануне расстрела Якир обратился к Ворошилову со следующим письмом: «К. Е. Ворошилову. В память многолетней в прошлом честной работы моей в Красной Армии я прошу Вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей, беспомощной и ни в чем не повинной...»

И вот на письме человека, с которым долгие годы вместе работал, хорошо знал, что тот не раз смотрел смерти в глаза, защищая Советскую власть, Ворошилов наложил резолюцию: «Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще». К. Ворошилов. 10 июня 1937 г.»

Многие из делегатов требовали исключения лидеров антипартийной группы из партии. На 19-м заседании съезда 27 октября 1961 года было, однако, зачитано заявление Ворошилова XXII съезду КПСС. В нем Ворошилов утверждал, что, хотя он и поддержал «ошибочные, вредные выступления» членов антипартийной группы, он «не имел никакого понятия о ее фракционных действиях». Ворошилов писал:

«Глубоко осознавая тот огромный вред, который могла нанести нашей партии и стране антипартийная группа Молотова, Кагановича, Маленкова и других, я решительно осуждаю ее фракционную деятельность, направленную на то, чтобы свернуть партию с ленинского пути. Я полностью понимаю серьезность допущенной мною ошибки, когда я поддерживал вредные выступления членов антипартийной группы».

Что касается участия в сталинских репрессиях, то Ворошилов заявлял:

«Я полностью согласен с проведенной партией большой работой по восстановлению ленинских норм партийной жизни и устранению нарушений революционной законности периода культа личности и глубоко сожалею, что в той обстановке и мною были допущены ошибки».

На следующем заседании съезда Хрущев, подводя итог прениям, хотя и осудил Ворошилова, но призвал проявить к нему великодушие. Хрущев сказал:

«Хочу особо сказать о товарище Ворошилове. Он подходил ко мне, говорил о своих переживаниях... Но мы — политические деятели — не можем руководствоваться лишь одними чувствами. Чувства бывают разные, они могут быть обманчивыми. Здесь, на съезде, Ворошилов слушает критику в свой адрес и ходит, как побитый. Но надо было видеть его в то время, когда антипартийная группа подняла руку против партии. Тогда Ворошилов проявлял активность, выступал, как говорится, при всех своих регалиях и в доспехах, чуть ли не на коне... Не случайно фракционеры выделили его для встречи с членами ЦК, которые добивались созыва Пленума Центрального Комитета. Антипартийная группа рассчитывала, что Ворошилов своим авторитетом сможет повлиять на членов Центрального Комитета, поколебать их решимость в борьбе против антипартийной группы...»

Товарищ Ворошилов совершил тяжкие ошибки. Но я, товарищи, считаю, что к нему надо подойти иначе, чем к другим активным участникам антипартийной группы, например, к Молотову, Кагановичу, Маленкову.

...Имя Климентия Ефремовича Ворошилова широко известно в народе. Поэтому участие его в антипартийной группе вместе с Молотовым, Кагановичем, Маленковым и другими как бы усиливало эту группу, производило какое-то впечатление на людей, не искушенных в политике. Вый-

дя из этой группы, товарищ Ворошилов помог Центральному Комитету в его борьбе против фракционеров. Давайте и мы за это доброе дело ответим тем же и облегчим его положение.

Товарищу Ворошилова остро критиковали, эта критика была правильной потому, что он совершил большие ошибки, и коммунисты не могут забыть их. Но я считаю, что мы должны подойти к товарищу Ворошилову внимательно, проявить великодушие. Я верю, что он искренне осуждает свои поступки и раскаивается в них».

Эти слова вызвали аплодисменты.

Прощение Ворошилова заключалось в том, что он не был исключен из партии. Но он не был уже избран в новый состав ЦК КПСС и не вошел в другие руководящие органы партии. В печати перестали появляться статьи о Ворошилове и его собственные статьи. Он почти полностью отошел от общественной и политической деятельности. Он далеко не всегда присутствовал на заседаниях Верховного Совета и его Президиума, хотя и избирался в Верховный Совет как в 1962, так и в 1966 году.

Последние годы жизни

Ворошилов не был лишен тех привилегий, которыми пользовался в прошлом. Поэтому он спокойно доживал свои последние годы на большой даче-усадьбе в Подмосковье. Семья у него была невелика. Жена Ворошилова, Екатерина Давыдовна, умерла. Своих детей у них не было. Ворошилов воспитывал дочь Фрунзе и приемного сына Петра, от которого у него было двое внуков — Клим и Володя. В середине 60-х годов Ворошилов начал работать над мемуарами. Видимо, в связи с этим он стал посещать Государственную библиотеку имени Ленина, где работала его невестка — жена Петра.

Нередко Ворошилова видели в обеденном зале ресторана «Прага» — излюбленном месте обеда многих привилегированных пенсионеров. Старость сильно изменила его внешность. Окружающие его здесь пенсионеры почти не реагировали на его присутствие. Но в других местах бывало иначе. Все же легенда о Ворошилове еще существовала в умах и сознании людей, несмотря на разоблачения XXII съезда. Поэтому Ворошилова публика принимала иначе, чем Молотова или Кагановича.

Однажды, когда я работал в Ленинской библиотеке, где-то за моей спиной раздались аплодисменты. Я обернулся. По ступенькам, ведущим в зал для чтения газет, спускался Ворошилов. Почти все читатели, а их было не менее тысячи человек, поднялись со своих мест и устроили Ворошилову овацию. Под гром аплодисментов он медленно шел по проходу между столами к выходу из зала. Остался молча сидеть на своих местах всего пять-шесть человек, среди которых я увидел и сына Якира Петра, который едва удержался, чтобы не крикнуть что-либо оскорбительное в адрес Ворошилова и приветствовавших его научных работников.

Впрочем, симпатии к Ворошилову после смещения Хрущева стали проявляться и на более высоком уровне. Это вполне укладывалось в рамки той политики частичной реабилитации Сталина, которую весьма влиятельные круги пытались проводить после октябрьского, 1964 года, Пленума ЦК КПСС. На XXIII съезде КПСС в 1966 году Ворошилов после пятилетнего перерыва был вновь избран членом ЦК КПСС. В газетах и журналах стали печататься статьи о нем и отрывки из его воспоминаний. Среди некоторой части военных и интеллигенции это вызывало протест. Военный историк подполковник В. А. Анфилов, выступая весной 1966 года на совещании в Институте марксизма-ленинизма при обсуждении книги А. Некрича «1941. 22 июня», сказал: «...у меня сердце кровью обливается, когда он (Ворошилов. — Р. М.) стоит на трибуне Мавзолея Ленина». В 1967 году было особенно торжественно отмечено 50-летие Октябрьской революции. На совместное заседание ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР были, естественно, приглашены и такие люди, как Ворошилов и Микоян. Но в президиуме заседания находились и самые старые по стажу члены партии, такие, как Федор Николаевич Петров, член КПСС с 1896 года, и Анна Львовна Рязанова, член КПСС с 1899 года, — жена известного историка и теоретика марксизма Д. Б. Рязанова, погибшего в годы сталинского террора. Она и сама больше пятнадцати лет провела в лагерях. Получив приглашение на заседание в Кремль, А. Л. Рязанова демонстративно отказалась от участия в этом заседании, заявив, что не желает сидеть

рядом с такими людьми, как Ворошилов и Микоян, повинными в гибели многих тысяч старых большевиков. Ее протест, как и следовало ожидать, остался без внимания, подобно многим другим аналогичным протестам. В феврале 1968 года отмечалась еще одна годовщина — 50-летие Красной Армии. В связи с этим Ворошилов удостоился высоких почестей. Он получил вторую медаль «Золотая Звезда» и почетное оружие с золотым гербом СССР. Власти города Ростова-на-Дону присвоили Ворошилову звание почетного гражданина этого города. В 1968 году вышла в свет и первая книга мемуаров Ворошилова «Рассказы о жизни», посвященная главным образом луганскому периоду его деятельности. Рассказывая о своей первой встрече со Сталиным, Ворошилов считал нужным высказать и общее суждение об этом человеке: «Мы подружились, и вскоре я узнал, что мой новый друг является грузином и зовут его Иосифом Виссарионовичем Джугашвили... Так волею случая много десятков лет назад довелось мне впервые встретиться с человеком, который в дальнейшем под именем Сталина прочно вошел в историю нашей партии и страны. Он прожил большую и сложную жизнь, и хотя его деятельность была омрачена известными всем крупными ошибками, я не могу говорить о нем без уважения и считаю своим долгом в последующем изложении своих воспоминаний... правдиво сказать о нем все, что я знаю и что навсегда сохранилось у меня в памяти».

После такого вступления трудно было рассчитывать на то, что Ворошилов станет действительно правдиво рассказывать о событиях своей жизни. Мои друзья говорили мне, что на одном из приемов Микоян, только что прочитавший книгу Ворошилова, подошел к своему бывшему соратнику по Политбюро и прилюдно спросил его: «Как ты можешь, Клим, после всего, что произошло, так писать о Сталине?» Ворошилов рассердился: «Я писал и буду писать, как считаю нужным». Но Климент Ефремович не успел написать вторую книгу. 2 декабря 1969 года он умер, и его с почестями похоронили у Кремлевской стены. Приближалось 90-летие со дня рождения Сталина, и Брежнев с Сусловым активно готовили его реабилитацию, которая не состоялась только из-за активного протеста Польской, Венгерской и Итальянской коммунистических и рабочих партий. Тем временем город Луганск был снова переименован в Ворошиловград, а Академия Генерального штаба стала носить имя Ворошилова, полководца, который не выиграл ни одного сражения в годы Отечественной войны, но понес множество поражений, погубив сотни тысяч бойцов и командиров Советской Армии и сдав врагу десятки городов.

Со времени смерти Ворошилова было сделано немало, чтобы возродить легенду о «красном маршале». Было издано несколько альбомов, посвященных Ворошилову, написаны его новые биографии, организованы два мемориальных музея. Но подновленная легенда уже не смогла утвердиться в сознании советских людей. Много нелестных слов в адрес Ворошилова содержится в книге Карпова «Полководец». В отрывках из воспоминаний Жукова (не вошедших в «годы застоя» в его книгу) говорится, что и в роли наркома обороны, и в роли военачальника Ворошилов всегда был человеком малокомпетентным, что он, в сущности, был дилетантом в военных вопросах. Печать опять напоминает о роли Ворошилова в разгроме советских военных кадров перед войной, о его пресмыкательстве перед Сталиным. Неудивительно, что многие военные требуют снять имя Ворошилова с Академии Генерального штаба, а многие жители Ворошиловграда хотят опять и на этот раз окончательно вернуть городу его историческое название.

В последние годы своей жизни, оправдывая те или иные свои действия или бездействия, Ворошилов часто говорил своим знакомым: «Я хочу, чтобы меня похоронили у Кремлевской стены». Его желание сбылось, и бывший полковник Брежнев возложил венок на его могилу. Но сегодня на этой могиле нет цветов, и люди проходят равнодушно мимо гранитного бюста Ворошилова, рядом с которым стоят на особо почетном месте гранитные бюсты Жданова и Буденного, Сталина и Суслова, Брежнева и Черненко.



Марк
КАБАКОВ

☆☆☆

Никакие в мире короли
Так не стерегли свое богатство.
Сколько огорожено земли!
Сосчитайте, если вам удастся.

За колючей проволокой леса,
За оградой горы и долины,
Сотни километров полоса,
Где души не встретишь ни единой.

Гордых сюзеренов не ищи,
Спрашивать фамилии не надо:
Сядешь на казенные харчи
Там же, где казенная ограда.

...Диск луны застыл, заворожен,
Над поляной — с княжеством Моиако.
«Посторонним лицам... воспрещен».
Палка восклицательного знака.

Лирические

1
Давнишний приют мореходов —
Угрюмый Варангер-фиорд,
Я видел в такую погоду,
Когда уснокоился норд.
Разглядились синие бухты,
Ушли облака за хребты,
И стало так тихо, как будто
На озере радостном ты.
И нет орудийного грома,
И память войны не свербит...
И так хорошо и знакомо
С тобой океан говорит.

2
Журчание ручьев,
Молчание травы,
Зеленою водой
Наполненные чаши...
И птичьи голоса
Из теплой синевы,
Которую с утра
Полярный день украшает.
А рядом, за стеной
Игрушечных хребтов
Двужильный океан,
Ленивый спозаранку...
Вцепившийся в причал
Натруженный швартов,
Команды ревунов
И чаек перебранка.



АНАТОЛИЙ
КЛЕЩЕНКО

Имя Анатолия Клещенко любителям поэзии малоизвестно. В 1957—1958 годах вышли поэтические сборники «Гуси летят на север», «Добрая зависть», «Тибетские народные песни» (перевод с китайского). «Это книга трех каторжников» — так ее охарактеризовал автор предисловия и редактор переводов Л. Н. Гумилев.

Это было время, когда каторжники начинали возвращаться из лагерей. Вернулся в Ленинград и Анатолий Клещенко, осужденный 20 мая 1941 года военным трибуналом по трем статьям: антисоветская агитация, террор и шпионаж. На суде он открыто заявил, о своем протесте сталинской эпохе, признал себя виновным в том, что был поэтом, требовал освободить ни в чем не повинных ребят, проходивших по его делу. При обыске у него были изъяты стихи, публикуемые ниже. Первые стихи Анатолия Клещенко были опубликованы в 1937 году. Вскоре он вошел в литературную группу «Смена», в которую входили поэты: В. Шефнер, И. Михайлов, С. Ботвинник, Н. Новоселов и другие.

Он был арестован по доносу Н. Новоселова. Не зная этого, считал его другом и посылал ему письма из заключения. В лагере продолжал писать стихи, не боясь снова поплатиться за них. Дважды пытался бежать, однажды организовал побег целому лагерю. И страха не ведал никогда. В заключении и ссылке часто использовали его ремесло художника («батьюшкино наследство» — отец был художником).

Вскоре после возвращения в Ленинград Анатолий Клещенко поселился в поселке Комарово. По соседству жила Анна Андреевна Ахматова, с которой он был знаком с довоенных лет. Короткие встречи с Ахматовой были лучшими минутами его жизни. После смерти Ахматовой он засобирился в дорогу: В 1968 году покинул Ленинград навсегда. В 1974 году погиб на Камчатке при исполнении обязанностей охотинспектора.

Б. КЛЕЩЕНКО, секретарь комиссии
по наследию А. Д. Клещенко

☆☆☆

Мы язык научились держать за зубами,
А стихи — не стараться проглотить в нечистоту.
В Темняках,
В Магадае,
В Тайшете,
На БАМе
проходили мы школу умения молчать.

Мы навечно остаемся пылью и шлаком
Для завязших у нас в неоплаченном долгу,
Но сказать, что согласия является знаком
Даже наше молчание, я не могу!

Отпущение страхов

День, ставший светлой праздничною датой!
Обоев прежний цвет не обижив,
В домах еще, как штатный согладатель,
Висел портрет, как все портреты, лжив.

Что ж, человек вовеки был рабом,
Но не всегда спешил уверить в этом
Пусть не в поклоне согнутому горбому —
Хоть этим обязательным портретом.

Что ж, всё и все в итоге только прах.
Мы с самого рожденья были прахом.
Был господином нашей жизни страх,
Он с нами спал, пил с нами на пирах,
Холодным потом прилипал к рубашкам.

Страх угрожал нам стенами тюрьмы,
Конвойных матом, злобою овчарок.
И в этот день — в День Первый после тьмы —
Еще портретов не снимали мы,
За вольную не поднимали чарок.

И если б каплю совести одну
У нас в сердцах эпоха сохранила,
Мы, за собою чувствуя вину,
Глаза б поднять стыдились в вышину
И па стихи переводить чернила.

Она бы нам с кошмарной прямою
Велела помпировать вечно, какова ты,
Людская трусость,
И что в смерти той,
Привыкнув извиваться под пятой,
Мы не были писколько виноваты.

☆☆☆

Не вытешут мне гробовой плиты,
Вепков не сложат возле обелиска.
Ну что ж, умрешь когда-нибудь и ты,
И, судя здраво, это время близко.

В печаль играя, над красявой уриной
Знамена скломят, труб заплачет медь.
А надо мпой, в ночи сырой и бурной,
Лишь карпкет ворон на сосне ажурной,
Завалит труп мой хворостом медведь...

Велик и славен ты.
Мою судьбину
Ни песни не прославят, ни дела.
Но мне, пожалуй, после смерти в спину
Осинового не воткнул кола.

Начальник конвоя

Начальник конвоя играет курком,
Апрельским гоимыми ветром,
Плывут облака над рекой Топорком,
Над Сорок шестым километром.

Начальник конвоя обходит носты.
Ну, дует же нынче ветрице —
Сгоняет снега и сметает кусты,
И кажется издали, будто кресты
Растут па глазах на кладбище.

Растут из снегов в кособоре пустом
Над теми, кто за зиму номер.
Кресты?..
Позаботился кто бы о том!
На колыях дощечки прибиты крестом,
Фамилий не пишется — номер.

Они умирали, не бросив кирпичи,
В карьере, па трассе, в траншее,
Пеллвгры шершавые воротники,
Расчесывая ва шее.

Убиты в побегах, скосила цинга —
Навеки... Дождались свободы.
Начальник глядит на носок сапога:
Не кровь это — вешние воды...

Начальник идет от поста до поста.
Идет, проклиная свободу.
Не спят часовые.
Их совесть чиста:
«Служу трудовому народу!»

Вызов

Пей кровь, как циннапали, на пирах.
Ставь к стенке нас.
Овчарок злобных уськай.
Тони в крови свой беспредельный страх
Перед дуриой медлительностью русской!
Чтоб были любы мы твоим очам,
Ты честь и гордость в наших душах выжег,
Но все равно не спится по ночам
И под охраной пулеметных выпшек.
Что ж, дыма не бывает без огня:
Не всех в тайге засыпали метели!
Жаль только — обойдутся без меня,
Когда придут поднять тебя с постели!
И я иду сознательно на риск,
Что вдруг найдут при шмоне эти строчки —
Пусть не услышу твой последний визг,
Но этот стих свой допишу до точки.

За что?

За то, что мы не ведали: за что же?
Нас трибуналы осуждали строже,
Чем всех убийц, бандитов и воров,
И свиогами вохровцы¹ пинали,
Когда этапом по Уралу гнали
Туда, где стол нас ожидал и кров.

За то, что мы с восхода до заката
Четыре куба резали на брата,
И летом гнус без совести нас жег,
Зимой в одних рубашках было жарко,
Нам, кроме пятисотки и приварка,
В ваграду полагался пирожок.

За то, что, хлеб свой добывая в поте,
За месяц доплывали на работе
Так, что не поднимались после с нар,
Комдея нам давали трое суток.
Потом, чтобы не врезали без шуток,
Тащили на руках в стационар.

За то, что мы там хлеб свой даром жрали,
По полпайка у нас лекпомы крали,
Раздатчики — по четверти пайка,
А КВЧ² читал свои морали.
И мы легко и тихо умирали,
Одни другому говоря: «Пока!»

За то, что нам не доставало силы
Рыть для себя глубокие могилы —
Когда весною таяли снега,
В зеленых лужах наши труны гнили:
Нас без гробов ненужных хоронили,
Раздев в стационаре донага.

Четвертый день

Четвертый день Петров лежит на нарах,
Накрытый одеялом до бровей,
Затылком стриженным на чуяях старых.
Четвертый день.
И с каждым — лпловой
Открытый лоб.
Три дня его фуфайку
Дневальный носит — малость велика.
Три дни соседи получают пайку,
Баланды три литровых черпака,
И меж собою делают без обмана.
Он на проверку не встает три дня.
Дневальный — вор по кличке Пол-Ивана —
Кричит:
— Больной в бараке у меня!
Вахтер скользит по одеялу взглядом.
Уйдет — смеется.
Смех, как ругань, груб.
Четвертый день лежит в бараке труп.
Воинский труп с еще живыми рядом.

☆☆☆

Не развпка и не туник.
Дали есть и дороги в дали.
Есть, наверно, пути напрямик —
Разве матери зря рыдали
По ушедшим во тьму или свет,
Но летевшим, как бабочки, к свету?
Даль-то есть, но охоты нет
Сиоива в даль устремляться эту.
Оттого, что кнутом,
Крестом,
Дыбой, ядом, медовой речью,
Колымой, бухенвальдской печью,
Как шенка за своим хвостом,
Понуждали нас гнаться вечно
За мечтою.
И мы устали.
Нам становится все равно,
Та дорога у нас, не та ли?
Вдруг шагнешь — и прорвешь полотно,
Размазанное под дали?

☆☆☆

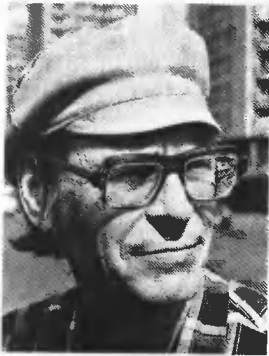
Кто говорит, что измереньям нету
И напрааленьям времени числа?
Счет вел им тот, кто юной знал планету —
Землей, а не ладью без весла.

Хотел богов — и возникали боги,
Он звезды мнил цветами темноты,
Он жил без поисков и без тревоги,
Своей не сознавая наготы.

Мы под броней и одеждой голы.
Броня освещена и тяжела.
Мы домислов боимся, как крамолы.
Робеет дух, но брениные тела,
Хоть и не ведая, на что похожа
Даль, видимая формулам пока,
Предчувствуют,
Как холодеет кожа
В полете сквозь пространства и века.

¹ ВОХР — военизированная охрана.

² КВЧ — культурно-воспитательная часть.



**Юрий
БЕЛАШ**

Прошлой зимой и весной Юрий Белаи часто звонил мне по телефону и говорил: «Послушайте-ка, Слава, что я недавно написал», — и читал мне строки каких-то странных, необыкновенных стихов, а после спрашивал: «Ну как, по-вашему, стихи это или нет?» Я отвечал, что, по-моему, это стихи, так как в них есть все компоненты стихотворения и, главное, есть мысль. «Валя (поэт Берестов) тоже говорит, что вроде стихи...» И так каждый раз, такой вот разговор... Называл он эти свои стихи «стихопрозой», которой только и может он писать на эти темы, потому что здесь излишни, как кажется ему, рифма и даже ритм. Думается, Юрий Белаи был прав. Теперь, когда цикл этих стихотворений стал публиковаться, я уже не могу представить их написанными как-то по-другому и убежден, что после долгих поисков и сомнений Юрию Белаи удалось найти форму для выражения того, что он хотел сказать.

Мне очень хочется, предваряя эту подборку, процитировать еще одно стихотворение: «Люди — нетерпеливы... (Если в гордиев узел завяжет история жизнь) непременно найдется какой-нибудь муж (у которого руки зачесутся — разрубить этот узел). И разрубит... И задаст работенку не одному поколению: (восстанавливать звенья разрушенной цепи)».

До боли обидно, что жизнь Юрия Белаи оборвалась в самый пик его поэтической работы. Сколько бы еще мог он написать...

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ

☆☆☆

Я много читал Ленина и о Ленине.
И у меня сложился образ этого человека.
Но я никогда не встречал людей,
похожих на него,
и понял: гении табунами не ходят.

Я много читал Сталина и о Сталине.
И у меня сложился образ этого человека.
И я так часто встречал людей,
похожих на него,
что понял: да, гении табунами не ходят.

☆☆☆

Ничто, превращенное в нечто, уже аргумент.
Дело только за логикой — и пиши, чего хошь:
статью, реферат, обвинительное заключение...
И бьюсь об заклад — не каждый заметит подлог,
потому что ничто, превращенное в нечто,
уже аргумент — фальшивый, но аргумент.

☆☆☆

Он любил человечью серятину. Только
в такой гоп-компании и чувствовал себя
в своей тарелке, и только на таком фоне
тем, кем и хотел себя чувствовать: первым,
и, наверное, ох бы разгневался, аельможный,
когда бы узнал, что он — первый среди равных.

☆☆☆

Закон — законом,
а Нерон — Нероном.

☆☆☆

С чем только тогда не боролись!
С поэзией Есенина — боролись.
С кибернетикой — боролись.
С обручальными кольцами — боролись.
С гипотезой расширяющейся вселенной — боролись.
С церковной архитектурой — боролись.
С названиями улиц — боролись.
С музыкой Прокофьева — боролись.
С генетикой — боролись.
С регби — боролись.
С кипарисами — боролись.

С одним только не боролись — с невежеством.

☆☆☆

Он приучил людей хвастать, хотя она и без него
любили похвастать, но он возвел хвастовство
на уровень государственной политики и, карая
за невинную критику, не карал за безудержное
хвастовство, вот так и самоутверждались...

☆☆☆

Он умер... Но система, которую он основал,
уничтожая одних и выдвигая других
на хлебные должности, остается. И ее не скоро
сломаешь, даже если и будешь стараться:
корни ее — в толще невежества и эгоизма,
и они каждый год, в любую погоду,
шлют и шлют роты, батальоны, полки
своих молодцов с ухватками конквистадоров
на хлебные должности...

Штукатурка

«Башню на Фаросе, грекам спасенье, Сострат Дексифанов.
Зодчий из Книда. воздвиг, о повелитель Протей!»
Надпись на Фаросском маяке.

А штукатурка все же отвалилась,
как и рассчитывал Сострат!

Он сделал так:
воздвигнув по приказу Птолемея,
царя Египта,
Фаросский маяк,
Сострат
на мраморной плите
свое оставил имя для потомков;
плиту оштукатурил,
осыпав мраморной пылью,
и поверху
аршинно вывел имя Птолемея...

Прошли года —
и штукатурка отвалилась,
как и рассчитывал Сострат.

☆☆☆

Этой манерой — говорить без эмоций, ровно и тихо —
он владел артистически. И она впечатляла!..
Вообразите то время шекспировских противоборств,
и — игра на контрасте, конечно, — негромкий,
спокойный, почти гипнотический голос с мягким
грузинским акцентом... Это одно принуждало
внимательно слушать и ожидать откровений,
а если их не было — принимать и обычное
за необычное: ставка на самообман, психологически
верная... И потому он казался, несмотря
на невзрачный свой рост, 160, глыбой, скалой
в бушующем море страстей человеческих.
Да еще и его псевдоним — металлический...

Публикация Л. Г. СЕРГЕЕВОЙ



Происшествие с козой.
Из серии «Чудеса Нечерноземья»
Офорт. 1981 г.

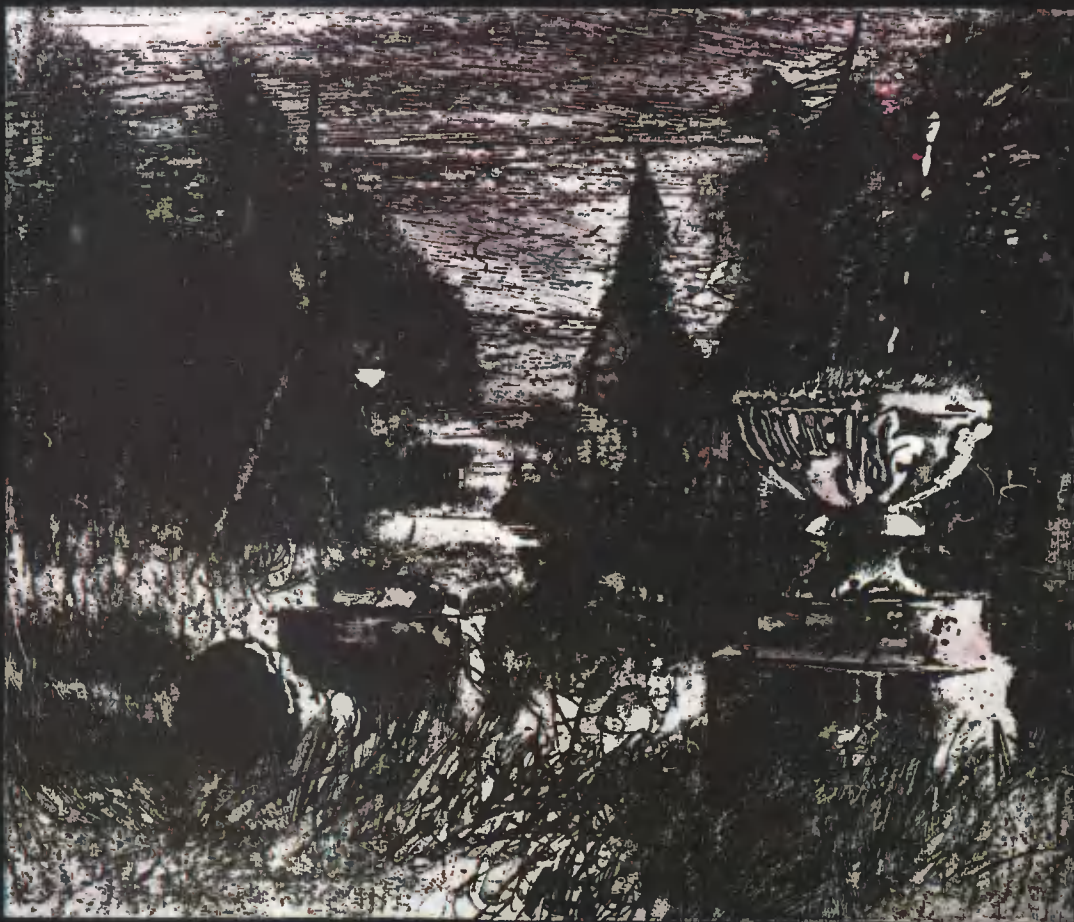
Олег КОКИН
Москва.



Дерево.
Из серии
«Чудеса Нечерноземья»
Офорт. 1981 г.



Тень.
Из серии
«Terra incognita»
Акварель. 1989 г.



Парк культуры.
Из серии
«Чудеса Нечерноземья»
Офорт. 1981 г.



Волна.
Из серии
«Terra incognita»
Акварель. 1989 г.



Скорая помощь.
Из серии
«Чудеса Нечерноземья»
Офорт. 1981 г.



Родник.
Из серии
«Terra incognita»
Акварель. 1989 г.

Игорь
ОБРОСОВ

«КРАЙ РОДНОЙ ДОЛГОТЕРПЕНЬЯ...»

Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

«Не слепок, не бездушный лик» — эти строки поэзии Федора Ивановича Тютчева приходят ко мне, когда я прикасаюсь к графическим листам нынешнего творческого времени художника Олега Кокина.

Вы зрите лист и цвет на древе,
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних чуждых сил?..

К сожалению, с горечью теперь мы осознаем, что действительно слишком уж много в нашей жизни и творчестве художников было этой, так называемой игры «внешних, чуждых сил».

Путь творчества Олега Кокина мне отлично знаком и близок, и мне вспоминается одна из Всесоюзных эстампных выставок в Центральном Доме художника на Крымской набережной, где экспонировались работы Олега Кокина, а это была черно-белая графическая серия офортов о природе и земле, о том, как неуютно этой природе и земле нынче в «добрых» руках хозяина — человека, опутавшего ее, мать родную, земельку, проводами, сливными ржавыми трубами, истерзавшего девственную красоту лесов, полей и весей, обезобразив святой лик матери-земли «деяниями» рук своих.

Сейчас это называется борьбой за экологию, сохранение природы. Тогда же, в те годы... На той выставке эстампа у работ Олега задержался некто из категории чуждых внешних сил. В ту пору первый замминистра культуры РСФСР Е. В. Зайцев, непродолжительно оглядев графические листы и не обнаружив на полях тучных посевов хлебов и стройных рядов могучей сельхозтехники, изрек: «Молодой еще художник, а ничего не увидел на родной земле жизнеутверждающего, подлинного социалистического реализма. Одна чернуха и мрачность. Нужны нам, конечно, свои Салтыковы и Щедрины, но...» Не усмотрел, не узрел функционер от искусства той горькой боли за землю свою, за отечество.

Эти бедные селенья,
Эта скучная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не внял печали, не заметил гласа вопиющего молодого тогда еще художника, досталось ему тогда за эту боль, и мне как организатору выставки в целом перепало.

Не их вина: нойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой.



Фото Леонида Шимаковича

В начале 80-х годов серия офортов состояла из четырех листов под названием «Чудеса Нечерноземья». По тем временам такое название соответствовало требованию выставкомов, но не соответствовали изображения разрушенного храма, одинокой козы на клочке земли, электрифицированного дерева или брошенной «Скорой помощи». В дальнейшем еще прибавились листы к этой серии, и, чтобы не дразнить гусей, Олег стал давать ее в каталогах под названием «Пейзаж из поезда», а еще позже просто «Экология».

Вспоминается мне, как сотворялась эта серия. Рождалась она у меня на глазах в совместной товарищеской творческой поездке по русскому Нечерноземью — Тверской, Ярославской земели, по Пушкин-

ским местам — Торжок, Грузины, Старица, Берново. В рисовании, в разговорах, в преодолимых конфликтах, в застольях, неожиданности встреч с людьми и их поступками проходили будни бродяжнического хождения по земле. Казалось, как мало было значительного. Но как важно обозначилась вся эта поездка, отозвалась в творчестве Олега Кокина.

Мне нравится самый первый лист этой серии под названием «Храм». Олег как бы определил концепцию всех восьми листов. Не случаен черный цвет паспарту. Передо мною сразу возникают кадры фильма «Сталкер» А. Тарковского. И тут зона — куда идти-то и не хочется, а железнодорожный светодор проносится, неизвестно куда открывая путь. Это и есть наше до боли знакомое Нечерноземье с его «чудесами», как в «Проществии с козой» или в офорте «Парк культуры» этой же серии.

Много отдано и через себя пропущено в раннем сериале, посвященном Пушкинскому кольцу Верхневолжья¹ — истории Тверского края. Помнится, подъезжали к Грузинам, где имение Полторацких, друзей А. С. Пушкина. Подивились... Да не богатству архитектурного ансамбля имения Полторацких, а окружавших имение белокаменных прочно поставленных показушных деревенских домов с прирубленными деревянными дворами. Что за дивь! На спрос оказались потемкинские деревни... По проезду Екатерины-императрицы были построены они помещиком Полторацким для крестьян. Усмехнулся Олег: «Вот так, Игорь. Вот она, показуха-то, еще с каких времен в крови нашей русской. Аж еще с Екатерины-императрицы».

Олег окончил Московский полиграфический институт, начинал как иллюстратор, как художник книги, но станковая графика с ее независимостью привлекла его больше. Он родился и вырос в Москве. Горожанин и по образу жизни. По работе, по ритму, по распорядку дня, по торопливости. И все нет времени, и все некогда. И главное, что некогда обратиться к себе, а это так важно для художника. Через обращение к себе обратиться к другим со своими кровными, близкими болями. Живя в наше неоднозначное время, когда разрушены нравственные основы души человека, понимал, что очень важно сейчас биться за экологию природы, за восстановление памятников архитектуры и культуры, но еще более важно — это воссоздание самого человека, возведение бога в самом себе, своего личного, а не для всех. Общий Бог — это духовное тунеядство. Нужно Бога сотворить в самом себе или царя в голове, как говорил Федор Михайлович Достоевский.

И Олег это понимает. И его поиск однозначен — это доверительный разговор с землей, природой.

«Terra incognita» — так названа новая серия акварелей, задуманная им в большом количестве. Олег говорит: «Может, название нескромно, но мне кажется, что у человека есть врожденный инстинкт созерцания земли. Того, что под ногами. Не зря человек замирает, когда смотрит на угли затухающего костра или на течение ручья. А родник? Находясь в лесу или в своем саду, вы часто ловите себя на том, что неотрывно смотрите на космическое пространство муравьиного жилья, старого, заросшего пня или на движение тени от солнца в траве у ног, где упавшие яблоки — как планеты».

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум.

Поездки на природу. Прильнуть к земле, к цветам, рассмотреть причудливый мир жизни, осознать пре-

красность сотворенного. Как бы сквозь призму увеличения взглядеться в этот скрытый, потаенный для внешнего взора мир, впитать его и, пронеся через свою душевную глубину, открыть ближнему, коему всегда некогда, всегда в спешке, всегда не до себя, не до природы, не до земли-матери. В одной из своих поездок сам Олег испытал чудо. Весеннее чудо половодья — ледоход на реке Нерли близ деревни Слепцово. На весеннюю мартовскую ростепель выбрался приглядеться, порисовать и пописать. Сидел на взгорке, черкая мягким карандашом деревенские покинутые дома, завалившиеся заборы и оградки. Светлая печаль, начало весны с ее ласковым, нежным, негромким многоголосым песнопением птиц, говор разбегающихся по склону к реке ручейков и речушек. И вдруг глубочайшая тишина над рекой, словно дирижер вскинул палочку, с минуту, две, затем вдали, оттуда, из поворота, сверху донесся нарастающий гул, словно глубоко завздыхало невиданное огромное существо. Одновременно всю поверхность ледяного панциря пронизали трещины, словно белую холстину полотна во многих местах располосовали острым лезвием ножа. И, ломая и наползая друг на друга, лед тронулся, пошел, напирая по всей реке, набрасываясь на берег и, словно бритва, срезая и подминая поросший вдоль берега кустарник, разной величины деревья и деревца, прихватывая на ходу валявшиеся на берегу старые рыбацкие лодки, бревна, ограды и всякую деревенскую рухлядь.

Впервые, а быть может, больше и никогда не испытывал ничего подобного художник. Лови мгновение... Для горожанина это чудо, для художника это века сопричастности к действу времен года, к неумолимому ходу истории.

А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег.

И все это пережитое художнику нельзя носить в себе. Его восторг, печаль, одержимость должны быть донесены людям. Это им необходимо.

Это осознает, как долг, как веру, как призвание, как красоту, как путь, художник Олег Кокин. И одержимо по этому нелегкому пути устремляется.

Пожелаем ему веры в своего Бога, в себя и веры в других.

¹ «Юность» № 6, 1987 г.



Нонна
СЛЕПАКОВА

Перед собой

Как легко ошибается пристальный взор!
Из окна электрички, далечко —
То ль седой от дождей, серебристый забор,
То ль от ветра ребристая речка.

Ошибается слух: разбирай, узнавай,
Что звучит ему ночью, бедняге, —
То ли близкий комар, то ли дальний трамвай,
То ли нервы заныли в напряге...

Ошибается ум: друг тяжел и угрюм,
Враг приветлив, душевной родного...
То ли вздох парусов, то ли каторжный трюм,
То ли шаткая палуба Слова.

Заблуждаются разум, и зренье, и слух,
Устремляясь наружу, вовне.
А внутри безошибочно щелкает дух,
Начисляющий должное мне.

Старому другу

Как рано в жизни начало темнеть,
Как зябко нотаинуло холодком...
Ты позвони, зайди, расставим снедь,
Побалуемся кофею, чайком.

А то и просто так, без кофейка,
Для сердца вредно: кофени, тени...
Поговорим, — дорога далека,
Я шла по ней одна, и ты один.

Как ноздно в жизни начало светать, —
Так тяжело, неохотно, что нотом
День даже вовсе может не настать...
Поговорим иль помолчим о том.

Поговорим о том, как шли да шли,
С кем рядышком, а кто нас обгонял
И кутал нас в ликующей пыли,
И на дорогу денежку ронял.

Я ни монетки не подобрала,
Ни пяточка, Госнодь оборони.
Ты, если подбирал, — твои дела,
И если двушку поднял — позвони.

Провокатор

Подпольщик, тонкий конспиратор,
Чтобы вернее скрыть следы,
Заняться вынужден развратом,
Взять вин по карте и еды.

Здесь не мавка и не явка,
Здесь ресторан, и здесь, визжа,
С ним кутит женщина-пиявка,
Конечно, огненно-рыжа.

Нет, не бесилотная курсистка,
Маньячка, дева-Робеспьер, —

Нет, эта женщина мясиста,
Вся из подвижных полусфер.

Он гложет косточку баранью,
Он пьет, — и движется кадык,
И взор блуждает по собранью
Продажных ирелестей молодых.

Всем этим временно владея,
Он постепенно входит в роль.
Обалдевает в нем Идея,
Он шепчет «выпьем», как пароль.

Что там снаружи? Шпик, охранка,
Тюрьма, листовка, динамит...
Эх, шарабан, американка,
Не позабыться ни на миг!

Он дышит жирно, виноградно
На зановешую судьбу,
Преображаясь безвозвратно
В того, с кем прежде вел борьбу.

Он думает: «Борьба и Дело
В известном смысле — только тлен.
А Душу отдавать за Тело
Есть не предательство, обмен!»

Сам над собою вельзевулся,
Он, бездуховно хохоча,
С тюремных и кабацких улиц
В гесену гонит лихача.

Сновиденье на мотив старинной считалки

Что над нами? Что над нами?
То, что было городами —
В красной пудре кирпича,
В слюдяной, зеркальной крошке...
И века стоят, как мошки,
Воздух лапками толча.

Что над нами? Что над нами?
Милый, в общей этой яме —
Все над нами. Вся земля,
Диким вспоротая плугом.
Ты со мною. Все друг с другом.
Все сравнивались до нуля.

Что над нами? Что над нами?
Речи нету об Адаме,
Далеко до райских кущ.
Посади, Господь, былинку,
На нее пролей роснику,
Коли, и правда, всемогущ.

Безумец

Безумца ласкают виденья
Далекого мира того,
Где был он еще до рожденья,
Где будет он после всего.

Там правду срамную ирикрыла
Морскою лазурью земля,
И арфа ильвет, как ветрило,
Со струнами, но без руля.

Колесилась, илавучие струны
Манят в никуда — и домой.
Молочного счастья буруны
Вскинают за тихой кормой.

Но — море пропорото шприцем,
И рвутся волокна мечты.
Больной возвращается к лицам,
К предметам земной ирароты:

Он видит шерстистую руку,
Ведущую смысл в поводу,
Он виемлет жестинному звуку
Тележки, везущей еду...

И, света не взвидев, безумец
Кидается с криком в окно,
Где блещет, навеки связуясь,
Распоротое полотно.

г. Ленинград

20 КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ



Мы поведаем историю о запрете конференции Товарищества Льва, хотя она достигла в свое время центральной прессы. Есть смысл вернуться к ней в контексте тревог нынешних, ибо нас интересует, как живет неформалом в городе Львове, в зоне повышенной бюрократической активности и политической напряженности.

Из речи Ореста Шейки, первого председателя Товарищества, 23 октября 1988 года. В те дни «львятам» исполнился год...

«...Мы пригласили вас на отчетную конференцию Товарищества Льва, которая должна была открыться в помещении Окружного Дома офицеров. Мы хотели поговорить о тех проблемах, которые возникали, обсудить с вами, каким образом их решать, услышать вашу критическую оценку.

Мы признательны вам за присутствие в эту трудную минуту, когда учинен акт административного произвола. Без каких-либо официальных объяснений сегодняшнюю конференцию запретили, а Товариществу отказано в уже арендованном помещении. Непосредственная ответственность за это лежит на городском комитете партии и горисполкоме.

Мы также признательны за поддержку горкому комсомола. Не все из вас знают, что вазавчера пленум комсомольцев города, несмотря на давление, единогласно выступил за проведение конференции. И хотя к мнению актива столятидесятилетнего комсомола города никто не прислушался, он и сегодня с нами. Мы признательны бойцам комсомольского оперотряда, которые пришли сюда, чтобы вместе с нашими дружинниками обеспечивать общественный порядок. Просим всячески помогать им в этом...»

Здесь уместен автокомментарий Ореста Шейки:

— Борьба бюрократии с Товариществом — это борьба за политическое влияние. Методы же красноречиво свидетельствуют, за кем оно, это влияние. А тут ими руководил еще и страх перед идеей Народного Фронта, которая витала в воздухе и могла бы прозвучать на конференции. Когда стало ясно, в какую сторону развиваются события, — когда нам последовательно отказали в предоставлении нескольких залов, например, — мы дали начальству письменное обещание не трогать этот вопрос, да и некоторые другие вопросы. Но ничего не помогло.

«...Сегодня мы столкнулись еще с одним фактом преследования бюрократией Товарищества Льва — общественной организации, которая своей бескорыстной деятельностью во спасение народной культуры, памятников старины, экологии снискала себе признание не только в области, а по всей республике. Вот и сегодня во Львов прибыли

делегации культурологических, природоохранных обществ не только из Франковска и Ровно, Нестерова и Рогатина, Киева и Полтавы, но и представители из Москвы и Ленинграда, Прибалтики и Белоруссии. Мы будем признательны им за осуждение того неподобающего, которое творится на ваших глазах. Мы не останемся бездейственными. Мы потребуем привлечь к персональной ответственности всех тех, кто оскверняет идею нравовой державы.

Анирратное руководство стало фактически инициатором провокации, прекрасно понимая, что за день мы не сможем уведомить всех приглашенных о запрещении конференции, что сегодня здесь соберутся люди, то есть вы...»

Автокомментарий Ореста Шейки:

— Людей перед Домом офицеров собралось несколько сот. В том числе и гости, хотя наши пытались увести их — город посмотреть или к себе на кофе, или еще куда. Надо было и отвести удар от гостей, или, скажем так, принять его на себя, — и сохранить Товарищество. Потом, когда шли по улицам, гостей взяли в середину колонны, а «львята» — по краям. Чтобы прочувствовать ситуацию, надо знать, что семнадцатилетние девочки, только получившие паспорта, брали их с собой, готовые ко всему. В аэропорту стоял автобус, и громкоговоритель приглашал всех прибывших на конференцию Товарищества Льва воспользоваться этой пустяковой услугой — специальным автобусом. Найдись желающие, их бы, скорее всего, покатав немного, посадили на обратный рейс, как делали у нас с футбольными фанатами...

Мы понимали: дело идет о существовании Товарищества. На ночных бдениях Рады, накануне решающих событий, был выработан план действий, которому старались следовать. И, в общем, это удалось. Что требовалось? Только одно выступление перед закрытыми для нас дверями. Только одно — чтобы не сошло за митинг. Поэтому я должен был говорить предельно остро по содержанию и предельно эмоционально по форме — чтобы некому и нечего было добавлять. Взяв потолок остроты и эмоциональности. Получилось ли?

«...Как же нужно бояться собственного народа, молодежи, чтобы принимать такие решения! Нас провоцируют на митинг. Какой прекрасный повод расправиться с нами! И не только с нами — это удар по всем нам. Но пока еще законность за нами, а нарушение законности за ними. Указ не распространяется на собрания общественных организаций, которые проходят согласно их статуса и Положения».

Автокомментарий Ореста Шейки:

— Что же до эмоций... Не хотел говорить, но никогда раньше у меня не немели пальцы... А когда шли на Лычаковское кладбище, были выделены ребята, готовые нести меня. На самом кладбище они от меня тоже не отходили: деятелей известного рода там было полно. Когда одного из наших все-таки увезли, ребята хотели вступить, но я не позволил: только того и ждали...

Почему кладбище? Мы рассуждали так. На кладбище нельзя кричать, митинговать, драться — словом, нельзя провоцировать. Но был тут и символический смысл, ведь Товарищество начиналось с суботников на Лычакове. И теперь мы возвращались к началам...

Это был последний день моего председательства. Собственно, уже накануне меня переизбрали, в строгом соответствии с нашим уставом, где записано — «один год». Но Игорь Грынйв, новый председатель, сказал мне: «Побудь еще — последний раз».

«...Мы сегодня имеем прекрасную возможность носмеемся над ними... Способом нашего протеста станет труд. Память предков вызывает к нам разрушенными могилами. Сегодня, в наш нервный день рождения, мы проведем на Лычакове воскресник — и выроем яму застойным являнам!...»

Рустам РАХМАТУЛЛИН

КОММЕНТАРИЙ «20-й комнаты»: «Львята» говорят на языке культуры. Власть не понимает. Власть не знает, чего нельзя делать на кладбище.

Существуют, видимо, два языка — государственно-административный и культурных людей. Следует бороться за придание этому второму статуса первого. Только и всего.

Осталось сказать, что нет сегодня во Львове более популярной общественной организации, чем Товарищество Льва. Начав с ухода за некрополем и «зеленой толоки», оно превращается, видимо, в модель гражданского общества в городском масштабе, в некую параллельную структуру, охватывающую своими инициативами, одну за другой, все области общественной жизни. В терминологии власть предержащих — «группа риска».

Что ж, риск — взять на себя Шевченковский праздник в области. Риск — вечер памяти композитора Ивасюка. Риск — попытка возрождения керамических промыслов в деревне. Риск — экологическая экспедиция по Днестру, на катамаранах. Риск — зарабатывание денег («благотворительной спекуляцией» называют в шутку «львята» это направление своей работы). Риск — организация рок-фестиваля, имеющего статус престижным. Риск — составление и издание сборников песенного фольклора. Риск — реставрация костела Эльжбеты. Риск — лаборатория независимой экологической экспертизы. Риск — выдвижение своего кандидата в народные депутаты. Вертепы — риск. Риск — все еще — быть.

А теперь сопоставим:

23 октября — 30 октября. Львов — Минск. Шествие — шествие. Кладбище — Кладбище. Идея Народного Фронта — та же идея. Товарищество Льва — Тутэйшыя, Мартиролог, Талака.

Антураж, время, фабула — те же. Развязка, впрочем, разная — к вопросу о политическом искусстве. А будущему истории перестройки — на заметку.

Р. С. 12 марта во Львове разогнан с избиванием людей многотысячный предвыборный митинг. 13 июня запрещена конференция Общества родной речи, причем запрет снова обернулся шествием протеста.

Почерк тот же...

Львов воспринимается многими как бастион украинской культуры, город непрерывной, нескончаемой традиции. Поэтому «львята» — члены Товарищества Льва — никому не покажутся экстравагантными чудачками, когда в очередной раз учинят Вертеп — древнее, религиозное в основе, театрализованное шествие-представление. «Вертепы Товарищества Льва имели для города значение духовной революции» — свидетельствуют горожане.

Микроисследование

«... Вносились ли деньги в Международный Красный Крест во время девятилетней войны в Афганистане на содержание советских военнопленных? Ведь там воевали и, конечно, попадали в плен. Если деньги вносились, то с какого времени?»

Владимир КУЗНЕЦОВ.

Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца вносит деньги в Международный Красный Крест для этих целей с первой половины 1988 года. Деньги вносятся в полном объеме и полностью покрывают расходы этой международной организации на поиск, выкуп, перевозку советских пленных. Точная сумма расходов не сообщается по тем же обстоятельствам, по каким не публиковался полный список наших солдат, попавших в руки «муджайхеддинов». Как известно, оппозиция не признает Женевских конвенций в отношении пленных, и публикация этих данных может привести к самым печальным последствиям. До 1988 года никаких денег специально для этих целей не вносилось из-за того, что Министерство обороны категорически отказывалось предоставлять полный список всех наших солдат, пропавших без вести. Только теперь стало возможным перечислять весь необходимый объем средств. Сегодня представители Миссии Международного Красного Креста, наделенные мандатами и полномочиями, делают все возможное, чтобы спасти тех, кто еще находится у представителей оппозиции в Пакистане, Афганистане и других странах.

Информацию предоставил 1-й заместитель Председателя Исполкома Совета Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Алексей Дмитриевич ТЮЛЯНДИН

На телефоне дежурил А. ЖИЛИН

Рекламный ролик

В ВУЗ — ПО ПОЧТЕ

Господствовавший во многих общеобразовательных школах лозунг «Школа а вуз не готовит» привел к необходимости других способов подготовки к вступительным экзаменам, помимо школьных занятий, факультативов и т. п.

При АН СССР создан Центр научно-технической деятельности, исследований и социальных инициатив. При нем образовано научно-педагогическое объединение «Перспектива». В рамках этого НПО действуют Всесоюзные заочные подготовительные курсы для вступающих в высшие учебные заведения. К этой работе удалось привлечь ведущих специалистов, авторов пособий и опытных педагогов. Стоимость обучения варьируется в зависимости от потребностей и от выбора абитуриента. От 210 рублей за полный курс обучения по одному предмету (начинать занятия можно с 8-го класса) до 27 рублей за обучение по справочно-информационному пособию. По сути дела, впервые создается целостная система заочного обучения для вступающих в вузы. Ведь большинство имевшихся до сих пор пособий были рассчитаны на самостоятельные занятия или предназначались преподавателям в качестве материала для подготовки занятий. Прием на курсы ведется независимо от уровня начальной подготовки, занятия носят индивидуализированный характер в зависимости от текущих успехов, специфики избранного вуза и т. д. На курсах работают энтузиасты заочного обучения, которые будут рады вам помочь, если вы обратитесь по адресу: 129110, Москва, ВЗПК.

ВЫПОЛНЯЯ ПРИКАЗ

Уважаемые товарищи!

После статьи Владимира Лукьяева в вашем журнале я не выдержал, взял за перо: уж очень похоже все то, что рассказано о выселении балкарцев, на те позорные «операции», в которых мне пришлось участвовать 45 лет тому назад.

9 мая 1944 года литературным эшелоном (нигде не останавливаясь) наша часть войск НКВД, в которой я был рядовым солдатом, прибыла в Крым. От станции Джанкой мы повернули на Керчь, где и обосновались. Шли разговоры о том, что мы должны вести борьбу с отрядами татар-добровольцев, оставленных немцами в крымских лесах. Однако, как выяснилось, мы прибыли совсем для иных дел.

В Керчи некоторое время мы несли гарнизонную службу, а 15 мая наша рота была переброшена в район Ленинское. В ночь на 18 мая мы были подняты «в ружье» и несколько часов куда-то шли по бескрайней степи. В 3.30 утра подошли к степному аулу Ойсул, и только тогда нам сообщили цель нашей операции — выселение татар. Ручные пулеметчики остались в оцеплении, а из остальных были сформированы тройки во главе с сержантами, офицерами и керченскими оперативниками.

В 4.00 началась операция. Мы заходили в дома и объявляли: «Именем Советской власти! За измену Родине вы выселяетесь в другие районы Советского Союза!» На сборы давалось два часа, каждой семье разрешалось брать с собой 200 килограммов груза. Операция подготовлена была блестяще: в аул прибыло столько новеньких американских «фордов» и «студебеккеров», что они вывезли все население за одну ходку на ближайшую железнодорожную станцию Семь Колодезей.

Операция сама по себе была безнравственной, но и на ее фоне выделялись отвратительные сцены: старуха, обезумев от горя и неожиданности, бросилась бежать в степь и была срезана пулеметной очередью; безногого инвалида, на днях вернувшегося из госпиталя домой «по чистой» и заявившего о своих правах, волоком потащили к машине и, как куль муки, бросили в кузов... К 12-ти ночи все эшелоны с выселенными покинули пределы Крыма. Имущество и скот выселенных были брошены на произвол судьбы.

А через месяц, в ночь на 24 июня, мы вновь двинулись из Керчи в поход и к утру прибыли в прибрежное село Марфовку (между Керчью и Феодосией), населенное болгарами. Нам было объявлено, что мы будем выселять жителей этого села, а по всему Крыму в этот день выселяются, кроме болгар, греки, армяне, караимы и цыгане. Людям мы должны говорить, что прибыли помогать косить сено. Так мы и поступили. Разойдясь по выделенным нам участкам, мы, как будущие «шефы», радостно были встречены хозяевами, не поскупившимися на выпивку и угощения для бескорыстных «помощников». В назначенное же время, когда в село въехали автомашины, мы объявили хозяевам: «Именем Советской власти...»

Татар, оказывается, мы выселяли «гуманно»: как я уже говорил, два часа на сборы и 200 килограммов груза на семью, а тут — 20 минут на сборы и груза, что унесешь в руках. К тому же было организовано соревнование между группами: кто раньше закончит свой участок. На деле вышло, что люди хватили не самое необходимое, а что попало под руку и тут же выталкивались прикладами...

Выселения в том виде, как они проводились, — это акции, по своей гнусности, по физическим и моральным мукам ни с чем не сравнимые. Те, кто в своей жизни не подвергался этому, не может, пожалуй, в должной мере представить весь их трагизм. Между тем даже сейчас, во время гласности, об этом пишут очень мало и весьма сдержанно, хотя в истории подобных аналогов найти невозможно.

После начала первой мировой войны в России активизировалось антинемецкое движение, однако царь Николай II не додумался до выселения немцев. И только Сталин, руководитель первого в мире социалистического государства, нашел обоснование столь варварским акциям.

В то время я и почти все рядовые солдаты были очень молоды — мне было тогда 19. Мы честно выполняли все приказы и распоряжения командиров...

Сейчас, уже на склоне жизни, мне хотелось бы этим письмом хоть как-то снять с души грех за невольное участие в тех позорных делах.

А. ВЕСНИН, агроном, участник войны
г. Мелитополь

Читая это письмо, убеждаешься, что не веревелись на Руси совестливые провинциальные интеллигенты. Пуганные, теснимые, они, однако, не стигнули в лихолетье и спешат сегодня вновь заявить о себе.

Я побывал в Мелитополе и познакомился с Алексеем Леонтьевичем Весниным и его женой Еленой Петровной. Что удалось им в жизни? Дом построить, сад развести, вырастить сына, собрать хорошую библиотеку. Агроном Веснин, работая и в Институте садоводства и в сельскохозяйственной школе, ратовал за правду и справедливость и немало претерпел, но у семейного очага находил участие и заботу.

Он вырос в семье учителя математики, который не считал возможным скрывать от сына своего безразличного отношения к Сталину и его камарилье. В сорок первом Веснины не успели эвакуироваться — фашисты перехватили их эшелон, — и много лет Алексей Леонтьевич был вынужден писать в анкетах, что два перых военных года находился на территории, оккупированной немцами. В октябре сорок третьего, сразу после освобождения, он пришел на призывной пункт, где в этот день доукомплектовывалась пописная часть НКВД... Демобилизован был лишь в сорок седьмом.

Он говорил мне, что, выполняя в Крыму приказы своих командиров, он был в смятении. Но лишь спустя несколько месяцев, когда их часть перебрасывали на запад, во время недолгой стоянки в Мелитополе ему удалось познакомиться с отцом и выговориться... А у многих своих однополчан (особенно тех, кто командовал) он и сейчас, участвуя в традиционных встречах, не может найти понимания.

Когда он отправил в «Юность» это письмо, Елена Петровна разволновалась. Она признавала, что ее Алексей, выйдя на пенсию, не может жить лишь садовыми заботами и составлением кроссвордов (с детства составляя кроссворды, он достиг в этом деле великого мастерства). Он продолжал сочинять и сатирические стихи для местных газет. Однажды, сочтя Веснина молодым перспективным автором, им заинтересовался «Крокодил». Но это письмо... Гордясь своим мужем, Елена Петровна, однако, никак не могла совладать с былыми страхами, — она ведь тоже всю жизнь писала в анкетах, что находилась в годы войны на оккупированной территории...

Она говорила мне:

— Если бы вы знали... Может быть, стоит убрать из письма хотя бы рассуждения о грехе?

— Я не хотел бы огорчать жену, — говорил Алексей Леонтьевич. — Да, мы не припылили мыслить еще такими понятиями. К тому же я не крещен...

Я позвонил Веснину из Москвы сразу после завершения Съезда народных депутатов.

— Оставим про грех? — спросил.

— Теперь, конечно, оставим. Весь Съезд мы с женой не отходили от телевизора, и мы слышали: депутаты взволнованно говорили о судьбе крымских татар!

Сорок пять лет Алексей Леонтьевич Веснин искал в себе силы, чтобы принять за это письмо. Но ныне иное время, и я убежден, что один из тех молодых солдат, который выполнял приказ своих командиров в ту трагическую ночь начала апреля в Тбилиси, уже пишет покаянное письмо...

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

Владимир КАЛИНИЧЕНКО

«ТОЧКА ОТТАЛКИВАНИЯ»-1

Из прошлого

В середине 70-х годов специальная следственно-оперативная группа по раскрытию особо тяжких преступлений, в которую, помимо меня, входили начальник отдела Управления уголовного розыска области Евгений Евгеньевич Малышев и старший инспектор по особо важным делам Юрий Борисович Катютин, выехала в один из южных городов Украины, где была убита и ограблена престарелая гражданка Х.

Довольно быстро комплекс следственно-оперативных мероприятий позволил заподозрить в убийстве офицера местного отдела внутренних дел, но по негласно действующему указанию ни задержать, ни арестовать его до увольнения мы не могли. О происшедшем сообщили руководству УВД и прокуратуры области. Посланники из центра нагрянули незамедлительно. Оперативное совещание проходило бурно. Попытки убедить нас в ошибочности выдвигаемой версии успеха не имели. Особое раздражение руководства вызвало упрямство Малышева и Катютина, а один из очень уважаемых мною людей отвел меня в соседний кабинет и сказал: «Парень ты молодой, все у тебя еще впереди. Не артачься. Дело в конечном итоге не в преступнике. Одним больше, одним меньше. Пойми, Володя, это политика...» И он многозначительно показал пальцем вверх.

Все протестовало в нас против предложенной сделки, и мы поступили по-своему. Увы, дело кончилось полным провалом. Подозреваемого предупредили и о доказательствах, которыми мы располагали, и о всем ходе подготовленной операции.

Он уехал в другой город, купил дом, автомашину и лет десять назад передал мне через одного нашего работника «пламенный привет», а Малышева Е. Е. и Катютина Ю. Б. тогда же за «увлечение ошибочной версией» от расследования отстранили.

Малышев, Малышев! Умница! Беззаветно преданный службе уголовного розыска и посвятивший ей всю свою жизнь, он был обойден после этого не только в продвижении по службе, но даже и в поощрениях. Пробовал жить и рабо-

тать в другом городе — не получилось. Уехал в Афганистан. К счастью, вернулся оттуда живым...¹.

Ну, а Катютин? В юности прекрасный музыкант-профессионал, он оставил это увлечение и пошел на работу в уголовный розыск. Смелость и решительность, тонкий аналитический ум снискали уважение всех, кто знал его и работал с ним. Его успехов старались не замечать, он немало пережил, но благо наша милиция состоит не только из щелочковых, чурбановых и подобных им горе-руководителей².

Следствие

О начальнике 5-го отделения милиции мы знали еще с первого дня задержания его подчиненных. Правда, мы не представляли, какую роль он сыграл в этой трагической истории. Баринов настойчиво по телефону добивался встречи с нами. Такую возможность ему предоставили 5 февраля 1981 года. В тот день он впервые перешагнул порог Лефортова. Вел себя заметно нервничая, но держался в общем-то неплохо. Подробно рассказывал о своей службе, и постепенно мы подошли к 26 декабря.

Весь допрос шел, как в детской игре «холодно — горячо». — Нет-нет, я не верю, что мои ребята могли сделать такое. Здесь какая-то ошибка. Я не ставлю под сомнение вашу профессиональную порядочность, но ведь, знаете, и следователи часто ошибаются. Так они дают показания?.. Ничего не понимаю! Может, из страха? (Следует итак, что расследованием занимаются такие могущественные организации, как КГБ СССР и Прокуратура СССР.) Вас интересует, что я делал в тот день? Пожалуйста. — Баринов подробно, час за часом, описывает, где был, с кем встречался. Из его пояснений вырисовывается стопроцентное алиби, ибо получается так, что с 21.00 до 24.00 Борис Владимирович был у знакомой женщины — заместителя директора одного из магазинов Москвы.

Неприятный холодок пополз по спине, потому что понятно: Баринов был готов к этому разговору. Слишком подробно и в деталях он описывает события почти полуторамесячной давности. Понятно и другое: без договоренности с другой он бы таких показаний не дал.

В магазин срочно выехала группа следователей. Перед ними поставлена задача — одновременно и порознь допросить всех работников магазина об интересующем нас дне и возможном появлении там Баринова. Не прошло и часа, как позвонил Юра Жданов.

— Знаете, какая удача! — взволнованным голосом сказал он. — 26 декабря ее не было на работе, у нее был выходной, и это подтверждается рядом документов.

— Ну, а что она сама?

— Сначала говорила, что в тот вечер была с ним и именно в магазине, но сейчас сидит, плачет. Ссылается, что дала такие показания по просьбе Бориса. Директор и второй заместитель утверждают, что Баринова 26-го в магазине не было.

Я принял решение задержать Баринова.

К концу дня меня, Г. П. Каракозова и Ю. Н. Шадрина вызвал В. В. Найденов. Он заметно нервничал и не скрывал своего состояния. Выслушав подробный доклад о доказательствах, которыми располагало следствие, задумался, а затем засыпал нас вопросами по делу. Суть их сводилась к тому, что он колебался: хватает ли данных, чтобы дать санкцию на арест Баринова? Несколько раз раздраженно предлагал нам выйти из кабинета и «хорошо подумать».

— Виктор Васильевич, это единственное и правильное в такой ситуации решение, — многократно повторял Каракозов, — все остальное приведет к провалу дела.

В очередной раз Найденов обратился к Шадрину:

— Юрий Николаевич, они оба горячие по характеру люди, но твоя сдержанность и осторожность известны всем. Ты уверен, что мы не ошибаемся?

Шадрин был тверд. И тогда Найденов в очередной раз предложил им выйти. На ходу я оглянулся. Рука Виктора Васильевича легла на телефон. Мы так никогда и не узнали, кому он звонил и кому докладывал, но когда пригласил к себе, я увидел, что лицо его покрывалось багровым румянцем. Протянув постановление, которым он санкционировал арест Баринова, Найденов проговорил:

¹ В настоящее время Малышев Е. Е. — начальник Управления уголовного розыска УВД Запорожского облисполкома.

² В настоящее время Катютин Ю. Б. — начальник отдела УУР МВД УССР.

— Учтите, здесь моя голова.

— Наверное, сначала моя? — ответил я ему.

Найденов зло усмехнулся:

— О вашей голове я вообще не говорю. Вы свободны.

От должности заместителя Генерального прокурора СССР Виктора Васильевича Найденова освободили без всякого объяснения причин такого решения чуть позже, а точнее — через несколько лет. Тогда он руководил расследованием так называемого «сочинско-краснодарского» дела. Тогда и перенес он первый инфаркт. Третьего сердца не выдержало.

Арест Баринова обострил обстановку до предела. Водителя служебной автомашины, обслуживающего нас, задержали после работы, когда он на своих «Жигулях» добирался домой. Его пытались спровоцировать, но он держался мужественно. Было и много других провокаций, мелких и более серьезных. Вспоминать обо всем просто неприятно. Нужно было реагировать на происходившее, и немедленно.

По указанию Ю. В. Андропова с Щелоковым встретился один из заместителей председателя КГБ СССР. Предъявленные министру материалы о противозаконной деятельности его подчиненных были бесспорными, он извинился и заверил, что необходимые меры примет.

Действительно, обстановка после этого стала поспокойнее, но разговоры о том, что материалы дела фабрикуются, шли на различных уровнях. Психологический прессинг продолжался.

Мы хорошо понимали, что показания показаниями, но точки в этом деле могли быть поставлены в случае обнаружения вещественных доказательств. Все наши усилия были направлены на то, чтобы их найти. При работе в этом направлении нас ожидал своеобразный сюрприз.

Во время допросов Лобова обратили внимание на то, что он очень обеспокоен тем, как ведет себя на следствии его жена. У нас крепла уверенность в том, что она располагает информацией о преступной деятельности мужа. Но какой? Поединка со следствием они не выдержали одновременно, в один день.

— Понимаете, я ведь доподлинно ничего не знаю, — стала рассказывать жена Лобова, — но однажды, лет пять назад, уезжала на несколько дней, а когда вернулась, увидела в комнате много следов крови. Виктор сказал, что подрался с приятелем. Я помогла ему эти следы замывать... А потом, года через два, он пришел домой сильно пьяным и сказал, что у нас в квартире убил человека...

Да, это было еще одно убийство...

В декабре 1975 года, работая в 4-м отделении милиции, Лобов во время дежурства на станции метро «Таганская» задержал жителя города Армавира А., находившегося в Москве проездом в командировку. За мзду пообещал отпустить его. Распив с задержанным бутылку водки, предложил продолжить пьянку у себя в квартире. По пути заехали в ресторан «Россия». За спиртное расплачивался А., при этом за деньгами полез в плавки. Это и натолкнуло пьяного Лобова на предположение о том, что так можно прятать только большую сумму денег.

Парня он убил, но денег оказалось мало, всего восемьдесят рублей. Нужно было избавляться от трупа, и, икупив на деньги потерпевшего дешевого вина, Лобов занялся его расчленением. На это у него ушло несколько дней. Первую ходку сделал к станции метро «Октябрьская» и отдельные части тела выбросил там. Остальные стал отвозить на электричке, разбрасывая в лесопосадках на промежуточных станциях по пути к подмосковному городу, в котором он родился и вырос и в котором жили его родители. Самые большие трудности возникли при транспортировке нижней части туловища, к тому времени начавшей разлагаться. От сумки шел трупный запах, и пассажиры в электричке отсели от Лобова подальше. То ли они сказали об этом милиционеру, сопровождавшему электричку, то ли он сам что-то заподозрил, но, подсев к Лобову, завел с ним разговор. Оба они хорошо знали друг друга, были земляками и почти в одно время пошли на работу в милицию. Коллега постоянно поглядывал на сумку, Лобов нервничал и пытался отвлечь его внимание. В конце концов от него отстали.

Ему пришлось доехать до конечной станции. От туловища нужно было избавляться в пределах городской черты, и потому Лобов решил утопить его в проруби. Опасаясь сойти на лед, бросок сделал с моста и в прорубь не попал. Пришлось убежать, оставив туловище на льду и понимая, что утром его найдут. Несколько дней со страхом ожидал разоблачения. Но обошлось...

Факт обнаружения части трупа в городском отделе внутренних дел зарегистрирован не был, хотя мы нашли свидетелей, помнивших о таком случае. Милиционер, о котором рассказывал Лобов, ничего не помнил или делал вид, что не помнит. Как бы то ни было, но Лобов остался безнаказанным и продолжал совершать новые преступления.

Раскрытие этого убийства повергло в состояние шока многих ответственных работников МВД. В. В. Найденов каждый день торопил нас с проверкой показаний обвиняемого. Мы отбивались, как могли, по крупницам собирая доказательства, и наконец настал день, когда Виктору Васильевичу доложили: на диване, находившемся в квартире Лобова, обнаружены обильные и большей частью замятые следы крови и кожного эпителия потерпевшего. Изъяты там же туфли, перчатки, другие предметы одежды опознали родственники убитого. В МВД СССР официально сообщили о результатах расследования, и, как говорят, раздался гром среди ясного неба. На сцене внезапно появился Ю. М. Чурбанов, до этого занимавший выжидательную позицию. Была, видимо, у него какая-то выгода в той игре, которую он вел. На коллегии ГУВД Мосгорисполкома Юрий Михайлович снимал и правых, и виноватых. Началась «чистка» среди рядового и сержантского состава. С работой в милиции расстались сотни лиц.

Но возникал вопрос: неужели для подобных оргвыводов нужно было такое серьезное ЧП? Раньше что, ничего не знали и не видели?

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО МАСОХИНА:

— У нас в отделении работал милиционер Плечиков. Это был законченный алкоголик, тем не менее на работе его держали и прощали абсолютно все. В декабре Плечиков задержал какого-то мужчину, отобрал шесть рублей и выгнал. На собрании милиционер Левштанов написал в президиум записку, в которой задал вопрос: «Как может работать в милиции преступник-грабитель?» На эту записку ответил Баринов. Он стал говорить, что мы должны правильно понимать кадровую политику и сейчас, перед Олимпиадой наша главная задача — полностью укомплектоваться личным составом...

Продолжение. Начало восьмидесятых

Да, именно тогда для поддсржания правопорядка в период проведения в Москве Олимпийских игр было принято решение об увеличении штатной численности столичной милиции, а исполнители на местах, подобные Баринову, обеспечивали комплектование личного состава за счет лиц, скомпрометировавших себя и даже совершавших преступления.

Мне могут возразить: зачем все излишне драматизировать? Мол, были единичные случаи... К сожалению, нет. Через наши руки прошли десятки и сотни материалов служебных проверок, подтверждающих иное. Приведу только такой пример. В тот же период времени, с разницей в несколько месяцев, в центре Москвы, на станции метро «Пушкинская», офицеры милиции ограбили задержанных. Благо Петровка, 38 рядом и преступников довольно быстро задержали с полициным. И что вы думаете? Передали материалы в прокуратуру? Ничего подобного. Грабителей... заслушали на суде офицерской чести и объявили... общественное порицание. Тем самым личному составу отдела милиции по охране метрополитена продемонстрировали, как защищается честь мундира. И немудрено, что один из убийц Астафьева, старший сержант Лобов, за шесть лет работы в милиции «заработал» деньги на двухкомнатную кооперативную квартиру в столице.

Кому же нужна была эта порочная система подбора и удержания кадров? К тому же в период подготовки и проведения Олимпиады... Ответ прост: только тем, кому эта система позволяла докладывать руководителям страны о потрясающих успехах советской милиции, а взамен, используя личные связи и родственные отношения, получать награды и почести. Разве мало примера Юрия Михайловича Чурбанова, который стал аж лауреатом Государственной премии после завершения Олимпийских игр? К сожалению, это были далеко не все пороки кадровой политики, проводившейся в те годы.

Да, Щелоков много сделал для органов внутренних дел. Прежде всего добился значительного увеличения штатной численности милиции.

Но появившиеся вакансии иужю было заполнять, заполнять немедленно. Где в таких условиях взять людей?

На улицах, на вокзалах отлавливали демобилизованных солдат и предлагали пойти на работу в столичную милицию. Не правда ли, заманчивая перспектива для молодого, часто не имевшего гражданской специальности парня, направляющегося домой в Курск, Рязань, Полтаву? А что после этого? Жизнь в общестии, неустроенный быт, служба, интерес к которой зачастую продиктован только перспективами на постоянное жительство в Москве, формализм в политикопитательной работе... Дальше — больше. Ведь возраст большинства новобранцев такой, когда иужю обзаводиться семьей, а жить-то негде, да и зарплата для жизни в столице маловата. Но зато хватает другого — фактически неограниченной власти во время несения службы.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ПОТЕРПЕВШЕГО РУКИНОВА:

— Сержант милиции с возгласом «Люблю клиентов с «дипломатами!» пригласил меня зайти в комнату милиции. Пройти туда я не отказывался, но, несмотря на это, был втащен за рукав пиджака. Я заявил протест и потребовал вызвать дежурного офицера или врача, так как я находился в трезвом состоянии. На мое требование сержант не отреагировал и вызвал машину из вытрезвителя. Прибывший сопровождающий из вытрезвителя взять меня отказался, сказав, что не видит для этого оснований. Обругав сопровождающего нецензурной бранью, сержант пообещал устроить мне «хорошую жизнь», заявил, что он передал бы всех интеллигентов, «а я что захочу, то с тобой и сделаю». Кроме того, он говорил: «Передо мной здесь не то что ты — замминистра валялся...»

Итак, вчерашние солдаты становились на путь совершения преступлений. При этом высвечивалась еще одна проблема, связанная с подбором и комплектованием кадров, которую мы в упор не хотели видеть.

Есть у нас социальное расслоение, есть, никуда от этого не денешься. Кто-то живет лучше, кто-то хуже и не всегда потому, что одни — коррумпированные чиновники, а другие — честные рабочие и служащие. Уровень жизни в столице достаточно высокий; министерств, ведомств, различных научных и учебных заведений предостаточно. Живут и одеваются «совслужащие» неплохо. Каково же видеть их, преуспевающих, возвращающихся домой (пусть даже и в подпидти), молодому парню, который и в прошлой-то своей, нестоличной жизни мало хорошего видел, а в нынешней перспективны на будущее видит весьма туманно? Нет, совсем не случайным был приведенный выше диалог потерпевшего Рукинова с задержавшим его на станции метро «Площадь Ногина» милиционером...

Следствие

Принимавший участие в избиении Астафьева милиционер Лоза родился и вырос в небольшом селсе на Днепропетровщине. Окончил среднюю школу, но большими способностями не блистал. Не лишенный честолюбия, мечтал о поступлении на учебу в юридический институт. Немного проработал в колхозе и был призван на действительную военную службу. После демобилизации домой возвращался через Москву. На Курском вокзале с ним заговорили «вербовщики» столичной милиции, и так он оказался в 5-м отделении.

Позже на допросах Лоза рассказывал:

— Во время работы с Лобовым я понял, что у них сложилась система по ограблению задержанных, которых условно называли «карасями», а отобранные деньги — «фанерой». Среди милиционеров бытовала фраза: «Поймать в сети караса и отобрать фанеру». Лобов стал обучать меня приемам обирания задержанных. Позже предложил попробовать самому...

Лоза попробовал, как и многие другие. Не подчинялись ему — бил. Служба ему нравилась... И не так даже служба, как форменная одежда — она у него всегда была «с иголочки». Особенно любил носить до блеска начищенные сапоги и заправленные в них, плотно облегавшие ноги брюки. Задержанных бил только излюбленными ударами: один — в живот, другой — ребром ладони по шее. Когда потерпевший падал, гордо отходил в сторону и за остальным наблюдал со снисходительной ухмылкой. Кого же копировал этот нессостоявшийся юрист? Неужели мы верим в то, что палачи тридцать седьмого года исчезли бесследно? Они были среди нас тогда, есть кандидаты в них и сегодня.

Все проходило безнаказанно и даже тогда, когда исход избиения был трагическим. Одного из задержанных на станции метро «Пролетарская» отделали так, что испугались сами. На место выехал заместитель Барниова. Избитого доставили в 68-ю горбольницу и оставили без оказания медицинской помощи до утра. За это время у него развился перитонит. Запоздалая операция не помогла...

Да, это именно та, печально известная москвичам, 68-я городская больница, так называемая «спецтравма». Свозили в нее круглосуточно травмированных лиц в нетрезвом состоянии. Где и как человек получил травму, значения не имело. Сортировала пострадавших постоянно находившаяся в больнице милицейская дежурная часть.

Известного советского ученого, доктора юридических наук, профессора В. ограбили недалеко от станции метро «Ждановская». Шел он домой после официального приема, где выпил бокал шампанского. Обмыв дома окровавленное лицо, со следами повреждений он пришел в отделение милиции, обеспечивающее охрану общественного порядка в районной станции.

Ограбленного тут же посадили в патрульную машину и стали возить по району с целью поиска преступников. Безрезультатно! Вернулись обратно, но теперь уже в опорный пункт милиции, и началась обработка.

— Очень быстро, — пояснил впоследствии В., — я понял, что от меня добиваются одного — отказаться от заявления об ограблении. Я все-таки юрист, и такое предложение возмутило меня... Своего возмущения я не скрывал. Часа через два мне доброжелательно разъяснили, что нужно произвести судебно-медицинское освидетельствование. Последнее было естественным, и я согласился. Если бы я знал, какой кошмар впереди!

В. привезли в 68-ю больницу. Он ждал, когда его осмотрит специалист, но ему заломили руки и стали вытряхивать содержимое карманов. Партбилет швырнули на стол, как ненужную бумажку. В. пытался хоть этим усуетить обыскивающих. В ответ услышал такое, что и пересказывать подобное стыдно.

— Но это были цветочки, — продолжал свои показания В. — Меня раздели, приподняли со стула и забросили в какое-то отверстие. По желобу я скатился в помещение без окон с искусственным освещением. Двое в белых халатах усадили на стул, перетянули одну из рук жгутом, и ко мне стал приближаться человек со шприцем в руках. Животный страх охватил меня, но тут к нам подошел четвертый (как я понял, врач) и, успокаивая, сказал, что только возьмут кровь для определения степени алкогольного опьянения. Я не мог не подчиниться. Когда со мной остался один врач, я обратился к нему, вызывая к совести, назвал себя. Видимо, врач был хорошим и порядочным человеком. Он объяснил, что помочь ничем не может, но здесь недалеко есть телефон, и он дает мне пять минут на звонок домой или знакомым. Только это и спасло меня. Через полчаса в больнице была жена с друзьями...

На следующий день В. был принят В. В. Найденовым. По личному указанию заместителя Генерального прокурора СССР началась проверка, но она ничего не дала. С одной стороны, был ученый с безупречной репутацией, с другой — все причастные к этой истории должностные лица и исполнители. Вывод сделали однозначный: может быть, потерпевший и говорит правду, но где доказательства? Нет доказательств. Да и быть не должно. Наша милиция безупречна.

Так ли? На почве безнаказанности процветало пьянство. Пример подавали многие офицеры. Сам Барниов пил в рабочее время, пил после работы. По рассказам подчиненных (в том числе технических работников), с утра к нему в кабинет боялись заходить. Проследив, когда дежурный сбегает в магазин и вернется обратно, выждав некоторое время, говорили друг другу, что «шеф» уже опохмелился и можно идти подписывать бумаги.

Однажды вечером Барниов позвонил дежурному:

— Саша, мне нужно пять штук, — и бросил трубку.

Что он имел в виду? Указание начальника расшифровывала вся дежурная часть отделения милиции. Учитывая, что Барниов празднует 8 Марта у знакомой, зная его наклонности, единодушно решили, что нужно пять бутылок водки. Купили их за счет денег, полученных от реализации штрафных талонов, выписанных за нарушение общественного порядка. Гнев и возмущение Барниова были беспредельны. Ему, оказывается, нужны были цветы — пять букетов. Отругав на чем свет стоит водителя дежурной автомашины, водку он все же забрал.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ ОБВИНЯЕМОГО ЛОБОВА:

— Несколько лет назад меня аттестовывали. Аттестация проходила в кабинете Баранова. В состав комиссии входили сам начальник и другие офицеры. На аттестацию я пришел пьяным. Стоял перед комиссией, покачиваясь, но по уставу — «мирно». Мне разрешили идти, зачитав мою положительную характеристику. Я отдал честь, развернулся, но потерял ориентиры, подошел к встроенному шкафу и открыл его. Только тут сообразил, что это не дверь, и пошел вправо. Все сделали вид, что ничего не заметили...

Какой кошмар! Так, пожалуй, скажет любой, кто прочитает историю позора 5-го отделения. К чему нагнетать страсти и ворошить прошлое, скажут другие.

Но ведь все это было! Было. И называть происходившее частным случаем, право, смешно.

Потерпевшие — вчерашние задержанные — шли с жалобами на Петровку, в районные и городскую прокуратуры, в советские и партийные органы. Их внимательно выслушивали и обещали разобраться... Но дальше была глухая стена.

Когда следователи нашей следственной группы изымали документы в одном из райкомов партии, инструктор со злобой сказал одному из них:

— Передайте вашему руководителю, этому иновоявленному москвичу, ч.о рога мы ему быстро обломает, не таких здесь видели...

В безнаказанности были уверены и исполнители, и их покровители самого разного ранга. Ведь что могли предъявить потерпевшие? Разве только свои доводы, а иногда — следы избиения на лице и на теле. Против них выступал в полном составе постовой наряд, и представлялись липовые документы, истинность которых никто не ставил под сомнение. Даже в прокуратуре разводили руками: «Понимаете, мы вам верим, но тут ничего не докажешь...» А хотели ли доказывать?

Доходило даже до того, что директора одного из московских заводов задержали абсолютно трезвым, а когда он стал возмущаться, обвинили в злоупотреблении спиртным. Сфабрикованные об этом документы направили в партийные органы. На бюро райкома директор клялся и божился, что все написанное на бумаге — ложь, и тогда первый секретарь сказал:

— Слушайте, товарищи, ведь мы знаем его много лет, и спиртного он не употребляет, но ведь органы не врут. Я вношу такое предложение: давайте оставим этот вопрос без рассмотрения.

Грязное пятно с человека было смыто только при расследовании уголовного дела об убийстве Астафьева. Другим везло меньше. Иногда спиртное насильно вливали в рот задержанного, и тогда все было в полном ажуре.

В фальсификации документов доходило до абсурда, до смешного. Так, слегка подвыпившего рабочего Л. задержали на станции метро «Щукинская» и предложили пройти в комнату милиции. Дом его был рядом, и он просил дать ему возможность покинуть метро. Не подчиняешься? Здесь же, на перроне, резкий удар кулаком — и зуба как не бывало. Вот и задача. Жалующийся гражданин с выбитыми зубами — штука серьезная, да и заключение судебно-медицинского эксперта будет однозначным. Где выход? Выход есть. И принимается решение. Первое: обвиним его в том, что на перроне отправлял естественные надобности (это на «Щукинской», ярко освещенной, многолюдной и хорошо просматривающейся со всех сторон платформы!). Ну, да ладно, стоит ли учитывать такие мелочи? А вот как быть с зубом? И тогда второе — командир взвода офицер Петрук пишет рапорт следующего содержания: «Пьяному гражданину Куликов (то есть постовой милиционер) предложил пройти с ним в комнату милиции, но он почему-то стал от него увертываться и махать руками. В это время к ним подошел я и спросил, в чем дело, почему он не выполняет требования милиционера. Незнакомый сказал, что «счас дорву зуб и пойду», и полез руками в рот. Я ему сказал, что этого не нужно делать. Незнакомый гражданин никаких жалоб не предъявлял, а все ковырял во рту, в результате чего измазал губы в крови».

Смешно? Да, смешно. И очень грустно, не правда ли? Десятки, сотни должностных лиц в упор не хотели видеть очевидное.

За год до убийства Астафьева ранним утром недалеко от станции метро «Ждановская» обнаружили труп ограбленного и избитого мужчины. Оказывая сопротивление убийцам, он оторвал одному из них пуговицу. Она осталась у него в руке.

Это была пуговица от милицейского мундира. Такие преступления раскрываются по горячим следам, тем более присутствовавший при осмотре офицер 5-го отделения вспомнил, что вечером отстранил от дежурства двух пьяных постовых. Преступников подняли прямо с постели и в течение двух дней возили по инстанциям, примеряя пуговицу к остаткам ниток на мундире. Экспертиза, как говорят, была тут делом формальным, да и сами убийцы не отрицали, что совершили это преступление. Они ждали одного — возмездия.

А им объявили: «Вы уволены!» И все! В возбуждении уголовного дела по этому очевидному факту отказали, материалы проверки уничтожили. И, заметьте, сделали это не подчиненные Баранова, а работники территориального отдела милиции. Мало того, производившие осмотр места происшествия представители районной прокуратуры, отлично знавшие что к чему, «стыдливо» промолчали. Какой же силой власти нужно было обладать, чтобы заставить десятки должностных лиц так бояться за себя и поступать таким образом? А ведь речь — всего лишь о разоблачении двух негодяев. Ни связями, ни высокими покровителями они не обладали. Самой весомой защитой для них оказался милицкий мундир, который и проносили-то они около года после демобилизации из армии.

Безнаказанность развращала личный состав, в круг преступлений втягивались все иловые и новые лица. Те, кто стремился жить и работать честно, твердо усвоили тактику нейтралитета: ни во что не вмешиваться и о том, что знают, помалкивать. Именно так можно было гарантировать более менее спокойную жизнь.

И жили спокойно, пока не прорвало.

Эпилог

Летом 1982 года судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела уголовное дело об убийстве Астафьева В. В.

Баранова, Лобова, Панова и Масохина приговорили к исключительной мере наказания — смертной казни, остальных — к длительным срокам лишения свободы. Несколько позже различными судами Москвы были осуждены за тяжкие преступления и их укрытие свыше восьмидесяти работников милиции.

Приговор испугал Щелокова. Он позвонил Александру Михайловичу Рекуикову, сменившему Р. А. Руденко в должности Генерального прокурора СССР, и попросил, чтобы о результатах расследования и судебного рассмотрения дела его проинформировали подробно. К Щелокову поехал государственный обвинитель Ю. Н. Беллевич.

Как рассказывал потом Юрий Николаевич, министр слушал его мало и невнимательно, очень нервничал, а затем более двух часов рассказывал о том, как он принципиально борется с преступлениями, совершаемыми работниками МВД. На прощание заверил, что порядок в своем доме наведет, и высказал пожелание не слишком афишировать то, что выяснилось при расследовании дела.

«Огласке не предавать!»... Ох, как знаком этот прием! Особенно эффективен он вкупе с обещаниями.

Да, непросто быть представителем власти. Кто хоть однажды понюхает за тем, что происходит в дежурных частях милиции, куда в вечернее и ночное время доставляют задержанных, тот наверняка скажет сам себе: трудно сдерживать себя, наблюдая безобразное поведение пьяных, разного рода негодяев и подонков, которые и слов человеческих понимать не желают. Но почему трудностями и спецификой работы милиции пытаются объяснить отступления от требований закона?

Так, бывший начальник отдела милиции по охране Московского метрополитена (со ссылкой на утвержденные Моссоветом «Правила проезда в метро», запрещающие пользование «подземкой» лицам, находящимся в состоянии опьянения) издал собственную инструкцию для постовых нарядов. Инструкция требовала задерживать в метро всех лиц, от которых исходит запах алкоголя. Так что Вячеслава Васильевича Астафьева задерживали на вполне «законных» основаниях. Чем это закончилось для него, вы теперь знаете.

Кого же обманывали Щелоков и иже с ним? Кому рисовали мнимое благополучие? И, главное, ради чего? Ради почестей и наград, сыпавшихся из рога брежневского изобилия на головы «борцов с преступностью»? Неужели только ради этого? И что мы получили взамен?

Мы довели нашу милицию до такого состояния, когда сотни и тысячи старших офицеров, руководителей крупнейших подразделений органов внутренних дел лгали сами себе,

лгали другим, опасаясь потерять должность, а может быть, и все, чего они достигли в жизни. Не нужно сегодня с легкостью осуждать их. Все мы вели себя не лучшим образом.

Мы довели нашу милицию до того, что сменивший Щелокова новый министр, зная о том, что творится в этом ведомстве, стал наводить порядок, разгоняя кадры по компротматериалам, которые ему представляли. Он пытался выкорчевать гниль с корнем и при такой поспешности в наведении порядка не мог, как говорится, не перегнуть палку, из-за чего пострадали многие добросовестные и квалифицированные работники. Они тоже жертвы политики, долгие годы насаждавшейся Щелоковым.

И еще одно. Когда у нас случается какое-либо серьезное ЧП, сразу делаются оргвыводы. Снимают и понижают не только тех, чьи упущения находятся в прямой связи с наступившими последствиями, но и тех, кто в силу занимаемого положения может (подчеркиваю), лишь может быть наказанным. Опасаясь таких «оргвыводов», руководители делают все возможное, чтобы скрывать правду, не выносить сор из избы. Люди должны наконец понять, что им нужно поменьше думать о чести мундира, потому что сама честь зависит от них самих.

Нам нужна, как воздух, реорганизация правоохранительных органов. И не по количественному признаку, а по качественному и по высокой технической оснащенности.

Я знаю, какое раздражение и гнев вызовет у определенной части работников милиции (и особенно у отдельных руководителей) рассказанная мной история убийства В. В. Астафьева. Тему-то затронули запретную. Ведь опять подрывает авторитет... Ату его, ату! Но я хочу напомнить, каким беспредельным было прославление милиции при Щелокове и что творилось за лакированным фасадом. Не нужно бояться правды, тем более в наше время. Уроки прошлого нужны нам и сегодня.

Ну, а каков же все-таки ответ на записку рабочих ЗИЛа о том, что делали для наведения порядка в стране в застойные годы правоохранительные органы?

Летом 1982 года после рассмотрения в суде дела об убийстве Астафьева А. М. Рекунков направил в ЦК КПСС информацию о результатах расследования.

«Основной причиной, способствовавшей совершению преступления, — докладывал Генеральный прокурор, — была сложившаяся обстановка пьянства, нарушений служебной дисциплины, бесконтрольности и попустительства грубым нарушениям социалистической законности. Дезорганизация работы, фактическое разложение личного состава толкали работников милиции на злоупотребление предоставленной им властью. Многие сотрудники рассматривали работу как источник личного обогащения... Особое озлобление у них вызывали попытки отдельных граждан защитить себя от чинимого произвола. За это они подвергались избиениям, запугиванию, шантажу, фабриковались акты опьянения, протоколы о мелком хулиганстве... Милиционер Лобов за большое число задержанных был занесен на Доску почета, награжден медалью «За 10 лет безупречной службы», имел более пятнадцати поощрений. В ходе следствия выяснилось, что он хронический алкоголик, в течение пяти лет грабил и избивал задержанных, совершил несколько убийств... Обстановка безнаказанности, нетерпимости к криминалу, круговая порука, укрывательство беззаконий привели к разложению многих работников, толкали их на путь преступлений...»

Нам известно, что заведующий сектором отдела административных органов ЦК КПСС А. Иванов должен был дать ход этой информации на самом высоком уровне, и мы очень надеялись на это. Через несколько дней его обнаружили мертвым в коридоре собственной квартиры. Рядом лежал пистолет. Был сделан вывод о самоубийстве.

Шел 1982 год, и до начала перестройки оставалось несколько долгих лет. И все-таки мы чувствовали: о том, что происходит, знают в Политбюро, нас поддерживают и помогают нам, насколько это было возможно в тех условиях. Без этой поддержки никогда бы не было дела об убийстве Астафьева и других дел того периода, затрагивающих интересы коррумпированных группировок. Точка отталкивания, как луч надежды, появилась именно тогда, в те застойные годы.

10 ноября 1982 года, в День советской милиции, скончался Л. И. Брежнев. Вскоре от занимаемой должности освободили Н. А. Щелокова. Претензий, которые ему предъявили тогда, было более чем достаточно.

Январь — февраль 1989 года



Сергей
ГАНДЕЛЬСКИЙ

☆☆☆

Еще далеко мне до патриарха,
Еще не время, заявляясь я гостю,
Пугать подростков аыморочным басом
«Давно ль я на руках тебя носил!»
Но в целом траектория движения,
Берущаго начало у дверей
Роддома имени Грауэрмана,
Сквозь анфиладу прочих помещений,
Которые анотьям я проходил,
Нашаривая тайный выключатель,
Чтобы светом озарить свое хозяйство,
Становится ясно.

Вот мое детство
Размахивает музыкальной папкой,
В пинг-понг играет отрочество, юность
Витийствует, а молодость моя,
Любимая, как детство, потеряла
Счет легким километрам дивных странствий.
Вот годы, прожитые в четырех
Стенах московского алкоголизма.
Сидели, пили, пели хоровую —
Река, разлука, мать сыра земля.
Но ты зевашь: «Мол, у этой песни
Принев какой-то скучный...» — Почему?
Совсем не скучный, он традиционный.

Вдоль вереницы зданий стационных
С дурашливым щенком на поводке
Под зонтиком, в пальто демисезонных
Мы вышли наконец к Москва-реке.
Вот здесь и поживем. Совсем пустая
Профессорская дача в шесть окон.
Кранви́нница, канризно ириседа́я,
Пропархивает нанское балкон.
А завтра из ведра возле колодца
Уже оцененная вода
Обрушится к ногам и обернется
Цилиндром изумительного льда.
А послезавтра изгородь, дрова,
Террасу заштрихует дождик частый.
Под старым рукооминком трава
Залаяна зубною пастой,
Нет-нет да и проглянет синева,
И песня не кончается.

В припеве
Мы движемся к суровой неренраве.
Смеркается. Сквозит, как на плацу.
Взмываю́т чайки с оголенной суши.
Живая речь уходит в хрипотцу
Грамзаписи. Щенок развесил уши —
His master's voice.

Бедя невелика.
Поговорим, покурим, выпьем чаю.
Пора ложиться. Мне наверняка
Опять приснится хмурая, большая,
Наверное, великая река.



В. И. ЛЕНИН Талантливая книжка

Это — книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко: «Дюжина ножей в спину революции». Париж, 1921. Интересно наблюдать, как до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высококонтантливой книжки. Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко! Уверю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете.

Зато большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, обвешенной и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пылуящая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещицы, например, «Трава, прижатая сапогами», о психологии детей, переживших и переживающих гражданскую войну.

До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде — нет, не в Петрограде, а в Петербурге — за 14 с полтиной и за 50 рублей и т. д. Автор описывает это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность — из ряда вон выходящие.

В последнем рассказе: «Осколки разбитого вдребезги» изображены в Крыму, в Севастополе бывший сенатор — «был богатым, щедр, со связями» — «теперь на артиллерийском складе поденно разгружает и сортирует снаряды», и бывший директор «огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина, и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию».

Оба старичка вспоминают старое, петербургские закуски, улицы, театры, конечно, еду в «Медведе», в «Вене» и в «Малом Ярославце» и т. д. И воспоминания перерываются восклицаниями: «Что мы им сделали? Кому мы мешали?»... «Чем им мешало все это?»... «За что они Россию так?»...

Аркадию Аверченко не понять, за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях.

Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять.

(«Правда», № 263, 22 ноября 1921 г.)

Аркадий АВЕРЧЕНКО

ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ

Предисловие

Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудачнется, как курица:

— Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек — этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!

Поступок — что и говорить — жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.

Прежде всего, спросим себя, положив руку на сердце:

— Да есть ли у нас сейчас революция?..

— Разве та гниль, глупость, дрянь, копошь и мрак, что происходит сейчас, — разве это революция?

Революция — сверкающая прекрасная молния, революция — божественно красивое лицо озаренного гневом Рока, революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..

Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..

Скажу в защиту революции более того — рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова. трогательно умиленные, когда они произносятся с трудом лепечущим неуверенным в себе розовым язычком...

Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уземеньком», «совбур», и «реввоенком» — так это уже не умильный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детинкой никакого сладу нет!

Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенецк протыгивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным язычком:

— Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижи!..

Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить сигарки или скидывай пальто» — простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!

Не будем обманывать и себя, и других: революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее — это светлое, очищающее пламя, середина — зловонный дым и копоть, конец — холодные обгорелые головешки.

А разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек, — без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.

Нужна была России революция?

Конечно, нужна.

Что такое революция? Это — переворот и избавление.

Но когда избавитель перевернуть — перевернул, избавить — избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сидению на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки — готовы воткнуть ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».

Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу: — Товарищи, защищайте революцию!

Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция — это молния, это гром стихийного Божьего гнева... Как же можно защищать молнию?

Представьте себе человека, который стоял бы посреди омерзительного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:

— Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!

Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежние времена, как и я, против уродливостей минувшего царизма.

Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:

«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов, и всяких отдельных задач, — понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие — купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».

«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения — тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней»...

«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят непрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уже какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».

Вот как говорит К. Бальмонт... И в одном только он ошибается — сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.

Не старушка это, — хорошо бы, коли старушка, — а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стаченным с ваших плеч, пальто.

Да еще и ножиком ткнет в бок.

Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать? Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню, — в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить. Новую Великую Свободную Россию!

Правильно я говорю, друзья-читатели? А?

И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», — то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:

— Правильно!!!

Отдохнем от жизни.

Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, напомним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом — на бутылочке-то пыли сколькоросло — вековая пыль, благородная, — а теперь слушайте...

* * *

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину:

Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженной в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшись от земли мяч, взлетел на десять саженной вверх, стал на площадку скалы — совершенно сухой и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурки папиросы, валившийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуреной. Человек приложил к ней спичку, вскопчившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчавшую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнул — и плевок с земли вскопчил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил из рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню — жарить... Повар положил его на сковородку, потом снял, сырого, утыкал перьями, поводил ножом по горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.

* * *

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернул ручку назад — и пошло-поехало...

Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону — будто соскабливая написанное, и когда передо мной — чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары — селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевицские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали и — укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора, — вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину — вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дула пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покотился к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрягу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Промилы выдерживают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в свирельские перины, и все принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих вверх, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!..

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! замри! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

— Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

— Извозчик! Полтинник иа Коиюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуй! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну, как не выпить на радостях... С манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» — восемь? Разве можно так бесовски грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили.

Отчего же вы не пьете ваш херес! Камин погас, и я не вижу в серой мгле — почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?

Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожвеле: почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши — и все, все как есть перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо-стонущих, и бурно-проклинающих.

Но немые и бессильные мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой — не на пяти, а на одной линейке, — быстро и привычно вытгивая строку за строкой, перелистывая страничку за страничкой. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, когда душа требует звука — бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония — слабая, бледная, в слове...

Когда тусклые серо-розовые сумерки спускаются над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкавшие прежде очи Петербургом, когда одичавшее насе-

ление расползается по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихнет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзившихся в темные безглазые русла улиц, — тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола, пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул — это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует... но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может — предстоящая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом...

Переглянулись.

— Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

— Моя.

— Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказывали о макаронах с рубленой говядиной.

— О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панировавшей телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

— Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

— Пять лет тому назад — кик сейчас помню — заказал я у «Альбера» наваги фри и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки — крупная, жирная в сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисловатый такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлеба (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

— У наваги только одна косточка, посередине, треугольная, — перебил, еле дыша, сосед.

— Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

— Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая такая и вся в сухарях, в сухарях — я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тощую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки — о, для аромата только, исключительно для аромата — выпивал рюмку и сразу кусочек этой рыбки — гам! А булка-то, знаете, мягкая французская такая, и ешь ее, сшь, пышную, с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

— Не доели?!!

— Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди еще был бифштекс по-гамбургски — не забывайте этого. Знаете, что такое — по-гамбургски?

— Это не яичница ли сверху положена?

— Именно!! Из одного яйца. Просто так, для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого — поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка — помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлеба, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мяса — гам!

— Неужели жареного картофеля не было? — простонал кто-то, схватившись за голову, на дальнем конце стола.

— В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также настроганный хрен, были капорцы — остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мяса, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой, вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рас-

сказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

— Пива! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем крепким пенным пивом!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

— Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем, да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

— Не пивом! Не пивом нужно было запивать, а красным вином, подогретым! Было там такое бургундское по три с полтиной бутылка... Налейшь в стопочку, поглядишь на свет — рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

— Господа! Во что мы превратились — позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины! Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У вас отнято то, на что самый последний человек имеет право — право еды, право набить желудок пищи по своему неприхотливому выбору — почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь, — вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

— Да! Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю, и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот — пусть ест!!

— Бежим же господа. Все на улицу, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали как уголья... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много: самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились — кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами... Лежали, обессиленные, с ползакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой — они сделали, что могли, они ведь хотели?

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:

— А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей — такой, знаешь, маленький кусочек — я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

— Нет, — шепнул сосед, — не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой трубки...

Жадно слушали.

* * *

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

Трава, примятая сапогом

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом...

— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.

— Тебе-то? Лет восемь, что ли?

— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось, и женишка уже припасла?

— Куда там! (Глубокая поперечная морщина сразу выплзла отсюда на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

— Господи. Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на речку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.

По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

— Знаешь, меня ночью комар как укусит, за ногу.

— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.

— Знаешь, ты ужасно комичный.

— Еще бы. На том стоим.

На берегу реки мы преугодно усадились на камушке под развесистым деревцом. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щекой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

— Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:

Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнухи Макса
Руки, точно вакса.
Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро...

Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задуманном слове» прочитала.

— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

— Ну, знаешь, ей не до того. Прихварывает все.

— Что же с ней такое?

— Малокровье. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров и было, потом эти... азотистые вещества тоже в организм не... этого... не входили. Ну, одним словом, коммунистический рай.

— Бедный ты ребенок, — уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.

— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку кукулину потеряла, да медведь пиццать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пиццать?

— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

— Ну, ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

— Где там! Всю жизнь мечтал об этом — не удастся.

— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает; очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышной.

— Вишь ты, как пулеметы работают, — сказал я, прислушиваясь.

— Что ты, братец, какой же это пулемет? Пулемет чаще тарыхтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого, — вздрогнул я, — шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шумит. А брызгающий снаряд вост, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп,— воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмакам носочки.— Откуда ты все это знаешь?..

— Вот комичный вопрос, ей-Богу! Поживи с мое, еще не то узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реакции Ватикана» и «брызгающих снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

— Ты знаешь, какого мне достал котенок? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я, дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с маминым золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

* * *

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожках, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригнул его луч солнца и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о мвлом, о вечном.

Чертовое колесо

I

— Усаживайся, не бойся. Тут очень весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое.

— Да чем же веселое?

— А вот как закрутится колесо, да как дернет тебя с колеса, да как швырнет о барьер, так глаза в лоб выскочат! Очень смешно.

Это — разговор на «чертовом колесе»...

Несколько лет тому назад компания ловких предпринимателей устроила в Петербурге «Луна-Парк».

Я любил хаживать туда по причине несколько пикантной: в «Луна-Парке» я находил для своей коллекции дураков такие чудесные маховые экземпляры и в таком изобилии, как нигде в другом месте.

Вообще, «Луна-Парк» — это рай для дураков: все сделано для того, чтобы дураку было весело...

Подойдет он к выпуклому зеркалу, увидит трехаршинные ноги, будто выходящие прямо из груди, увидит вытянутое в аршин лицо — и засмеется дурак, как ребенок; сядет в «Веселую бочку», да как толкнут его вниз, да как почнет бочка стучаться боками о вертикально воткнутые по дороге бревна, да как станет дурака трясти, как дробинку в детской погремушке, круша ребра и ушибая ноги, — тут-то и поймет дурак, что есть еще беззаботное веселье на свете; и к «Веселой кухне» подойдет дурак, и тут он увидит, что это настоящая его, дуракова, тихая пристань. Впрочем, она не особенно тихая, эта пристань. Потому что «Веселая кухня» заключалась в том, что на расстоянии нескольких аршин от барьера на полках были расставлены бракованные тарелки, блюда, бутылки и стаканы, в которые дурак имеет право метать деревянными шарами, купив это завидное право и привилегию за рубль серебра. И прибыли-то дураку никакой не было — ни приза за разбитие тарелок ему не давали, ни одобрения зрителей он не получал, потому что расколоть блюдо на трехаршинном расстоянии было легче легкого — а вот поди ж ты — излюбленное это было дурацкое удовольствие — сокрушать десятки тарелок и бутылок... А из «Веселой кухни», разгорячив свою пылкую кровь, направлялся дурак для охлаждения прямехонько в «Таинственный замок»... Это было помещение, входя в которое, вы должны были приготовиться ко всему: бредете ли вы по абсолютно темным узким коридорам, а вам тут и привидения, натертые фосфором, являются, и заушает вас невидимая рука, и скатываются вы по какой-то трубе вниз на какие-то мягкие мешки, а главное, когда вы, радостный, входите, наконец на

залитый светом воздушный мостик, открытый глазам толпящейся внизу публики — снизу дунет на вас таким ураганным ветром, что, если вы мужчина, пальто ваше взвивается выше к голове, как два крыла, шляпа бешено взлетает вверх, а если вы дама, то вся гривуазно настроенная публика ознакомится не только с цветом ваших подвздожек, но и со многим другим, чему место не в политическом фельетоне, а на самой лучшей, крепкой, круто замешанной эротической странице специлиста по этим делам Михайлы Арцыбашева.

Вот что такое «Луна-Парк» — рай для дураков, ад для среднего, случайно забредшего туда человека, и — широкое необозримое поле научного наблюдения для адумчивого человека, изучающего русского дурака в его нормальной, привычной и самой удобной обстановке.

II

Приглядываюсь я к русской революции, приглядываюсь и — ой как много разительно похожего в ней с «Луна-Парком» — даже жутко от целого ряда поразительно точных аналогий...

Все новое, революционное, по-большевистски радикальное строительство жизни, все разрушение старого, якобы отжившего — ведь это же «Веселая кухня»! Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка!

И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся — трах! Вдребезги правосудие. Трах! — в кусочки финансы. Бац! — и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий покосившийся пролеткульский огрызок.

А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт — благо шаров в руках много, — и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители — французы, англичане, немцы и только знай посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает:

— Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!..

Горяч русский дурак — ох, как горяч... Что толку с того, что потом, когда очухается он от очеловачества азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто.

III

А кто это там поехал вниз в «Веселой бочке», стукаясь боками о сотни торчащих тумб, теряя шляпу, круша ребра и ломая коленные чашечки? Ба! Это русский человек с семьей путешествует в наше веселое революционное время из Чернигова в Воронеж. Бац о тумбу — из вагона ребенок вылетел, бац о другую — самого летящего выбросили, трах о третью — маховцы чемодан отняли.

А это кто стоит перед кривым зеркалом и корчится не то от смеха, не то от слез, сам себя не узнавая... А это, видите, доверчивый человек подошел к непримиримой чужепартийной газете, и она его «отразила».

А этот «Таинственный замок», где вас ведут по темным, как ночь, извилинам, где пугают вас, толкают, калечат и кажут вам разных, леденящих душу своим видом чудил, — не чертвычка ли это, — самое яркое порождение Третьего Интернационала, — потому что все интернационально сгруппировались там: и латыши, и русские, и евреи, и китайцы — палачи всех стран, соединяйтесь!..

IV

Но самое замечательное, самое одурающе похожее — это «чертовое колесо»!

Вот вам февральская революция — начало ее, когда колесо еще не закрутилось... Посредине его, в самом центре, стоит самый замечательный «дурак» современности — Александр Керенский, и кричит он зычным митинговым голосом:

— Пожалуйте, товарищи! Делайте игру. Сейчас закрутим.

Милкоков! Садись, не бойся. Тут весело.

— Чем же весело?

— Ощущение веселое... А вот как закружит, да как начнет всех швырять к барьеру... Впрочем, ты садись в самый центр, около меня — тогда удержишься... И ты, Гучков, садись — не бойся... Славно закрутим... Ну... все сели? Давай ход! Поехала!

Поехала.

Несколько оборотов «чертова колеса» — и вот уже ползет, с выпученными глазами, тщетно стараясь удержаться за соседа, Павел Милкоков.

Взззз! — свистит раскрученное колесо, быстро скользит по отполированной предыдущими «опытами» поверхности Милкоков — трах и больно стучается о барьер, бедняга, вышвырнутый из центра непреодолимой центробежной силой.

А вот и Гучков пополз вслед за ними, уцепясь за рукав Скобелева... Отталкивает его Скобелев, но — поздно... Уте-ряна мертвая точка, и оба разлетаются, как пушинки от урагана.

— А! — радостно кричит Церетели, уцепясь за ногу Керейского. — Держись крепче, как я. Самые левые и самые правые летят, а мы, центр, удержимся...

Куда там! Уже оторвался и скользит Церетели, за ним Чхеидзе — эх их куда выкинуло — к самому барьеру, «иа сей погибельный Капказ» порасшвыривало.

Радостно посмеивается Керейский, бешено вертятся в самом центре — кажется, и конца не будет этому сладостному ощущению... Любо молодому главоверху. Но вот у ног его закрутился бесформенный комок из трех голов и шести ног, называемый в просторечии Гоцлибердан — уцепился комок за Керейского, обвился вокруг его ноги, жалобно закричал главоверх, сдвинулся на вершок влево, но... для чертова колеса достаточно и этого!

Заскрипела полированная поверхность, и летит начальник или, по-нынешнему, «комиссар чертова колеса», вверх тор-машками не только к барьеру, а даже за барьер беднягу выкинуло, и грянулся он где-то не то в Лондоне, не то в Париже.

Расшвырвало, всех расшвырвало по барьеру чертова коле-са, и постепенно замедляется его ход, и почти останавлива-ется оно, а тут уже — глядь! — налезла на полированный круг новая веселая компания: Троцкий, Ленин, Нахамкис, Луначарский, и кричит новый «комиссар чертова колеса» — Троцкий:

— К нам, товарищи! Ближе! Те дураки не удержались, но мы-то удержимся! Ходу! Крути, валия! Поехала!!

— Взззз!..

А мы сейчас стоим кругом и смотрим: кто первый попол-зет око-рачь по гладкой полированной поверхности, где не за что уцепиться, не на чем удержаться и кого на какой барьер вышвырнет.

Ах, поймать бы!

Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина

Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого гнусного хозяина-кровопийцы поденную плату за 9 часов работы — всего два с полтиной!!!

— Ну, что я с этой дрянью сделаю?... — горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью... — И жрать хочется, и выпить охота, и подметки к сапогам нужно подбросить, старые — одна, вишь, дыра... Эх ты, жизнь наша распрокаторжная!!!

Зашел к знакомому сапожнику: тот содрал полтора рубля за пару подметок.

— Есть ли на тебе крест-то? — саркастически осведомил-ся Пантелей.

Крест, к удивлению ограбленного Пантелея, оказался на своем месте, под блузой, на волосатой груди сапожника.

— Ну, вот, остался у меня рупь-целковый, — со вздохом подумал Пантелей. — А что на него сделаешь? Эх!..

Пошел и купил на целковый этот полфунта ветчины, коробочку шпрот, булку французскую, полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос — так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось.

И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, так ему тяжко сделалось, так обидно, что чуть не заплакал.

— За что же, за что?... — шептали его дрожащие губы. — Почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой очищенной, да

консервов, да ветчины, света Божьего не вижу... О, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу!.. То-то бы мы пожили по-человечески!

* * *

Однажды, весной 1920 года, рабочий Пантелей Грымзин получил свою поденную плату за вторник: всего 2700 рублей.

— Что же я с ними сделаю, — горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. — И подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-ни-будь — смерть хочется!

Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми стору-блевками.

Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось 14 целковых... Приценился к десятку папирос, плюнул и ото-шел.

Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать и... так горько ему сделалось, что чуть не заплакал.

— Почему же, — шептали его дрожащие губы, — почему богачам все, а нам ничего... Почему богач ест иежиую розовую ветчину, объедается шпротами и белыми булками, заливает себе горло настоящей водкой, пенистым пивом, курит папиросы, а я, как пес какой, должен жевать чер-ствый хлеб и тянуть тошнотворное пойло на сахарине!.. Почему одним все, другим — ничего?..

* * *

Эх, Пантелей, Пантелей... Здорового ты дурака свлял, братец ты мой!

Новая русская сказка (Вместо предисловия)

Матери!

Вот уже сколько лет вы бессознательно обманываете ва-ших детей, рассказывая им старый ложный вариант сказки о Красной Шапочке и Сером Волке.

Пора, наконец, открыть вам глаза на истинное положение вещей, пора пролить свет истины на клеветническое измыш-ление о бедном добродушном Сером Волке!..

Вот как было дело:

Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчи-ке и о Сером Волке.

У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.

Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь, — он подарил ей красную шапочку.

Почему именно красную?

Именно потому, что дурак красному рад.

* * *

И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей: — Нечего зря баклуши бить! Отнеси бабушке горшочек масла, лепешечку, да штоф вина: может, старуха наклюка-ется, протянет ноги, а мы тогда все ее животишки и достат-ки заберем.

— Я, конечно, пойду, — отвечает Красная Шапочка. — Но только чтобы идти не больше восьмичасового рабочего дня. А насчет бабушки — это мысль.

Перемигнулись; хихикнула Красная Шапочка и, напялив свой дурацкий головной убор, пошла к бабушке.

Идти пришлось лесом. Идет, Интернационал напевает, красную гвоздику рвет. Вдруг из-за куста выходит некий таинственный мальчик и говорит:

— Позвольте представиться: заграничный мальчик Лев Троцкий. Чего несете? О-о, да тут прекрасные вещи! Дай-ка я их тово... Да не плачь — я ведь тебе стаканчик-другой поднесу.

— А что же я бабушке-то скажу?

— Скажи — Серый русский Волк слопал. Вали, как на мертвого.

Пришла, пошатываясь, к бабушке Красная Шапочка. Старуха к ней:

— Принесла?

— Да как же! Держи карман шире! Разве этот грабитель, Серый Волк, пропустит — все слопал!

Только облизнулась бедная старуха.

А в это время, как известно, жил-был у бабушки Серенький Козлик. Вздумалось козлику в лес погуляти.

— Отпусти ты его, буржуя, — советует Красная Шапочка. — Пусть идет в лес. Довольно ему, саботажнику, дома лодырничать. Как говорится: все на фронт.

Отпустила бабушка Серенького Козлика в сопровождении Красной Шапочки, а той только того и иужно. Едва вошли в лес — из-за куста давешний мальчик:

— А что, товарищ, не слопать ли нам козла?

— А что я бабушке скажу?

Подмигнул мальчик, хихикнул:

— А Серый русский Волк на что? Вали на него — вывезет. Кстати, старуха-то сама фартовая? Клев есть?

— Да ежели потрясти — есть чего. Только на мокрое дело я не пойду. Чтобы без убийства.

— А Серый Волк на что? Свалим на эту скотину. Айда!

Пошли и «пришили» старушку.

Зажили в старушкином доме припеваючи. Мальчик на старушкиной кровати развалился, целый день валяется, а Красная Шапочка по хозяйству хлопочет, сундуки взламывает.

* * *

А в это время по всему лесу пошел нехороший и для добродушного Серого Волка позорный слух, что будто бы он не только людей провизии и продуктов лишает, не только буржуазного козленка зарезал, но и самое бабушку прикончил.

Обидно стало Серому. Пойду, думает, к старухе, лично все выясню.

Приходит — те-те-те! Полуштоф пустой на столе стоит, на стене козлиная шкура, а Красная Шапочка уже в бабушкиных нарядах цеголяет.

— Ловко сработано, — с горечью подумал Серый Волк.

Подошел к Троцкому, подсел на краешек кровати и спрашивает:

— Отчего у тебя такой язык длинный?

— Чтобы на митингах орать.

— Отчего у тебя такой носик большой?

— При чем тут национальность?

— Отчего у тебя такие большие ручки?

— Чтобы лучше сейфы вскрывать! Знаешь наш лозунг: грабь награбленное!

— Отчего у тебя такие ножки большие?

— Идиотский вопрос! А чем же я буду, когда засыплюсь, в Швейцарию убежать?

— Ну, нет, брат, — вскричал Волк и в тот же миг — гам! — и съел заграничного мальчика, сбил лапой с головы глупой девчонки красную шапочку и вообще навел Серый такой порядок, что снова в лесу стало жить хорошо и привольно.

Кстати, в прежнюю старую сказку в самый конец впутался какой-то охотник.

В новой сказке — к черту охотника.

Много вас тут, охотников, найдется к самому концу придумать...

Усадьба и городская квартира

Когда я начинаю думать о старой, канувшей в вечность России, то меня больше всего умиляет одна вещь: до чего это была богатая, изобильная, роскошная страна, если последних три года повального всеобщего, равного, тайного и явного грабежа все-таки не могут истощить всех накопленных старой Россией богатств.

Только теперь начинаешь удивляться и разводить руками:

— Да что же это за хозяин был такой, у которого даже после смерти его — сколько ни тащат, все растащить не могут...

Большевики считали все это «награбленным» и даже клич такой во главу угла поставили:

— Грабь награбленное!

Ой, не награблено это было. Потому что все, что награблено, никогда впрок не идет: тут же на месте пропивается, проигрывается в карты, раздаривается дамам сердца грабителей — «марухам» и «шмарам».

А старая Россия не грабила; она накапливала.

Закрою я глаза — и чудится мне старая Россия большой помещичьей усадьбой...

Вот миновал мой возок каменные, прочно сложенные почерневшие от столетий ворота, и уже несут меня кони по длинной, без конца края липовой аллее, ведущей к фасаду русского, русского, русского — такого русского, близкого сердцу дома с белыми колоннами и старым-престарым фронтоном.

Солнце пробивается сквозь листву лип, и золотые пятна бегают по дорожке и колеблются, как живые...

А на террасе уже стоит вальяжный, улыбающийся хозяин и радостно приветствует меня.

Объятия, троекратные поцелуи по русскому обычаю и первый вопрос:

— Обедали?

И праздный вопрос, потому что мой ответ все равно не нужен хозяину: пусть сытый гость лопнет по всем швам. Но обедом он будет накормлен...

Те же золотые пятна бегают уже по белоснежной скатерти, зажигаются рубинами на домашней наливке, вспыхивают изумрудами на смородиновке, настоенной на молодых, остро пахнущих листьях, и уже дымит перед гостем и хозяином наваристый борщ, и пыжится пухлая, как пуховая перина, кулебяка...

— А вы пока маринованных грибочков — домашние! И вот рыбки этой — из собственного пруда... А квасом — прямо говорю — могу похвастаться: в нос так и шибает — сама жена у меня по этому делу ходок...

Тихо прячется за беззвучную рощу красное утомленное солнце. Смягченная далью, грустно и красиво доносится еле слышная песня косарей.

— Эй, — кричит кому-то вниз разошедшийся хозяин. — По случаю приезда дорогого гостя — выдать косарям по две чарки водки! А вы, голубчик, не устали ли? Может, отдохнуть хотите? Пойдемте, покажу вашу комнату...

В моей комнате уже зажжена лампа... Усталые ноги мягко ступают по толстым половикам, а взор так и тянется к свежим холодноватым простыням раскрытой постели...

— Вот вам спички, вот свеча, вот графин грушевого квасу — вдруг да пить ночью захотите. Да вы, может быть, съели бы чего-нибудь на ночь? Перепелочки есть, осетрина холодная... Нет? Ну, Господь с вами. Спите себе.

Я один... Подхожу к этажерке, что важно выпятилась в углу сотней прочных кожаных книжных переплетов, начинаю перебирать книги. Гоголь, Достоевский, Толстой, Успенский... Почитаю...

Ах, как хорошо в русской России почитать русскому чело- веку русского писателя, ах, как хорошо знать, что ты под гостеприимным кровом русского приветливого хлебосола, что, когда ты погасишь лампу, в окно к тебе будут заглядывать бледные русские звезды, а за окном тихо и ласково будут перешептываться о своих делах на своем непонятном языке скромные, застенчивые русские березки и елочки...

Все задремывает... И разнокалиберная шумливая птица в птичнике, и толстая неповоротливая, обильно кормлен- ная и поенная скотина в хлеву, и золотой хлеб в закромах, и свертки плотного домотканого полотна в темных, окован- ных железом укладках, и старые седые бутылки в дедовском погребе — все, все спит — плотное, солидное, накопленное не в год и не на год, а так, что еще и внукам останется...

С расчетом жили люди, замахиваясь в своих делах и пла- нах на десятки лет, жили плотно, часто лениво, иногда скучно, но всегда сытно, но всегда нося в себе эволюцион- ные семена более горячего, более живого и бойкого будуще- го...

Все стояло на своем месте, и во всем был так необходи- мый простому русскому сердцу уют.

* * *

А теперь новая русская «власть» живет не в дедовской помещичьей усадьбе, а в городе: съехали жильцы с кварти- ры, так вот теперь эти новые и взяли покинутую квартиру, значит.

Ясно, что, когда с квартиры съезжают, она — какой вид имеет: голые стены, с оторванными кое-где обоями, с ярко- желтыми прямоугольниками в тех местах, где стоял комод или шкаф... В выбитое окно тянет сырым ветерком, на полу обрывки веревок, окурки, какие-то рваные бумажки, два-три аптечных пузырька с цветущим рецептом, в углу поломан- ный продавленный стул, брошенный за ненадобностью.

Переехала сюда «новая власть»... Нет у нее ни мебели, ни ковров, ни портретов предков...

Переехали — даже комнат не подмели...

На окнах появились десятки опорожненных бутылок, огрызков засохшей колбасы, в угол поставили утащенный откуда-то роскошный шелковый диван с ободранным боком и около него примостили опрокинутый пивной бочонок в виде ночного столика.

На стене на огромных крюках — ружья, в углу обрывок израсходованной пулеметной ленты и старые полуистлевшие обмотки.

Сор на полу так и не подметают, и нога все время наталкивается то на пустую консервную коробку, то на распухшую голову селедки...

Приходит новый хозяин. В мокрой, пахнущей кислым шинели, отяжелевший от спирта-сырца, валится прямо на диван.

А в бывшем кабинете помещаются угрюмые латыши, а в бывшей детской, где еще валяется забытый игрушечный зайчонок с оторванными лапами, спят вонючие китайцы и «красные башкиры»...

Никто из живущих в этой квартире не интересуется ею и никто не собирается устроиться в ней по-человечески.

Никому в голову не придет вставить разбитые стекла, вымести сор, разостлать белые, с синей каймой половички, развесить любимые портреты, застлать кровать чистой простыней.

Зачем? День прошел, и слава Интернационалу. День да ночь — сутки прочь.

Никто и не верит в возможность устроиться в новой квартире хоть года на три...

Стоит ли? А вдруг придет хозяин и даст по шеям.

Так и живут. Зайдет этаким в квартиру, наследит сапогами, плюнет, бросит окурок, размажет для собственного развлечения на стене клопа и пойдет по своим делам: расстреливать контрреволюционера и пить спирт-сырец.

Непринято живет, по-собачьему.

Таков новый хозяин России.

Хлебушко

У главного подъезда монументального здания было большое скопление карет и автомобилей.

Мордастый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных кучеров и тут же низкими поклонами приветствовал господ во фраках и шитых золотом муидирах, солидно выходящих из экипажей и автомобилей.

Худая деревенская баба в штопанных лаптях и деревенском платке, низко надвинутом на загорелый лоб, робко подошла к швейцару.

Переложив из одной руки в другую узелок и поклонившись в пояс...

— Тебе чего, убогая?

— Скажи-ка мне, кормилец, что это за господа такие?

— Межсоюзная конференция дружественных держав по вопросам мировой политики!

— Вишь ты, — вздохнула баба в стоптанных лапотках. — Сподобилась видеть.

— А ты кто будешь? — небрежно спросил швейцар.

— Россия я, благодетель, Россеюшка... Мне бы тут за колонкой постоять да хоть одним глазком поглядеть: как-таки бывают конференции. Может, и на меня, сироту, кто-нибудь глазком зыркнет да обратит свое такое внимание.

Швейцар подумал и, хотя был иностранец, но тут же сказал целую строку из Некрасова:

— «Наш не любит оборванной черни»... А впрочем, стой — мне что.

По лестнице всходили разные: и толстые, и тонкие, и оципаннные, во фраках, и дородные в сверкающих золотом сюртуках с орденами и лентами.

Деревенская баба всем низко кланялась и смотрела на всех с робким испугом и тоской ожидания в слезящихся глазах.

Одному — расшитому золотом с ног до головы и обвешанному целой тучей орденов — она поклонилась ниже других.

— Вишь ты, — тихо заметила она швейцару, — это, верно, самый главный!

— Какое! — пренебрежительно махнул рукой швейцар. — Внимания не стоящий. Румын.

— А какой важный. Помню, было время, когда у меня

под окошком на скрипочке пиликал, а теперь ишь ты! И где это он так в орденах вывалялся?..

И снова на лице ее застыло вековое выражение тоски и терпеливого ожидания...

Даже зависти не было в этом робком сердце.

* * *

Английский дипломат встал из-за зеленого стола, чтобы размяться, подошел к своему коллеге-французу и спросил его:

— Вы не знаете, что это там за оборванная баба около швейцара в вестибюле стоит?

— Разве не узнали? Россия это.

— Ох уж эти мне бедные родственники! И чего ходят, спрашивается? Сказано ведь: будет время — разберем и ее дело. Стоит с узелком в руке и всем кланяется... По-моему, это шокинг.

— Да... Воображаю, что у нее там в узле... Наверное, полкаравая деревенского хлеба и больше ничего.

— Как вы говорите?.. Хлеб?

— Да. А что же еще?

— Вы уверены, что там у нее хлеб?

— Я думаю.

— Гм... да. А впрочем, надо бы с ней поговорить, расспросить ее. Все-таки мы должны быть деликатными. Она нам в войну здорово помогла. Я — сейчас!

И англичанин поспешно зашагал к выходу.

* * *

Вернулся через пять минут, оживленный.

— Итак... На чем мы остановились?

— Коллега, у вас на подбородке крошки...

— Гм... Откуда бы это? А вот мы их платочком.

* * *

Увязывая свой похудевший узелок, баба тут же быстро и благодарно крестилась и шептала швейцару:

— Ну, слава Богу... Сам-то обещал помочь. Теперь, поди, немного и ждать.

И побрела восвояси, сгорбившись и тяжело ступая усталыми ногами в стоптанных лапотках.

Эволюция русской книги

Этап первый (1916 год)

— Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новые книги вышло. Отложите мне «Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь к природе» Бельше? Чье издание? Сытина? Нет, я бы хотел саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюль Меньдеса? Только, ради Бога, не «Сфинкса»: у них перевод довольно неряшлив. А что это? Недурное издание. Конечно, Голике и Вильборг? Ну, нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин» — всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации? Самоклиш-Судковский? Сладковаты. И потом формат слишком широкий: лежать неудобно!..

Этап второй (1920 год)

— Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия — и ни одного нет. Что ж мне делать?

— Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались.

— Гм! Вот три-четыре более или менее подходящи: «Описание древних памятников Олонецкой губернии», «А вот и она — вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание речей Дизраэли (лорда Биконсфилда)»...

— Ну, вот и берите любую.

— Слушайте, а «Памятники Олонецкой губернии» — интересная?

— Интересная, интересная. Не задерживайте очередей.

Этап третий

— Слышали новость?!!

— Ну, ну?

— Ивовики у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалилась! Везет же людям! У них по этому поводу вечеринка!

- А как называется книга?
- Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, Бильдяевы, Россомahiны и Партачевы.
- Побегу и я.
- Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких книжечек по 48 страниц и продать.
- Как же это так: без начала, без конца?
- Подумаешь — китайские церемонии.

Этап четвертый

Публикация:

«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера — читает всю «Полтаву» и всего «Евгения Онегина». Цены по соглашению. Он же дирижирует танцами и дает напрокат мороженицу».

Разговор на вечере:

- Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?
- Выучил наизусть.
- Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?
- Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были, так по книжке вызубрил.
- А у него почерк хороший?
- При чем тут почерк? Книга напечатана.
- Виноват, это как же?
- А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут сверху черной краской, приложат к белой бумаге да как даванут — оно и отпечатается.
- Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присест! Папиросочку! Оля, Петя, Гуля — идите послушайте, мусье Горанников рассказывает, какие штуки выделял в свое время Пушкин! Мороженицу тоже лично от него получили?

Этап пятый

- Послушайте! Хотя вы и хозяин только мелочной лавки, но, может быть, вы поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете.
- А в чем дело?
- Слушайте... Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? Дайте мне ее почитать на сон грядущий — не могу заснуть без чтения. А текст там очень любопытный — и мыло, и свечи, и сметана, — обо всяком таком описано. Прочту — верну.
- Да... все вы так говорите, что вернете. А наемдни один тоже так-то вот — взял почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка, и буквы разные...
- У меня тоже, знаете ли, сын растет!..

Этап шестой

- Откуда бредете, Иван Николаевич?
- А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы.
- Также нашли удовольствие: на виселицы смотреть!
- Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» похожа, другая на «И» — почитал и пошел. Все-таки чтение — пища для ума.

Русский в Европах

Летом 1921 года, когда все «это» уже кончилось, — в курзале одного заграничного курорта собралась за послеобеденным кофе самая разношерстная компания: были тут и греки, и французы, и немцы, были и венгерцы, и англичане, один даже китаец был...

Разговор шел благодушный, послеобеденный.

- Вы, кажется, англичанин? — спросил француз высокогритого господина. — Обожаю я вашу нацию: самый дельный вы, умный народ в свете.
- После вас, — с чисто галльской любезностью поклонился англичанин. — Французы в минувшую войну делали чудеса... В груди француза сердце льва.
- Вы, японцы, — говорил немец, попыхивая сигарой, — изумляли и продолжаете изумлять нас, европейцев. Благодаря вам слово «Азия» перестало быть символом дикости, некультурности...
- Недаром нас называют «немцами Дальнего Востока», — скромно улыбувшись, ответил японец, и немец вспыхнул от удовольствия, как пук соломы.

- В другом углу грек тужился, тужился и наконец сказал:
- Замечательный вы народ, венгерцы!
- Чем? — искренне удивился венгерец.
- Ну, как же... Венгерку хорошо танцуете. А однажды я купил себе суконную венгерку, расшитую разными этатими штуками. Хорошо носилась! Вино опять же: нарезать венгерским — самое святое дело.
- И вы, греки, хорошие.
- Да что вы говорите?! Чем?
- Ну... вообще. Приятный такой народ. Классический. Маслины вот тоже. Периклы всякие.

А сбоку у стола сидел один молчаливый бородатый человек и, опустив буйную голову на ладони рук, сосредоточенно-печально молчал.

Любезный француз уже поглядывал на него. Наконец, не выдержав, дотронулся до его широкого плеча:

- Вы, вероятно, м-сье, турок? По-моему — одна из лучших наций в мире!
- Нет, я не турок.
- А кто же, осмелюсь спросить?
- Да так, вообще, приезжий. Да вам, собственно, зачем?
- Чрезвычайно интересно узнать!
- Русский я!!

Когда в тихий дремлющий летний день вдруг откуда-то сорвется и налетит порыв ветра, как испуганно и озабоченно закачаются, зашележат верхушки деревьев, как беспокойно завозятся и защебечут примолкшие от зноя птицы, какой тревожной рыбью вдруг подернется зеркально-уснувший пруд!

Вот так же закачались и озабоченно, удивленно зашебетали венгерские, французские, японские головы; так же доселе гладкие зеркально-спокойные лица подернулись рябью тысячи самых различных взаимно борющихся между собой ощущений.

- Русский? Да что вы говорите? Настоящий?
- Детки! Альфред! Мадлена! Вы хотели видеть настоящего русского — смотрите скорее! Вот он, видите, сидит.
- Бедняга!
- Бедняга-то бедняга, да я давеча, когда расплачивался, бумажник два раза вынимал. Переложить в карманы брюк, что ли?
- Смотрите, вон русский сидит.
- Где, где?! Слушайте, а он бомбу в нас не бросит?
- Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?
- Немца бы от него подальше убрать. А то немцы уж больно ему насолили... как бы он его не тово!
- Француз сочувственно, но с легким оттенком страха жал ему руку, японец ласково с тайным соболезнованием в узких глазках гладил его по плечу, кое-кто предлагал сигару, кое-кто плотней застегнулся. Заботливая мать, схватив за руки плачущих Альфреда и Мадлену, пыхтя, как буксирный пароход, утащила их домой.

— Очень вас большевики мучили? — спросил добрый японец.

- Скажите, а правда, что в Москве собак и крыс ели?
- Объясните, почему русский народ свергнул Николая и выбрал Ленина и Троцкого? Разве они были лучше?
- А что такое взятка? Напиток такой или танец?
- Правда ли, что у вас сейфы вскрывали? Или, я думаю, это одна из тысячи небылиц, распространенных врагами России... А правда, что если русскому рабочему запеть «Интернационал» — он сейчас же начинает вешать на фонаре прохожего человека в крахмальной рубашке и очках?
- А правда, что некоторые русские покупали фунт сахара за пятьдесят рублей, а продавали за тысячу?
- Скажите, совнарком и совнархоз опасные болезни? Правда ли, что разбойнику Разину поставили на главной площади памятник?
- А вот я слышал, что буржуазные классы имеют тайную ужасную привычку, поймав рабочего, прокусывать ему артерию и пить теплую кровь, пока...
- Горит!! — крикнул вдруг русский. шваркнув полупудовым кулаком по столу.
- Что горит? Где? Боже мой... А мы-то сидим...
- Душа у меня горит! Вина!! Эй, кельнер, камерьере, шестерка — как тебя там?! Волоки вина побольше! Всех угощаю!! Поймете ли вы тоску души моей?! Сумеете ли заглянуть в бездну хаотической первозданной души славянской. Всем давай бокалы. Эх-ма! «Умру, похоронят, как не жил на свете...»

Сгустились темно-синие сумерки.

Русский, страшный, растрепанный, держа в одной руке бутылку Поммери-сек, а кулаком другой руки грозя заграничному небу, говорил:

— Сочувствуете, говорите? А мне чихать на ваше такое заграничное сочувствие!! Вы думаете, вы мне все, все, сколько вас есть, мало крови стоили, мало моей жизни отняли? Ты, немецкая морда, ты мне кого из Циммервальда прислал? Разве так воюют? А ты, лягушатник, там... «Мон ами, да мон ами, бон да бон», а сам взял да большевикам Крым и Одессу отдал? Разве это боновое дело? Разве это фратерните? Разве я могу забыть? А тебе разве я забуду, как ты своих носатых китайских чертей прислал — наш Кремль поганить, нашу дор... доррогую Россию губить, а? А венгер... тоже и ты хорош: тебе бы мышеловками торговать да венгерку плясать, а ты в социалистические революции полез, Бела-Кунов, черт их подери, на престолы сажать... а? Ох, горько мне с вами, ох, тошнехонько... Пить со мной мое вино вы можете сколько угодно, но понять мою душеньку?! Горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую... «Умру-у, похоро-о-нят, как не-е жил на свете!»

И долго еще в опустевшем курзале, когда все постепенно, на цыпочках, разошлись — долго еще разносились стоны и рыдания полупьяного одинокого человека, непонятого, униженного в своем настоящем трезвом виде и еще более не понятого в пьяном... И долго лежал он так, неразгаданная мятущаяся душа, лежал, положив голову на ослабевшие руки, пока не подошел метрдотель:

— Господин... Тут счет.

— Что? Пожалуйста! Русский человек за всех должен платить! Получите сполна!

Осколки разбитого вдребезги

Оба они сходятся у ротонды севастопольского Приморского бульвара, перед закатом, когда все так неожиданно меняет краски: море из зеркально-голубого переходит в резко синее, с подчеркнутым под верхней срезанной половинкой солнца горизонтом; солнце из ослепительно-оранжевого превращается в огромный полукруг нестерпимо красного цвета; а спокойное голубое небо, весь день томно дрожавшее от ласк пылкого зноя, к концу дня тоже вспыхивает и загорается ярким предвечерним румянцем — одним словом, когда вся природа перед отходом ко сну с неожиданной энергией вспыхивает новыми красками и хочет поразить пышностью, тогда сходятся они у ротонды, садятся они на скамеечку под нависшими ветвями маслины и начинают говорить...

У одного красивый старческий профиль чрезвычайно правильного рисунка, маленькая белая, очень чистенькая борода и черные еще живые глаза. Он петербуржец, бывший сенатор, на всех торжествах появлялся в шитом золотом мундире и белых панталонах; был богат, щедр, со связями. Теперь на артиллерийском складе поленно разгружает и сортирует снаряды.

Другой — маленький рыжий старичок, с бесцветным петербургским личиком и медлительными движениями человека, привыкшего повелевать. Ов был директором огромного металлургического завода, считавшегося первым на Выборгской стороне. Теперь он — приказчик комиссионного магазина и в последнее время приобрел даже некоторую опытность в оценке поношенных дамских капотов и плюшевых детских медведей, приносимых на комиссию.

Сойдясь и усевшись друг против друга, они долго молчат, будто раскачиваясь; да и в самом деле раскачивают головами, как два белых медведя во время жары в бассейне зоологического сада.

Наконец, первый раскачивается сенатор.

— Резкие краски, — говорит он, указывая на горизонт. — Нехорошо.

— Аляповато, — укоризненно соглашается приказчик комиссионного магазина. — Все краски на палитре не смешаны, все краски грубо подчеркнуты.

— А помните наши петербургские закаты...

— Ну!!

— Небо — розовое с пепельным, вода — кусок розового зеркала, все деревья — темные силуэты, как вырезанные. Темный рисунок Казанского собора на жемчужном фоне...

— И не говорите! Не говорите! А когда зажгут фонари Троицкого моста...

— А кусочек канала, где Спас на крови...

— А тяжелая арка в конце Морской, где часы...

— Не говорите!

— Ну скажите: что мы им сделали? Кому мы мешали?

— Не говорите!

* * *

Оба старика поникают головами... Потом один из них снова распускает белые паруса сладких воспоминаний и несется в быстрой чудесной лодке, убаюкиваемый, все назад, назад, назад...

— Помните постановку «Аиды» в Музыкальной драме?

— Да уж Лапицкий был — ловкая шельма! Умел сделать. Бал у Лариных, например, в «Онегине», а?

— А второй акт «Кармен»?

— А оркестр в «Мариинке»? Помните, как вступят скрипки да застонут виолончели — Господи, думаешь, где же это я — на земле или на небе?!

— Ах, Направник, Направник!..

Сенаторская голова, седая голова с профилем римского патриция никнет...

Рядом два восточных человека, в изумительно выутюженных белых костюмах и безукоризненных воротничках, тоже перебарываются тихими фразами:

— С утра только я и успел взять из таможни семь ящиков лимонов и двенадцать — спичек. Понимаешь?

— А Амбарцун?

— Амбарцун мануфактурой завалили.

— А Вилли Ферреро в Дворянском собрании? Это Божье чудо, это будто Христос в детстве вторично спустился на землю!.. Половина публики тихо рыдала...

— А что с какао?

— Амбарцун какао завалили.

— Чего я никогда уже, вероятно, не услышу — это игры Гофмана.

— А помните, как Никиш...

Из ресторана ветерок доносит дразнящий запах жареного мяса.

— Вчера с меня за отбивную котлету спросили восемь тысяч...

— А помните «Медведя»?

— Да. У стойки. Правда, рюмка лимонной водки стоила полтинник, но за этот же полтинник приветливые буфетчики буквально навязывали вам закуски: свежую икру, заливную утку, соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.

— А могли закусить и горяченьким: котлетками из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане... Да!! Слушайте — а растегаи?!

— Ах, Судаков, Судаков!..

— Мне больше всего нравилось, что любой капитал давал тебе возможность войти в соответствующее место: есть у тебя пятьдесят рублей — пойдешь к Кюба, выпей рюмочку Мартеля, проглоти десяток устриц, запей бутылочкой шавли, заешь котлеткой даньон, запей бутылочкой Поммери, заешь гурьевской кашей, запей кофе с Джинджером... Имеешь десять целковых — иди в «Вену» или в «Малый Ярослав». Обед из пяти блюд с цыпленком в меню — целковый, лучшее шампанское — восемь целковых, водка с закуской — два целковых... А есть у тебя всего полтинник — иди к Федорову или к Соловьеву: на полтинник и закусишь, и водки выпьешь, и пивцом залынешь...

— Эх, Федоров, Федоров!.. Кому это мешало?..

— А летом в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Боккачио» изображает... Помните? Как это она: «Так надо холить по-очку»... Ах, Зуппе! Ах, Оффенбах!..

Восточные люди наговорили о своих делах, прислушиваются к разговору сенатора и директора завода. Слушают, слушают — и полное непонимание на их лицах, украшенных солидными носами... На каком языке разговор?..

— А «Маскотта»? «Сядем в почтовую карету скорей»... А Джонсовская «Гейша»?.. «Глупо, наивно попала в сети я»...

— Ну!.. А «Луна-Парк»?

— А Айседора!

— А премьеры в Троицком или в Литейном!!

— А пуант с Фелисеном и ужинами под румын, у воды!..

— А аттракционы в Вилла Роде?..

— А откровения психо-графолога Моргенштерна! Хе-хе...

— А разве лезло утром кофе в горло без «Петербургской Газеты»?

— Да! С романом Брешки внизу! Как это он: «Виконт надел галифе, засунул в карман парабеллум, затянулся «Болларом», вскочил на гунтера, дал шенкеля и поскакал к авантюристу Петко Мирковичу!» Слова-то все какие подобранные, хе-хе...

— А «Сатирикон» по субботам! С утра торопишь Агафью, чтобы сбегала на угол за журналом...

— А премьеры андреевских пьес... Какое волнующее чувство!

— А когда художественники приезжали...

И снова склоненные головы, и снова щемящий душу рефрен:

— Чем им мешало все это...

Подходит билетер с книжечкой билетов и девица с огромным денежным ящиком.

— Возьмите билеты, господа...

— Мы... этого... нам не надо. Почему билеты?

— По пятьсот...

— Только за то, чтобы посидеть на бульваре?! Пятьсот?..

— Помилуйте, у нас музыка...

— Пойдем, Алексей Валерьяныч...

Понурившись, уходят.

У выхода приостанавливаются.

— А наш Летний сад, помните? Эти дряхлые статуи, скамейки... Музыка тоже играла...

— А канавка у Дворца. «Уж полиночь, а Германия все нет!» Какие голоса были!.. Ах, Лиза, Лиза

— За что они Россию так?..

Чистокровный юморист

«Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непрерывно с момента рождения».

Так в 1910 году в сборнике «Веселые устрицы» Аркадий Тимофеевич Аверченко начал изложение своей автобиографии.

Что же, скромность действительно была его резкой отличительной чертой с самого момента рождения — в 1881 году в городе Севастополе. Кстати, более точное указание на эту знаменательную дату содержит лексикон западногерманского слависта В. Казака — восемнадцатого марта 1881 года (см.: *Lexikon der russischen Literatur ab 1917.* — 1. Aufl. — Stuttgart. Kröner, 1976, S. 40). Такая точность заслуживает тем большего внимания, что автор лексикона, видимо, человек тщательный: даже Л. И. Брежнев он считал необходимым рекомендовать своим читателям как русского писателя (см.: Там же, *Ergänzungsband*. В. 38. München, 1986, S. 38—39).

Да, так вот именно из врожденной скромности, знакомя читателей со своей биографией, Аверченко не осперегался указывать на тот факт, что в день его появления на свет «звонили в колокола» и было вообще «народное ликование». Правда, «злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, но я, — писал Аверченко, — до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?»

Материальное благополучие не грозило семье будущего писателя.

Купец Аверченко-старший не обращал на сына никакого внимания, так как — по свидетельству последнего — «по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым добросовестным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями».

Ничего удивительного не было в том, что уже с пятнадцати лет Аверченко вынужден был определиться на службу — младшим писцом в транспортной конторе по перевозке кладов.

Прослужил он там всего год и в 1897 году, шестнадцати лет, уехал из Севастополя в поселок Исаевский, на каменноугольные рудники.

«Это место было для меня наименее подходящим, — вспоминал он впоследствии, — и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник на свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже».

Шутки шутками, но читать эти воспоминания Аверченко, как и лучшие из его юмористических рассказов — прежде всего, — просто грустно.

«Вся их жизнь, — писал Аверченко об углекопах, — имела вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки...

«Однажды ехал я перед Рождеством, — вспоминал он, — с рудника в ближайшее селение и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов. — Что это такое? — изумился я.

— А шахтеры, — улыбнулся сочувственно возница. — Горилку куповали у селе. Для божьего праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

...И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским Мальчиком с пальчиком по всему пути».

Вместе с правлением рудников Аверченко в конце концов переезжает в Харьков и всю последующую жизнь справедливо будет недоумевать: за что его в течение шести лет терпели на этой работе? Именно там, в Харькове, в 1903 году он начинает свою литературную деятельность: тридцать первого октября в газете «Южный край» появляется его первый рассказ «Как мне пришлось застраховать жизнь».

Вскоре он уже редактирует журнал сатирической литературы и юмористики с рисунками «Штык» и, по собственному признанию, совершенно забрасывает службу: «Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на пятьсот рублей, мечтая, что я немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главными из которых были: отсутствие денег...

Пришлось выезжать в Петербург. После столь грозных изданий — «Штык», «Меч» (...я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч») — в Петербурге юмористу пришлось довольствоваться на первых порах мирной «Стрекозой» М. Г. Корнфельда.

Но уже в 1908 году вся его энергия устремляется на основание, издание и популяризацию журнала юмора и сатиры — «Сатирикон» (с 1913 года — «Новый Сатирикон»).

«Говорить об Аверченко — значит говорить о «Сатириконе», — замечает современный исследователь, замечает в духе той самой скромности, которую заведомо в будущих рассказах о себе сам Аверченко.

Да! Но говорить о «Сатириконе» не значит говорить только об Аверченко! — добавим мы, поддержав ту же традицию.

Там сотрудничали художники Ре-Ми (Н. Ремизов), А. Радаков, А. Юнгер, Нитан Альтман, А. Бенуа, Д. Митрохин, Л. Бакст, М. Добужинский, И. Билибин; юмористы — Тэффи и О. Дымов; поэты — Саша Черный, С. Городецкий, О. Мандельштам, В. Маяковский; прозаики — Л. Андреев, А. Куприн, А. Толстой, А. Грин. Их имена говорят сами за себя. Но все же главным автором «Сатирикони» был, разумеется, А. Аверченко.

Он проявил поразительную плодовитость и работоспособность. Он был вездесущ: передовицы и фельетоны, заметки и репортажи, переписка «Почтового ящика»... Междуз Горгона, Фальстаф, Волк, Фома Опискин — это все тот же Аверченко. К нему пришлось признание массового читателя. Слава и успех окутали его, казалось, непроницаемой для неудач завесой. Помимо участия в каждом номере «Сатирикони» — участия преобладающего, — он ежегодно издает сборники своих рассказов, причем не по одному и даже не по два. По подсчетам исследователей, за десятилетие, с 1908 по 1917 год, Аверченко издал более сорока сборников, часть из которых — наиболее удачных

(«Веселые устрицы», «Круги по воде» и др.) — выдержала до двадцати (!) изданий.

Почти все, отмечает О. Н. Михайлов, кто встречал Аверченко в эту пору его славы, вспоминают «крупного, дородного мужчину... в преувеличенно модном костюме, с бриллиантом в сногшибательном галстуке» (Корней Чуковский), «прекрасно выбритого, прекрасно одетого господина, немножко полного, красивого и ленивого» (Лев Гумилевский). Но, пожалуй, точнее всех описал себя сам Аверченко:

«Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Разумеется, не следует преувеличивать литературную значимость произведений Аверченко: перед нами — по масштабам русской литературы — писатель достаточно скромного дарования. Но, добавим мы сразу же, дарования вполне подлинного, оригинального и неповторимого. Мы не найдем в его летучих рассказах глубин и высот гоголевского юмора, резкой остроты и тяжелого блеска щедринской сатиры, изысканного остроумия и полета фантазии булгаковских миниатюр, неподражаемой иронии А. Платонова... Аверченко — весь в мелочи, в факте, в сценке, в непритязательном диалоге, в быстрой и естественной импровизации. Он весь — на живую нитку. Но — живую!..

И еще: Аверченко — реалист. Достаточно перечитать хотя бы его рассказы «История одной картины», «Крыса на подносе», «Оккультные науки» и другие, чтобы понять, что было симпатично и жизненно для него — человека здорового, неизращенного вкуса, в искусстве XX века.

«До сих пор при случайной встрече с модернистами я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданного укусит меня за плечо, или попросит взаймы».

Революцию Аверченко не принял. После запрещения его журнала в августе 1918 года он уезжает на Украину, а затем, в 1919 году, — в Крым (Севастополь), где до конца 1920 года принимает участие в деятельности прессы и театра. После довольно короткого и неудачного опыта газетной работы (Аверченко издавал газету «Юг России») писатель пятнадцатого ноября 1920 года через Константинополь эмигрирует в Прагу. Как сатирик, он гастролирует по многим городам Европы. Его рассказы появляются в Берлине, Праге, Варшаве, Париже и т.п.

Но прежнего Аверченко уже нет. Он скуп на признания, но и сама скупость эта показательна.

«Когда нет быта, с его знакомым уютом, с его традициями — скучно жить, холодно жить...»

А вот его свидетельство об одном из тех, кто делил с ним нелегкую судьбу беженцев:

«...у него было каменное неподвижное лицо, как у старых боксеров, которых другие боксеры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо навсегда делается непробиваемым.

Жесткий это боксер — Константинополь. Каменеет лицо от его ударов» («Аргонавты и золотое руно»).

Олег Николаевич Михайлов, много сделавший для возвращения к нашим читателям произведений А. Т. Аверченко, справедливо утверждает, что в поздних рассказах писателя возникает трагическая нота, усиленная сознанием оторванности от Родины, невозможности полноценно творить вне родного языка и привычного быта. Очевидцы свидетельствуют, что Аверченко «болел смертельной тоской по России».

— Тяжело как-то стало писать... — признавался он. — Не пишется. Как будто не на настоящем стою... (Газета «Сегодня», Рига, 1925, 23).

Умер Аверченко в 1925 году в Праге.

Из многочисленных произведений писателя у нас пока переиздано очень немного, мало сделано и для научного освоения его творчества, но, как показывает опыт, читательские симпатии к Аверченко неизменны.

Мы сегодня представляем нашим читателям самую острую книгу А. Аверченко, изданную в Париже в 1921 году, — «Дюжина ножей в спину революции». Характерно, что В. И. Ленин тогда же откликнулся на ее появление статьей в газете «Правда», рекомендуя некоторые из рассказов талантливого писателя переиздать.

Что же, если революция не боялась «ножей» Аверченко в 1921 году, есть ли у нее основания опасаться их в 1989?

П. АКИМОВ.

Поэзия



Владимир
БОГАТЫРЬ

Дебют в
ЮНОСТИ

☆☆☆

Ты скажи мне, коршун,
Парящий над рекой,
По какому праву
Хищный ты такой?
И зачем охотишь
Маленьких утят,
Если эти птицы
Тоже жить хотят?
Отвечал мне, коршун:
«Знаешь, я бы рад,
Но таким я создан
Много лет назад.
Ну, а те же утки,
Что живут пока,
Разве не лишают
Жизни червяка?»
И растаял в небе
Собеседник мой.
Я с тяжелой душой
Зашагал домой.
Для чего дается
Людам голова,
Коли есть природа,
Что всегда права?

Осенний кисель

Заварил я киселю!
Утром, вечером и днем
Свою душу весело
Этим самым киселем.
Со брусничною кисель!
Шутка ли, из одного
Наварил я литров семь.
Угощать-то некого.
Улетела милая
Из тайги домой.
Ей тайга — постылая,
Мне же — дом родной.
Угощу я солнышко
Этим киселем.
Может, вместе с солнышком
Милую найдем?

Таежный танец

Играет торс
Под тяжестью бревна.
Бревно — листьям,
Не шутка, кил под двести.
А по тайге вприпляс
Идет весна,
И мы с бревном
Танцуем с нею вместе.

Иван КУНИЦЫН,
Алексей НИКОЛАЕВ

НЕДОУМИЕ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

Всесоюзная независимая комплексная экологическая экспедиция «Юности» завершила свою работу в Пермской области. В этом регионе ее участниками были:

Яков ВАЙСМАН — заместитель председателя Экологической комиссии при Пермском городском совете интенсификации экономики, доктор медицинских наук, профессор;

Николай ГРЕБЕНКИН — прокурор города Перми;

Анатолий КОЧЕВ — заведующий отделом коммунальной гигиены Пермской городской санэпидстанции;

Всеволод МАРЬЯН — редактор отдела науки журнала «Юность», руководитель экспедиции;

Алина ФЕДОРОВСКАЯ — начальник Пермского территориального Центра контроля загрязнений природной среды;

Виктор ЧЕРЕНКИН — заведующий санитарным отделом Пермской городской санэпидстанции;

Юрий ШИПАКИН — член Общественно-экологического комитета Перми.

Пермь — крупнейший промышленный центр Западного Урала. 107 промышленных объединений и предприятий производят продукции более чем на 4,5 миллиарда рублей в год. Входит в перечень городов с наиболее высоким уровнем загрязнения.

«Государство совершает преступление, если делает или терпит то, что может быть причиной его гибели».

Спиноза. «Политический трактат».

Вергилий хорошо знал запахи ада. И, как правило, ошибочно отвечал на вопросы Данте:

— Что это? Как будто черемуха цветет.

— Нитробензол¹.

Однако порой он затруднялся в поисках ответа.

— Великий! Чем вызван этот чесночный запах? — спросил флорентиец создателя «Энеиды» в одном из адовых кругов.

— Э-э, — замешкался тот, — сказать точно не берусь. Это пока загадка. Но, говорят, причиной тут — фосген².

...Данте стоял, окруженный толпой обитателей подземного царства. Они каялись ему в своих и чужих грехах, за которые придется расплачиваться, и он записывал все это. Улучив минуту, Вергилий подал коллеге знак: пора бы двигаться дальше. И... экспедиция «Юности» вошла в пермский круг экологической преисподней.

Факел горел долго, а потух внезапно. И несожженный сероводород окутал округу, превысив предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 200 и более раз. Это вызвало в близлежащих жилых кварталах разнообразную реакцию: кто-то поморщился и закрыл форточку; кто-то закашлял, у кого-то началась рвота, а кто-то стал задыхаться и звонить 03.

Факел потух раз, потух другой... сотый, прежде чем эколо-

гическое бедствие поселка Первомайский достигло своего апогея...

Этот микрорайон Перми, населенный почти четырьмя тысячами человек, исследователи называют «язвой». Одной из тех, которыми все больше и больше покрывается территория нашей страны, в прошлом казавшаяся нам необъятной.

Здесь день начинается с таблеток. Пробудившись совершенно разбитой, словно больная пожилая женщина, маленькая девочка со стоном произносит: «Мама, закрой форточку, и без того голова болит». А родители жалуются корреспондентам: «Боишься выводить ребенка на улицу; у детей одышка, аллергия».

Здесь в 5—10 раз чаще, чем в более отдаленных от производственного объединения «Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС)¹ районах, регистрируются заболевания органов дыхания, кроветворения, сердечно-сосудистой системы, глазные и кожные болезни и так далее. Подавляющее большинство детей относится к категории «длительно и часто болеющих». И у всех резко снижен иммунитет. Все они, по выражению одной родительницы, «бледные, квелые, слезливые, засыпают на уроках».

Бедствия поселка Первомайский умножаются под сопровождение парадных рапортов коллектива ПНОС о выполнении плана. Но победные марши «большой химии» все чаще и чаще завершаются реквиемом потухших факелов. Только за три года (1984—1986) они на этом объединении затухали 52 раза, что сопровождалось залповыми выбросами высокотоксичных смесей.

Анекдот. На окутанную газами Венеру высаживается советско-американский экипаж астронавтов. Советский — без скафандра. На недоуменный вопрос американца лаконично отвечает: «Я из Березников». И анекдот оттуда же. Эта построенная в 30-х годах в Пермской области и прославляемая на весь мир «столица химиков» дает продукции почти на миллиард рублей ежегодно. Родина отечественной соды. Советского аммиака. Центр калийной промышленности — масштабов мировых.

Ну, а для живущих здесь — почти что душегубка. Город, окруженный со всех сторон чадающими заводами, по существу, оказался в удушающем кольце. Уровень детской заболеваемости в Березниках превосходит среднесоюзные показатели в несколько раз. Например, по болезням эндокринной системы, органов чувств, кожи — в 2—5 раз, а по болезням крови — до 8 раз.

Вайсман: «В Березниках отмечается постоянное комплексное воздействие на население группы химических факторов. Причем в больших концентрациях. И от этого, понятно, больше всего страдают дети. Скажем, аэрозоль кислоты попадает в верхние дыхательные пути, как и пыль, выбрасываемая ТЭЦ. Под микроскопом эта пыль выглядит, как стекло; она производит механико-повреждающее воздействие, а аэрозоль кислоты — ожог...»

Затем общее влияние: хроническое отравление организма химическими веществами. Как результат — болезни верхних дыхательных путей и мочевыводящих органов: мочевого пузыря, почек. И печени, конечно. Она ведь выполняет функцию снижения токсикации в организме. У детей наблюдаются отставание в физическом развитии, уменьшение объема грудной клетки, ухудшение памяти, повышенная утомляемость. У женщин процесс беременности протекает с осложнениями и патологией. Нет, конечно, в Березниках пока еще не наступил мор, но возникает, на наш взгляд, законный вопрос: почему это березниковские дети должны болеть чаще, чем дети других городов?»

Впору уже потревожиться о симптомах дебилизации детского населения этой химической «житницы»: с 1972 по 1988 год количество учащихся в школах для умственно отсталых увеличилось здесь в 8 раз. Что не может не отразиться на общей тенденции к снижению интеллектуального потенциала детей.

И это еще не все. По словам местных жителей, особенно тяжело дышать в периоды так называемых НМУ — неблагоприятных метеоусловий. Когда «из-за» почти полного безветрия город окутывает смог. Таких дней в среднем за год наблюдается от 140 до 220. И в это время в Березниках не хватает врачей и машин «скорой помощи». Представьте себе: задыхается ваш ребенок, а помочь ему некому.

¹ Крупнейший в стране поставщик нефтепродуктов и минеральных удобрений, а стало быть, и «грязнейший»: вредных веществ выбрасывает около 120 тысяч тонн в год.

¹⁻² Химические вещества, вредные для живого организма.

Презумпция... порядочности

«При подобном управлении правители суть настоль же рабы всей взятой в совокупности организации страны, насколько управляемые суть рабы правящих ею».

Д. С. Милль, «О свободе».

Дедал сделал Пасифее станок, при помощи которого она зачала от быка и родила Минотавра, пожиравшего благородных юношей. И так всю жизнь этот проклятый роком механик создавал лишь орудия преступлений. Хотя и не всегда умышленно. Вполне возможно, что он научил своего сына Икара летать из благих побуждений. Предупреждал же его не залетать слишком высоко, ибо на крыльях, скрепленных воском, опасно приближаться к солнцу. Да, Дедал предостерегал сына, но разве он не знал характер своего Икара!

Московские министерства (Миннефтехимпром СССР, министр Н. В. Лемаев; Минхимпром СССР, министр Ю. А. Беспалов) не только продолжают наращивать существующие в Березниках производственные мощности, но и планируют создание все новых и новых. Утверждая при этом, что заботятся исключительно о благе страны и народа. Но разве для них секрет, что их детища подобны Минотавр, пожирающему саму жизнь? Разве не ведают о том, что люди тулеют и спиваются, рожают все больше и больше уродов и больных и в недалеком будущем окажутся неспособными даже выполнять план? Но пока он выполняется. Из центра летит команда, с места — рапорт. Система функционирует. Пока.

Местные чиновники ближе к народу. И знают его лучше. Пытаются вникать в его нужды. В меру своих сил и положения стараются облегчить его участь. Но сложившаяся в стране экономическая система сильнее их. Она давит... Впрочем, не на всех. Вот послушайте, что говорит в этой связи прокурор Перми Н. Л. Гребенкин.

«Я вам скажу со всей открытостью... без преувеличения, поверьте мне, я вам слово даю... если мне кто-то позвонит и будет давить и жать, я приму это как личное оскорбление. Я являюсь должностным лицом. У меня свои полномочия... И никто на меня... Я не помню вообще случая, чтобы кто-то давил, жал, что-то приказывал. Мне говорят: разберитесь — я разбираюсь, принимаю решение. Такое, какое считаю нужным... Часто в газетах появляются статьи: мол, на правоохранительные органы жмут. Я не знаю, я не ощущаю этого жима. Поверьте мне, я вам говорю это искренне. Никто на меня не жмет. Не знаю, на кого жмут и кто жмет? У меня добрые отношения с партийными органами, с советскими органами... Я вам еще и еще повторяю, что говорю это искренне».

Никто и не собирался умышленно подозревать Николая Лазаревича в неискренности. Экспедиция «Юности» строго придерживается презумпции порядочности по отношению ко всем своим участникам. Мы и в дальнейшем не намерены подвергать сомнению характеристику, данную прокурором Гребенкиным самому себе. Но оставляем за собой право вспомнить его высказывания, если этого потребуют экологические реальности.

Рождается новая традиция — во всех бедах обвинять министерства и ведомств. Уточняя при этом, что они бесчинствуют при попустительстве местных властей. А почему бы не прибавить, ради справедливости, — и населения. Кажется, неистребимо древнее российское предубеждение — обелять народ во всем и искать его, кормильца, врагов. Конечно же, мы не собираемся здесь выгораживать ведомства, а также местные власти и администрацию производств-душегубов в их тяжких грехах перед народом, но, признаваясь, чем глубже вникаем в экологические проблемы, тем больше у нас возникает вопросов и к самим рабочим. Прежде всего такой:

— Десятилетиями вы работаете в загазованных цехах, дышите смрадом на промплощадках. Известно ли вам, что таким образом подрываете свое здоровье и готовите себе преждевременную смерть?

— А как же! — говорят, например, березниковцы. — Знаем. Так ведь нам за вредность и платят, и льготный пенсионный стаж определили...

Стало быть, они согласились быть самоубийцами. А о детях, скажем, того же поселка Первомайский, которые, не став еще самоубийцами, уже оказались жертвами недоумия взрослых, подумать не надо? О будущем нации?

И рабочие ответили...

15 мая 1987 года в «Вечерней Перми» вышла статья «Тучи над головой», произведшая впечатление, как говорят в таких случаях, разорвавшейся бомбы. Впервые местная пресса сказала правду об экологической обстановке в городе.

Трудовой коллектив ПНОС собрался в актовом зале своего объединения, дабы должным образом отреагировать на публикацию.

«В деле охраны окружающей среды роль человеческого фактора должна стать определяющей», — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор объединения В. П. Сухарев.

«Сто раз прав директор», — подхватил старший оператор А. С. Загребин.

«Правду сказал Загребин», — подтвердил оператор В. И. Пичкалов.

«Надо навалиться сообща, всем миром», — поддержала оператор А. И. Жужгова, — надо принять коллективную ответственность за соблюдение технологической дисциплины, надо брать это дело в свои рабочие руки».

Как видим, действует та же старая, отработанная схема: единодушие коллектива с руководством. Ситуация в микрорайоне Первомайский остается без изменений и по сей день.

Однако кое-где рабочие, кажется, начинают все чаще задумываться над тем, что творят на свою же бедную голову. В Березниках произошло неслыханное для «столицы химиков» событие: один аппаратчик отказался выполнять команду на залповый выброс. Поступок уникальный и даже в какой-то степени героический. Совершив его, сам смельчак просил фамилию свою в печати не называть. Деталь, в данном случае свидетельствующая о нравственности побуждения рабочего, который, рискуя, не искал при этом славы. А риск был велик, что бы там ни говорили. Его могли уволить.

Некоторые сдвиги в экологическом сознании березниковцев чувствуются и в высказываниях рабочих объединения «Азот». «Душа болит, а руки делают», — говорят они и поясняют: «Что мы можем, если выбросы заложены в устаревшую технологию? Нарушишь — еще больше вреда наделаешь». То есть, как нам кажется, они уже начинают отдавать себе отчет в том, что, эксплуатируя эту устаревшую технологию, совершают нечто безнравственное. Но...

Вайсман: «Завод имени С. Орджоникидзе, выпускающий химическую продукцию, стоит выше городского водозабора. Необходимо постепенно закрывать его производства и поэтапно выводить на новые промплощадки. Однако... коллектив предприятия против этого».

Что же тут проявляется: проповедуемый десятилетиями фабрично-заводской патриотизм или же социальная инертность и апатия? Наверное, и то, и другое. Да плюс плата за вредность, льготный пенсионный стаж.

В чьей компетенции природа?

«Наша судьба зависит от наших нравов».
Корнелий Непот

Стоило Орфею запеть — и камни приходили в движение, а хищные звери становились совершенно ручными. И пока в лесу раздавались песни Орфея — там царил удивительный порядок. Но вот ворвались туда вакханки, и рога их заглушили Орфея. И камни вернулись на свои места. И звери вновь одичали. Члены разорванного вакханками певца разбросаны по лесу и гниют. И Геликон — река, посвященная музам, — в отчаянии ушел в этом месте под землю.

Допотопный, но испытанный способ борьбы за свои права — письмо-жалоба на «самый верх». Если проблема остра, число подписавшихся внушительное, с «самого верха» поступает команда, соответствующие инстанции в Москве и регионе принимают меры. В «пожарном» же случае на место летит комиссия. Одна, другая — словом, столько, сколько нужно. В Березниках, бывало, в год окажется несколько правительственных комиссий. А толку?

Под письмом на «самый верх» подписались около 20 тысяч пермяков. В нем, в частности, говорилось: «Строительство промышленных предприятий не сопровождалось достаточным проведением природоохранных мер. Такое развитие промышленного комплекса области и города привело к экологической кризисной ситуации. Местные власти не проявляют достаточной активности в борьбе за чистоту окружающей среды и здоровье горожан...»

Местные власти зашевелились быстрее. Была срочно принята комплексная программа охраны окружающей среды

(Вайсман: «Программу приняли, разрисовали — а программа эта, она в какой-то мере успокаивает, вот что плохо. Надо, чтобы мобилизовала»). Засуетились хозяйственники, спеша утвердить в центре свои планы природоохранных мероприятий (Федоровская: «На многие вопросы просто нет технических решений»). Активизировались ученые, создали при горисполкоме Экологическую комиссию, разработали «Временную методику определения размеров ущерба за сброс неочищенных вод предприятиями города» (Гребенкин: «Хотя исполком и одобрил, это — явление новое. Настораживает. Пока не применяется»). В газетах стали появляться цифры по выбросам вредных веществ (Федоровская: «Картина загрязнения у нас необъективная»).

Организовав сбор подписей под письмом на «самый верх», о себе таким образом заявили неформалы, назвавшиеся Общественно-экологический комитет (ОЭК). А на появление этой общественной группы не преминули отреагировать «формалы». То есть представители властей.

ОЭК организовал что-то вроде школы-семинара, куда желающие могли прийти, чтобы обсудить социально-экологические проблемы. Раз два семинар собрался, после чего его организаторы были подвергнуты поношению в местной газете «Звезда». Дорожа временем читателя, ограничимся несколькими цитатами из этого «образца» политической дискуссии, опубликованного не десять и не пять лет назад, а в начале прошлого года. Надеемся, однако, что наш сокращенный вариант передаст и смысл и язык оригинала с характерным заголовком: «В тупиках амбиций».

«Некая полулегальная группа», «левацкого характера», «пестрая по составу», именует себя «семинаром». «Экстремистски настроенные лица в составе «семинара» желали бы политизировать его деятельность и подтолкнуть ее вправо... «к фрондированию и эпатажу»? «Расширение социалистической демократии они толкуют как санкцию вседозволенности, а трибуну гласности — как возможность нигилистического очернения общественных институтов, огульного отрицания социалистических ценностей». «Видя вокруг себя одних «врагов», «демагогически ратую за перестройку», «семинаристы» избрали полулегальные формы деятельности», «целью которых является натравливание одних социальных групп на другие».

«Отсутствие гибкой политической реакции проявилось, на наш взгляд, и в позиции обкома ВЛКСМ». «Застойные процессы прошлого отрицательно сказались на боевитости (! — Ред.) комсомольских лидеров — «не отошли ли комсомольские лидеры от реальной сферы идеологической борьбы... «с теми, чьи социально-политические устремления расходятся с нашими взглядами?»

Эти, так сказать, перлы «нового мышления» в адрес порядочных людей подписаны ассистентом кафедры философии и аспирантом той же кафедры Пермского политехнического института. Подобно вакханкам трубят они в свои рога и «глушат» песни Орфея — свободы.

А теперь давайте обратимся к правовым аспектам экологических реальностей Перми.

Гребенкин: «Положено санэпидстанции закрыть производство — иди закрой. Не выполняют — иди к прокурору. Прокурор найдет управу».

Послушаем, что говорят по этому поводу и сами работники СЭС.

Кочев: «Как показывает практика, прокуратура в данном случае нас не защитит».

Черенкин: «Да, мы можем передать дело в прокуратуру, они посмотрят, пригласят товарищей на беседу — этим все и ограничится. Ведь санкции СЭС, кроме разве что такой, как наложение штрафов, не имеют силу закона, ибо юридически обеспечены не природоохранным законодательством, а лишь соответствующими постановлениями Совмина...»

Однако, как утверждал министр юстиции СССР Б. В. Кравцов, «в понятие законодательства Союза ССР и союзных республик входят в настоящее время также и постановления Совета Министров СССР и Советов Министров союзных республик».

Таким образом, санкции СЭС к предприятиям, нарушающим природоохранные нормы, должны беспрекословно выполняться. А правоохранительным органам при этом следовало бы занимать принципиальную позицию и не ограничиваться «приглашением товарищей на беседу». По словам прокурора, так оно и есть в Перми. Но так ли?

Наше сомнение вызвано вот чем. Пермская СЭС, как положено, наложила вето на строительство установки «Парэкс-2М», которое планирует соответствующее министерство, наращивая мощности ПНОС. Интересуемся у прокурора: если вето санэпидстанции будет игнорироваться, как на то отреагирует прокуратура?

Гребенкин: «Этот вопрос — строить или не строить «Парэкс» в Перми — решается где-то в правительстве. Это компетенция, кстати, не местных властей, и не прокуратуры тем более. Уж извините меня за откровенный разговор».

Что-то в этих словах Николая Лазаревича, в отличие от приведенных выше, уже не чувствуется того энтузиазма и той решимости постоять за правое дело, требующихся сегодня от работника правоохранительных органов, к которым и обращен призыв Сергея Залыгина: «Юристы — вот кто нынче должен составить передовой отряд экологов, кто уже сегодня должен пресечь полнейшее беззаконие в действиях природопользователей, при котором технические экспертизы всех уровней, даже Госплана, по сути дела заменяются «согласованиями наверху», а строительство ведется полным ходом по неутвержденным проектам».

И наконец: в Законе о государственном предприятии (объединении) черным по белому написано, что полную ответственность за нарушение природоохранных требований несут предприятия, которые в своей деятельности подотчетны местным Советам. Спрашивается: кто же заставит их действительно (а не формально) нести эту ответственность? Может быть, это тоже в компетенции «не местных властей, и не прокуратуры тем более»?

«Заступитесь, пропесочьте...»

«По мере того, как усиливается вмешательство государства в общественные интересы, растет между гражданами и уверенностью, что все должно делаться для них и ничего не требуется от них. Мысль о том, что желанная цель должна быть достигнута личной энергией или ассоциациями частной инициативы, делается с каждым поколением все более и более чуждой людям, тогда как убеждение в том, что эта цель должна быть достигнута при помощи правительства начинает считаться единственно практическим способом».

Герберт Спенсер. «Личность и государство».

С 1977 года руководство Перми кормит жителей поселка Первомайский обещаниями о выселении из санитарной зоны ПНОС. Уже более десяти лет первомайцы добиваются этого. И ничего до сих пор не добились. Как же так?

— Просто твердыня сложившейся социально-экономической системы такова, — скажут нам, — что ее не под силу пробить...

— В одиночку. Но если общей целью объединены несколько тысяч и если эта цель не антиобщественного, а общечеловеческого характера?.. Увы, жители Первомайского не решились воспользоваться даже своими конституционными правами. Вместо того чтобы решительно бороться за них, жертвы ПНОС предпочли жаловаться и «писать наверх».

К сожалению, эта социальная немощь по-прежнему весьма распространена у нас. Со всех-то концов страны идут в правительство тонны конвертов с жалобами от населения на свою горькую судьбину. В чем проявляется, как сказал М. С. Горбачев, «...худший вид социального иждивенчества».

И что интересно. Этот образ «добраго царя» не всегда ассоциируется в народе со «всемогущим центром». К примеру, в такой экологической западне, какой становится Стерлитамак (Башкирия), его роль активно выполняет газета «Стерлитамакский рабочий», редакция которой буквально завалена письмами-жалобами по проблемам окружающей среды. Так и пишут: «Газета — наша заступница! Не дай нас в обиду. Разберись, пропесочь кого надо». А чтоб самим собраться и что-то предпринять — ни-ни! И газета продолжает добросовестно пропесочивать виновников экологических неблагоприятий (то бишь начальство), — играя роль клапана, выпускающего пар общественного недовольства.

Подобный клапан найдется практически повсюду. Вот и в Перми.

...Из обращения жителей поселка Первомайский в горком: «Если депутаты не отстаивают главное достоинство нашего государства — здоровье человека, то зачем мы будем за них голосовать?» Под этим «угрожающим» письмом подписались 1064 первомайца. Но ведь это лишь четвертая часть

населения поселка. А как же остальные? Не свидетельствуют ли подобные примеры о том, что сообщения об экологических волнениях в стране сильно преувеличены. Если уж даже в микрорайоне Первомайский три четверти населения оказались столь индифферентны к своей собственной жизни и судьбе своих детей, что же говорить о жителях мест относительно благополучных?

А из недовольных первомайцев «пар выпустили» очень просто. В магазинах «вдруг» оживилась торговля мясомолочными продуктами. Обновились тротуары. Поселок украсился вновь высаженными цветами. Оснастился таксофонами и буфетом при бане. А главное — был разработан график выселения жителей до 1990 года. Оно, конечно же, само по себе вроде бы и неплохо, однако ведь с умыслом каким?

Но прошло еще некоторое время, и загазованность усилилась, и опять все пошло по кругу: жалобы — встречи с администрацией — «выпускание пара».

Своя «отдушина» есть и в Березниках. Это «жаркая дискуссия» на страницах «Березниковского рабочего» по поводу строительства рудника Третьего рудоуправления объединения «Уралкалий». Мы не подвергаем сомнению важность и принципиальность позиции — не допустить любого нового наращивания производительных мощностей в экологически «грязном» городе, даже если речь идет о размещении относительно малоопасного производства, как, например, указанный рудник. Но дело в том, что подобные дискуссии, имеющие обыкновение затягиваться на месяцы, а то и годы, также играют роль упомянутого клапана, отвлекая внимание населения от главных проблем и тупиков природоохранной политики в целом.

«Пан, или природа»¹

«Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам».

Мишель Монтень. «Опыты».

Федоровская: «У нас на сегодня нет ни одного поста с круглосуточным надзором за экологической обстановкой в городе. Пробы берутся три раза в сутки. Приезжает машина и увозит пробы в лабораторию. Это ручной труд, который, разумеется, не может дать объективной картины загрязнения. Между тем во всех развитых государствах — повсюду размещены датчики. Установлен автоматический контроль. У нас таких датчиков пока не видно».

Корреспондент местной газеты И. Ежиков: «Бывает и такое, что заводскую лаборантку вынуждают подождать со взятием проб, пока цех не проветрится».

Ну, а случится аврал, найдут время, когда на установке не торчат контролеры, и без шума так дунут в атмосферу, что и следов не найдешь. Правда, начнут задыхаться березниковцы. Но зато будет план, будет премия, а с ними — репутация хорошего работника, отличного коллектива».

Федоровская: «Таким образом, из-за отсутствия современного оборудования, мы в принципе не можем дать объективную картину загрязнения окружающей среды».

А следовательно, не в состоянии в точности определить его влияние на наше здоровье. За рубежом для этого существуют специальные методики, которыми пользуются, в частности, и правоохранительные органы, рассматривая иски граждан. Советский же гражданин напрасно явится в суд с предъявлением иска о возмещении нанесенного его здоровью «экологического вреда». Ибо нашим законодательством не предусмотрен порядок такого возмещения, а нашими учеными не разработаны методики определения подобного ущерба. Мы можем делать только приблизительные оценки. Но и этого зачастую не делается.

Щипакин: «Для того чтобы узнать, каково же конкретное влияние промышленных выбросов на здоровье людей, на продолжительность их жизни и так далее, необходимо подвергнуть данные медицинского мониторинга общей заболеваемости населения математической обработке на ЭВМ. Но неспособность наших медиков в математике — потрясающее...»

Открытым, например, остается такой вопрос: сколько человек умирает ежегодно в стране в связи с экологическим кризисом? По расчетам, проведенным мною на ЭВМ, — до 130 тысяч!»

А сколько по экологическим причинам рождается неполноценных детей и какой материальный урон несет при этом государство из-за нетрудоспособности граждан? На эти

и многие другие вопросы подобного рода, связанные с экологическими катаклизмами, нам предстоит еще только ответить.

Вайсман: «По отношению к нашей природоохранной политике, на мой взгляд, применимо следующее сравнение. Течет кран. Но вместо того чтобы закрутить вентиль, мы вытираем лужу. Мы строим очистные сооружения, вместо того чтобы внедрять безотходные и малоотходные технологии. Да и очистные-то предприятиям строить экономически не выгодно. Ведь это постоянные эксплуатационные расходы, энергопотребление, «лишняя» занятость персонала. И чем лучше, чем качественнее работают очистные, тем, стало быть, больше они «проедают» средств и сил, квалифицированных кадров, которых и без того не хватает».

Причем методы (пылегазоочистка, очистка сточных вод), как правило, деструктивные: направлены не на извлечение вредных компонентов и их дальнейшую утилизацию, а на разрушение (например, сжигание) или просто выбрасывание.

Характерный пример. У Березниковского титано-магнитного комбината есть интересный отход — отработанный электролит. Мы посмотрели, оказалось, что это хороший материал для борьбы с зимним гололедом. И предприятие вскоре установило на этот отход цены, превышающие даже цены на товарную продукцию. А до того он шел в отвал».

Итак, кран течет, а мы продолжаем вытирать под ним лужу. Вместо того чтобы закручивать вентиль. Создаем ли комиссии для рассмотрения той или иной экологической ситуации. выделяем ли средства на природоохранные мероприятия, разрабатываем ли графики выселения экологических жертв из санитарно-защитных зон, принимаем ли долгосрочные программы охраны окружающей среды и так далее. А что такое эти последние? — метко определил академик В. Коптюг: «Сегодня такие программы формируются в основном как простая сумма предложений, выдвинутых предприятиями и министерствами... Разумно ли, оптимально ли для территории при этом расходуются средства (а средства, подчеркну, не малые)? Этот вопрос даже не ставится... В нынешних программах, как правило, даже не указано, насколько в итоге изменятся абсолютные и удельные выбросы, то есть не известен конечный результат. Показатель один: сколько освоено средств. Классический образец валового, затратного подхода, столь характерного для народного хозяйства в целом».

Да, к великому сожалению, весь этот весьма помпезный программаторческий процесс и в целом все, что у нас делается пока в области охраны природы, находится по ту сторону логики, впереди которой лужа, а не вентиль.

По одной из версий, Пан происходит от Меркурия — вестника богов...

Рога у Пана достигают неба, символизируя могущество Природы. Ноги у Пана козлиные, ибо Он господин гор, а коза — горное животное. В руках у Пана символы: гармонии — свирель и власти — посох. Накидка из шкуры леопарда — звездное небо. Пан — бог сельских жителей, живущих на Природе, и бог охотников, берущих от Нее же. Он повелитель танцующих вокруг Него нимф, то есть душ. В Его свите сильны — молодость и сатиры — старость. Он же — стихия, внушающая панический страх. Пан ловит в сети Тифона, символизирующего стремление материи к хаосу. Это Он нашел бежавшую и потерянную богам Цереру. Потому что от Природы не уйдешь. Это Он выиграл музыкальное состязание у Аполлона, в результате чего судья Мидас получил свои ослиные уши. Ибо ни Аполлон и никто не может превзойти Природу в гармонии. Пан состоит в браке с нимфой Эхо, никого не любит и не имеет потомства. А в сестрах у Него Парки — судьбы.

Пан нелюдим. Пан всемогущ. Что может быть сильнее Природы! И удивительное дело: в борьбе с Купидоном Он терпит поражение и удаляется в леса.

И вот общий враг повздоривших когда-то Пана и Купидона — человек стал достаточно силен, чтобы разделяться с обоими поодиночке. Теперь Им ничего не остается, как объединиться... в Человеке. А где же еще?

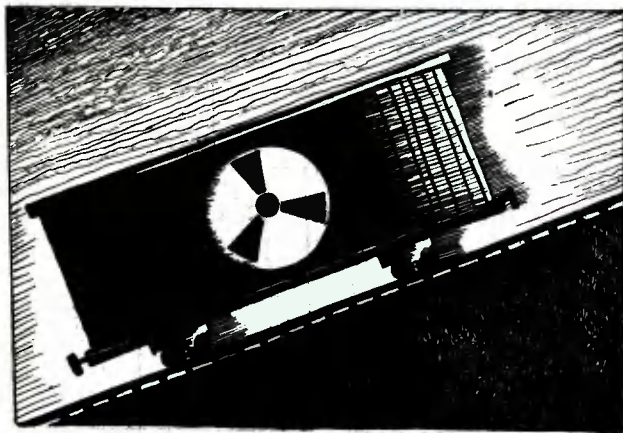
Пермская область.

Попечители экспедиции: московские кооперативы — «Саят-Новая», «Фархад», «Белка», «Автосток».

¹ Френсис Бэкон. «О мудрости древних».

КТО ОБУЗДАЕТ МИРНЫЙ АТОМ?

О правовых аспектах ядерной энергетики размышляет кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и права АН СССР Владимир КИЗЯКОВСКИЙ.



«Свободное государство... может сохранять себя только в том случае, если оно способно исправлять свои ошибки благодаря своим собственным законам».

Ш. Л. Монтескье, «Размышление о причинах величия и падения римлян».

КОРР. Общество может оказаться заложником ядерной энергетики, продолжая увеличивать ее долю в общем энергобалансе страны. Осознание этого уже подвигнуло ряд развитых капиталистических государств к поиску альтернативных путей: энергосберегающей политики, безотходных и малоотходных технологий, так называемых возобновляемых источников энергии (воды, ветра, солнца).

Думается, пока наука не откроет абсолютно безопасные способы использования мирного атома, следует и нам последовать их примеру. Пора, наконец, внять здравому смыслу.

В. К. В применении к столь деликатной теме — внять здравому смыслу, конечно же, необходимо, важно и все-таки недостаточно. Давайте взглянем на проблему объективно и реалистично.

Доля ядерной энергетики в общем энергобалансе нашей страны, по разным оценкам, колеблется от 10 до 15 процентов. Это довольно существенно, если принять во внимание, с одной стороны, энергодефицит, имеющийся у нас практически еще повсюду, а с другой — сохраняющуюся пока

инертность нашей хозяйственной системы. Нельзя не учитывать также исторически сложившуюся связь ядерной энергетики с военными программами; большое число трудящихся, занятых в этой и сопряженных отраслях; запущенную в мощное движение машину энергостроительного (и на ближайшую перспективу — безальтернативного) производства; учет в конце концов могущество сил, стоящих за развитие атомного производства. Да-да! Я имею в виду те самые 20 министерств и ведомств и 100 организаций, напрямую связанных с этой отраслью.

В лучшем для «атомной оппозиции» случае можно рассчитывать на приостановление строительства новых энергоблоков и выведение из эксплуатации нескольких действующих. Но отрасль будет существовать еще десятилетия, пока не выработает свой ресурс, и не будут спроектированы, построены и запущены упомянутые и другие альтернативные источники энергии.

КОРР. Ясно, что закрывать АЭС в один момент никто не решится...

В. К. Нельзя забывать и о том, что абсолютно все области экономики, в которых так или иначе используется атомная энергия, потенциально опасны. Фактор здесь общий — ионизирующее излучение. В то же время сегодня уже трудно найти отрасль народного хозяйства, не пользующуюся энергией атомного ядра. Ядерные реакторы на АЭС, плавсредствах, космических объектах, в медицине — лечение радионуклидами злокачественных новообразований и других болезней, диагностика ряда заболеваний, исследования функционального состояния организма; в сельском хозяйстве — борьба с вредителями растений, увеличение срока хранения овощей, получение новых сортов семян; в научных исследованиях (например, метод меченых атомов) и так далее. Сегодня страсти кипят вокруг АЭС. И в этом нет ничего удивительного: забыть Чернобыль невозможно. Но знать и помнить следует и о других проявлениях атомной опасности. Скажем, о случаях халатного хранения, утери и разрушения радиоизотопных приборов.

КОРР. Списав такие приборы, подчас их «хоронят» где попало. Даже на территории городов. Без всяких мер безопасности: просто сваливают в яму и закапывают. Известны трагические последствия подобных «захоронений» — с человеческими жертвами. Известно также, что иные научно-исследовательские институты не особенно пекутся о последствиях своей научной деятельности.

В. К. Только за последние годы отечественная промышленность выпустила более 60 тысяч радиоизотопных приборов технологического контроля, более 10 тысяч гаммадефектоскопов. Было сооружено свыше сотни радиационных гамма-установок экспериментального и промышленного назначения; активность радионуклидных источников в единичных установках составляет несколько сотен тысяч кюри.

В отношении злополучных радиоактивных отходов следует заметить, что в действующих ведомственных нормативных актах, регламентирующих обращение с РАО, совершенно не отработан важнейший вопрос — их утилизации (переработки) и «привязки» к конкретным пунктам захоронения. Неизвестно расположение этих пунктов. Короче говоря, РАО просто накапливаются на АЭС, и никто пока не знает, что с ними делать дальше. Кстати, «малые» страны, где проблема РАО стоит чрезвычайно остро, решают ее законодательным путем. В Швейцарии, например, после двух референдумов в 1979 году был принят закон, предписывающий уже в проекте АЭС обязательные процедуры по обеспечению безопасности РАО. А также безопасный способ демонтажа станции по окончании эксплуатации. И попробуй только фирма проигнорировать этот закон. Санкции последуют незамедлительно.

КОРР. Признаться, меня не оставляет в покое вопрос: почему — при том, что многие «атомные» страны имеют еще более внушительный, чем у нас, ядерный потенциал и к тому же приступили к его эксплуатации на добрый десяток лет раньше нас, — Чернобыль случился именно у нас? Не являются ли все допускаемые просчеты и совершаемые преступления в этой области, начиная с халатного хранения радиоизотопных приборов и кончая черныбыльской аварией, следствием узаконенного беззакония? Когда роль закона исполняют ведомственные инструкции (а то и просто нерегламентированный приказ начальника, как на Чернобыльской АЭС¹), далеко не всегда учитывающие интересы общества?

Рисунок Ирины Шиповской

¹ См. Ю. Щербак, «Чернобыль», книга 2, «Юность» № 10, 1988.

В. К. Справедливости ради следует признать, что после Чернобыля нормотворческий процесс активизировался. Ведомства изменяют старые и вводят новые правила и нормы размещения АЭС, концентрации радиоактивных веществ в воздухе и воде. Но где точка отсчета? Что знает об этом население?

Как, например, «примирить» интересы Госатомэнергонадзора и Минатомэнерго, если первому нужно, «чтобы не взорвалось», а второму — чтобы «давало энергию»? Каждое ведомство озабочено одним: не допустить возложения на него дополнительных обязанностей и выговорить побольше полномочий. А в итоге?... Один из сотрудников Госатомэнергонадзора, прочитав публикации Б. Куркина, сказал мне удрученно: «Пусть он к нам в надзор приезжает, расскажем, что у нас творится на АЭС...»

КОРР. Обретая лицо и суть правового государства, не надлежит ли нам (и чем быстрее, тем лучше) взять под стражу закона и использование атомной энергии? Как это сделано уже во всех развитых странах. А у нас даже мало кому известно, что такое атомное право, для чего оно нужно, не говоря о том, что где-то оно уже действует. Между тем использование атомной энергии — это такая сфера, в рамках которой каждый шаг, каждое действие (оператора или целого ведомства), не санкционированное законом, граничит с преступлением: чревато катастрофой. И если связанное с повышенной опасностью функционирование ядерной энергетики не подтверждено законом, то, мягко говоря, вся эта отрасль и работающие в ней люди, по существу, занимаются незаконной деятельностью. Юридически.

В. К. Следует подчеркнуть одну принципиальную особенность атомного права. В отличие от других областей права, где действует принцип «разрешено все, что не запрещено», в нем «запрещено все, что не разрешено». К примеру, оператору на ядерном блоке разрешены строго определенные действия — «самостоятельность» может привести к катастрофе.

КОРР. «Самостоятельность» не только в действиях оператора, но и в проведении разного рода экспериментов на ядерных установках, что при существующей практике атомное ведомство позволить себе пока может.

В. К. Чтобы понять опасность таких экспериментов, породивших чернобыльскую катастрофу, не нужно быть специалистом — достаточно обладать здравым смыслом. И раз уж разговор наш зашел о правовом регулировании экспериментов, проводящихся на ядерных установках, позволю себе упомянуть еще одну роковую деталь этой проблемы. В 1981 году в структуре Института государства и права АН СССР был наконец-то создан сектор правовых проблем использования атомной энергии, спустя три года подготовивший проект Атомного закона, опираясь на зарубежный опыт. Но, к сожалению, этот документ так и не пробился в законодательные инстанции. А недавно мне представилась возможность вновь взглянуть на него. Со смешанным чувством обнаружил я в этом проекте статью, запрещающую... проведение на ядерных реакторах экспериментов, без согласования с физиками, проектировщиками и конструкторами. Итак, за два года до Чернобыля возникла возможность правовой защиты от катастрофы, которая неумолимо грянула на нас, потому что ею безответственно пренебрегли. Этой возможностью правовой защиты. Еще более вопиющим представляется то, что даже после обрушившейся на страну трагедии проект Атомного закона усилиями ведомств был потоплен в бюрократической рутине.

Между тем аналогичные правовые документы — акты, имеющие высшую юридическую силу, обязательные к исполнению государственными органами, фирмами, должностными лицами и всеми гражданами, — за рубежом приняты давно. Во Франции — еще в 1945 году, в США и Великобритании — в 1946-м, в ФРГ — в 1959-м. В настоящее время развитое атомное законодательство имеют практически все капиталистические государства. Атомное право существует также в ГДР, Венгрии, Югославии, Болгарии, Польше.

У нас же с сороковых годов и до сих пор в «атомных делах» государственное регулирование осуществляется административно-командными, а не правовыми методами. Вспомним хотя бы о многих тысячах безымянных зеков, которые добывали урановую руду, строили обогатительные комбинаты. Все это под покровом секретности. Атомные разработки велись в учреждениях, подчиненных бериевскому ведомству. Известно, какими методами руководил Берия Курчатовым и его сподвижниками. Накануне испытания

первого атомного взрывного устройства он с людоедской прямой предупредил: «Смотри, не взорвется — голова с плеч».

Шло время, мирный атом отделился от военного, но режим секретности остался. И по-прежнему нет закона, определяющего «основы поведения»(!) в этой области.

КОРР. Давайте предоставим читателям самим судить о нашем отставании в правовых вопросах, касающихся человеческой деятельности, потенциально опасной для всего живого. Заглянем для этого в Евратом¹.

Совет европейских сообществ после предварительного согласования со странами — членами Евратома устанавливает для них так называемые Основные нормы безопасности (ОНБ), регулирующие «атомную» деятельность и являющиеся директивными, обязательными к исполнению: никакая самодеятельность тут недопустима. Контроль за соблюдением ОНБ осуществляется Комиссией европейских сообществ. Все ядерные эксперименты проводятся только с ее санкции. В случае возникновения угрозы аварийной ситуации она привлекает к предотвращению опасности все страны-участницы. При нарушении ОНБ Комиссия принимает меры в приказном порядке. Если ее директивы в установленный срок не выполняются, дело автоматически передается в Суд европейских сообществ.

При такой системе ни о каком режиме секретности, ни о каких своенравных экспериментах, ни о какой дезинформации населения в области использования атомной энергии и речи быть не может.

Возможно ли создать нечто подобное у нас в стране?

В. К. Думаю, да. Прежде всего надо принять наконец Атомный закон. В нем должны быть строго обозначены функции «ведомств». Очень важно также определить статус органов государственного контроля и надзора за атомным производством. Необходимо юридически обеспечить право беспрепятственного доступа представителей этих органов на подконтрольные объекты. Принципиальным представляется их вывод из подчинения Совету Министров СССР. Они должны быть подотчетны непосредственно Верховному Совету СССР или его Президиуму. В настоящее время руководит использованием атомной энергии Совет Министров СССР. Он же контролирует все аспекты «Атомной» деятельности. Ясно, что в этих условиях часто побеждают не соображения безопасности, а ближайшие, сегодняшние интересы подотчетных ему атомных ведомств.

Предисания органов контроля и надзора должны стать обязательными к исполнению всеми «адресатами»: министерствами, предприятиями, должностными лицами. А за их неисполнение надо предусмотреть действенные санкции.

И пора в конце концов понять, что режим секретности недопустим. До сих пор даже ученые-атомщики не в состоянии ответить — из-за сокрытия от них данных — на вопросы: сколько стоит ядерный цикл? какое количество РАО производят у нас АЭС и где эти РАО захораниваются? сколько в стране было аварий в этой области и каковы их последствия? почему принята негласная процедура решения вопросов о размещении АЭС? почему зарубежные специалисты получают от нас информацию о нашей атомной ситуации значительно более полную, чем соотечественники? И многие другие.

Неоправданный оптимизм, сокрытие фактов аварий, фальсификация данных, наконец, общая вызывающая поза «допущенных», «избранных», «причастных» — все это сыграло роль бумерага, когда возможность высказываться и задавать вопросы получили оппоненты. Доверие подорвано и к атомным технологиям, и к лицам, их пропагандирующим.

Здесь опять-таки весьма поучителен зарубежный опыт. Скажем, АЭС «Миллстоун» в Коннектикуте (США) может посетить любой желающий. Компания-владелец ежегодно выпускает специальный доклад о состоянии систем АЭС, о ее влиянии на окружающую среду. Этот доклад проверяется шестью независимыми организациями и комиссиями. Документация, касающаяся станции, доступна каждому, кого она может заинтересовать. Компании и власти штата совместно разрабатывают план действий в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно этому плану, руководство АЭС обязано в течение 15 минут после возникновения «серьезной

¹ Евратом — Европейское сообщество по атомной энергии. Объединяет страны, использующие эту энергию. Является одним из трех (наряду с ЕОУС и ЕЭС) европейских сообществ, имеющих единую юрисдикцию и единые высшие органы: Совет, Комиссию, Суд.

нештатной ситуации» предупредить муниципальные органы. В последующие четверть часа те, в свою очередь, должны оповестить население 16-километровой зоны.

У нас же с огромным трудом удается отыскать лишь первые, весьма скромные зачатки такого отношения к проблеме. К примеру, руководство Игналинской АЭС через свою газету регулярно информирует население о выбросах радиоактивных веществ в атмосферу, радиационной обстановке вокруг станции и фоне излучения в поселке энергетиков. Но это, так сказать, инициатива снизу. А должна быть установленная законом обязанность.

В процедуре выбора места размещения потенциально радиационно опасных объектов решающее слово необходимо оставить за народом. А что это значит? Команда специалистов-экспертов, экономистов, экологов во главе с замминистра атомной энергетики прибывает, скажем, в Вологодскую область, чтобы убедить население — колхозников, лесников, рабочих, врачей, домохозяек — в необходимости и безопасности размещения атомной станции на Вологодчине. После того как они представят все свои аргументы за новый объект, должен проводиться референдум. И лишь с учетом мнения населения могут быть приняты — или отвергнуты — предложения, проекта.

КОРР. Подчеркнем, что речь идет о размещении не только АЭС, но и всех без исключения объектов, представляющих радиационную угрозу. Свежий пример: в Троицке, то есть менее чем в двадцати километрах от Москвы, в зеленой ее зоне, собираются возводить термоядерную установку «Токамак — ТСР». Помимо всего прочего, это сопряжено с необходимостью вырубить более 400 гектаров леса. Образно говоря, и без того не очень-то мощные легкие столицы собираются подвергнуть резекции. В то время как они давно уже нуждаются в наращивании. Ряд специалистов, в том числе крупные ученые-физики, категорически высказались о недопустимости подобного строительства под боком девятимиллионного города. Однако вице-президент АН СССР Е. П. Велихов в своем ответе на запрос группы писателей утверждает, что тревоги общественности необоснованны. Страсти накаляются. А все потому, что и в данном случае «высокое» решение принималось, что называется, келейно.

В. К. Конечно же, организациям, размещающим в Троицке атомный объект, следовало бы прежде обнародовать это свое намерение и получить «добро» на строительство у населения.

Процедура получения этого одобрения также должна найти отражение в советском атомном законодательстве. За рубежом она давно отработана и имеет форму локального референдума. Проще говоря, заинтересованная фирма, получив разрешение на строительство от государственных органов контроля и надзора за безопасностью, обязана еще и убедить население в целесообразности своей акции.

КОРР. Неудивительно, что дела у этих фирм пошли на спад. Не верят им граждане. А уж нашим атомщикам — после Чернобыля — еще сложнее будет кого-нибудь убедить. Поэтому, вероятно, не очень-то выгодны им все эти демократические процедуры. Не потому ли упомянутый проект Атомного закона «застрял»? Не забудем также и про весьма щепетильный вопрос о юридической ответственности за так называемый ядерный инцидент. В юриспруденции существует понятие абсолютной ответственности, устанавливаемой за любую деятельность, связанную с повышенной опасностью для общества. Попросту за риск...

В. К. Безусловно, в атомном праве должны быть четко определены: субъект ответственности (кто обязан платить); исковая давность (какое время после инцидента можно предъявлять претензии, ибо последствия облучения могут проявиться и по прошествии многих лет как у пострадавшего, так и у его потомков); пределы ответственности (скажем, сама Чернобыльская АЭС не в состоянии в полном объеме возместить ущерб, причиненный аварией 1986 года, — это должны сделать соответствующие ведомства или государство).

КОРР. У читателя может возникнуть справедливое замечание: о каком возмещении за потерянное здоровье они тут толкуют? О денежном. Согласитесь, если вам выбьют глаз, сумма, в которую его оценит компетентный суд, не будет для вас лишней.

Теперь представьте себе такую, взятую, к сожалению, из реальной жизни ситуацию. Вы устраиваетесь на работу в некий научно-исследовательский институт. Ваше рабочее место располагается в пристройке к его главному зданию. А через некоторое время у вас обнаруживается лучевая болезнь.

Оказывается, ранее тут был дворик, где в свое время выкопали яму и свалили в нее списанные радиоизотопные приборы. И они там так и лежат — как раз под вашим кабинетом. А сейчас попробуйте подать в суд на виновника радиационного воздействия на ваше здоровье. Его, может быть, и найдут (а кстати, кого именно: кто приказ давал или кто яму рыл и валил в нее ядерный утиль?). И возможно, даже накажут в административном порядке за нарушение какой-нибудь инструкции. Но никакой денежной компенсации, на которую вы бы могли хотя бы участить свой отдых на курортах, — не получите. Ибо нет такой статьи в законе.

В. К. Закон (а не инструкции) должен определять ответственность за неправомерные действия в атомной области. Дело специалистов — классифицировать и определить их максимально полный перечень.

Законодательному пресечению должны быть подвергнуты такие грубейшие нарушения режима радиационной безопасности, как-то: попытки оказать давление на контролирующие органы; умышленное сокрытие данных о радиационной обстановке; проведение нерегламентированных экспериментов на ядерных установках; сброс жидких РАО в грунтовые воды, на поля и многие другие. Уже на стадии проектирования необходимо в законодательном порядке предусмотреть сооружение установок по утилизации РАО, определять места их захоронения и т. д. Закон должен конкретно устанавливать обязанности администрации атомных объектов в случае аварии (незамедлительность информирования органов власти, надзора и контроля). Нужно юридически обеспечить местным Советам возможность действенного контроля за эксплуатацией таких объектов на их территории.

КОРР. Ваш прогноз — когда Закон об атомной энергии станет реальностью?

В. К. В отношении научно-правового обеспечения, необходимого для его быстрой разработки и принятия, я не вижу проблем. Надо только, чтобы соответствующие ведомства проявили «заинтересованность». Необходимо также всенародное обсуждение проекта.

КОРР. Может быть, растущее влияние общественности и активизирует этот процесс?

В. К. Если посмотреть на отношение общественности к атомной энергетике исторически, можно выделить три этапа. Первый, наиболее продолжительный, с 40-х — 50-х до апреля 1986 года, — пассивное согласие и бурное одобрение. Второй берет начало от Чернобыля и продолжается до середины 1988 года — состояние нокдауна и постепенно осознаваемая тревога, всячески успокаиваемая многоголосием чинов ядерной энергетики и медицины. Сделанные в этот период выводы: надо повышать безопасность, требовательность, квалификацию персонала, но отрасль... развиваться дальше. И наконец, вторая половина 1988 года ознаменовалась появлением в печати публикаций, подвергавших сомнению само понятие — «мирный атом».

КОРР. А не пора ли вступить в последний и главный этап — обуздание его Законом, призванным оградить нас от административно-командных методов управления атомным производством, чреватых непредсказуемыми последствиями? Мысль о насущной необходимости принятия Закона об атомной энергии уже прозвучала на Съезде народных депутатов СССР. Будем надеяться, новый Верховный учтет и ее в своей работе.

Беседу вел Алексей ВЕНИАМИНОВ.

МОНОЛОГ ОПТИМИСТА

Рисунок Олега Эстуса

В эпоху молчания воровали хлопок, а во времена гласности начали воровать газеты.

Из почтового ящика.

Прут «Литературку», «Огонек», «Аргументы и факты», «Известия». Ташат «Юность».

Известен случай, когда у одного гражданина увели журнал «Лен и конопля» со статьями о махинациях со льном и коноплей.

О взятках, воровстве, злоупотреблениях пишу сейчас настолько интересно, что вставать приходится раньше, чтобы не успели украсть газету.

Зато и рано встать удастся теперь значительно легче, чем раньше.

Помню, еще несколько лет назад все вокруг нагоняло сон: газеты, журналы, радио, телевидение.

Даже граница охранялась для того, чтобы мы могли спать спокойно.

И мы спали. Здоровым двадцати-четырехчасовым рабочим сном.

И снился нам не рокот космодрома.

Сны снились такие, как будто их снимали на киностудии имени Довженко — снились сплошные парторги и директора заводов. И еще снилось нам, что мы догнали Америку по мясу и молоку. Понятно, трудно Америке бежать со своим мясом и молоком. А мы-то налегке.

Иногда мужчины и женщины собирались, чтобы вздремнуть вместе, и это называлось собранием, совещанием, конференцией или слетом передовиков.

Промышленность заснула так

крепко, что непонятно, как ее теперь разбудить.

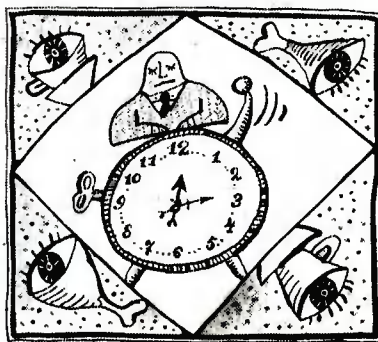
И вот ученые за различными круглыми столами спорят, как это сделать — резко или постепенно.

Лично меня когда резко будят, я как чумовой делаюсь. Я спроsonья такое могу натворить, что лучше б я век не просыпался.

Поэтому, может, и к ней надо подойти на цыпочках и тихонько сказать: «Промышленность! Вставай!»

...Да, времена были! Бывало выпьешь чашечку кофе — и на бокую! Кофе, что ли, был такой, что прямо валил с ног?! Кофе стоил четыре рубля килограмм, все пили кофе и дрыхли, как ночные сторожа.

Теперь кофе — двадцать рублей, и сна ни в одном глазу. Посмотришь «Прожектор перестройки» — вообще три дня заснуть не можешь. Что обходится значительно дешевле, чем



чашка зарубежного и, в сущности, чуждого нам напитка.

Зато цены на квас остались прежними.

Цены на квас у нас самые устойчивые в мире.

Три копейки — маленькая кружечка, шесть — большая кружечка.

А сколько стоит бутылочка ихней пепси-колы?

Полтинник!

Ну? И у кого уровень жизни выше, у нас или у них, я вас спрашиваю?

Кроме того, можно ли из ихней пепси-колы приготовить нашу окрошку? Черта с два!

Не составляет также труда припомнить и другие замечательные свойства русского кваса. И вообще чего только нельзя припомнить! Если раньше наше общество страдало от склероза, то теперь оно страдает от памяти.

Старые дома тоже память. Но еще по инерции дикторы Всесоюзного радио продолжают говорить бодрыми голосами: «С каждым днем хорошеет и молодеет наша Москва». Будто мы не знаем, что молодеет она в основном с помощью бульдозеров.

Город, он чем старше выглядит, тем больше у него шансов понравиться. И пусть Москва смотрится на свои 800 с лишним, а древний Новгород — на свои 1100 и ни годом меньше.

Таганка, Пречистенка, Остоженка, Красные Ворота!.. Для кого-то это, может, и пустой звук, а для меня целый мир воспоминаний.

В 55-м автобусе мама везла меня из родильного дома.

В 10-м троллейбусе, глядя из окна, я научился читать по уличным надписям.

«Плиссе, гофре», «Рыба», «Не влезай, убьет!», «Ресторан», «Мест нет», «Покупайте крабы» — все это мой первый букварь.

А в 23-м трамвае в час «пик» я познакомился со своей будущей женой. Меня так прижали к ней, что как честный человек я вынужден был жениться.

И ничего, знаете, живем. И я надеюсь, доживем когда-нибудь до тех времен, когда, например, над окошечком кассы кинотеатра я увижу табличку: «Инвалиды застоя и участники перестройки обслуживаются вие очереди».

КОСАЯ ЛИНЕЙКА

Картину «Грачи прилетели» Саврасов писал быстро — боялся, что грачи улетят.

Когда семь богатырей разбудили Спящую красавицу и признались ей в любви, она сказала, что в гробу все это видела.

С приходом Пятницы у Робинзона появилось воскресенье.

У Наташи Ростовской с Андреем Болконским был роман — «Война и мир».

«Нос» Гоголя наполнен глубочайшим содержанием.

Вдруг Германн услышал скрип ресор. Это была старая графиня.

Князь принял русалку за девушку, потому что не видел ее ниже пояса.

Пока мушкетеры не привезли королеву подвески, она вешала на уши лапшу.

В сказке выведен образ Иванушки и образина Бабы Яги.

Из частной коллекции
К. Мелихана
(Ленинград).

Александр ПЕЛЕВИН

Урбаноид

Я невольный житель городской.
Город этот называется Москвой.
Я люблю ходить и нвлюждать —
Что словами можно передать...

Технозавры рвутся к небесам,
Технозавры бродят по полям,
Технозавры рыщут по лесам,
По морям, горам и городам...

Урбаноиды привыкли к чудесам —
К технозавровым железным телесам,
Ребрам, лбам, и спинам, и носам,
К технозавровым скрипучим голосам...

Глядя из урбанистический пейзаж,
Разве мысль словами передашь?
Только вижу, как от света фонаря
Все сильнее разгорается звря...

Письмо в редакцию

ВЕРНУТЬ ИМЯ «ПЫЛЕСОСУ»!

У писателя М. Зощенко есть пьеса «Парусиновый портфель».

Сатирик М. Жванецкий выходит на сцену с выдавшим виды кожаным портфелем.

И вот сравнительно недавно, 19 лет назад, появился третий портфель — на этот раз зеленый. Именно «Зеленым портфелем» называется раздел сатиры и юмора «Юности», долгое время с гордостью носивший имя «Пылесос». Переименование произошло в самый разгар так называемого периода застоя, или, как говорят в народе, стагнации, когда из «Слона» другого молодежного журнала — «Авроры» — сделали Комический вестник», отдел фельетонов ЛГ превратился в «Клуб 12 стульев», «Чудак» еженедельника «Литературная Россия» — в «Ревизора» и т. д.

Тогда же разрушалось дотла множество памятников сатиры неповторимой художественной ценности. Например, в журнале «Советский экран» была прикрыта «Киностудия «Парамон-фильм»; в одной из самых смелых школьных стенгазет был упразднен уголок юмора «Колочка» и т. п.

Все это были попытки негодными средствами предать забвению веселое прошлое народа, выкорчевать его из памяти.

Пора вернуть отделам сатиры их первородные имена! Их названия — это памятники литературы и культуры. И как бы «Юность» ни называла свой сатирический раздел, народ помнит, что в период с 1955 по 1970 год он носил славное имя «Пылесос». Три портфеля в истории сатиры — слишком жирно будет! Хватит с нас портфелей Зощенко и Жванецкого.

Некоторые консервативные ретрограды ссылаются на то, мол, де, обратное переименование обойдется очень дорого. Но судите сами, товарищи, — в слове «пылесос» семь букв, а в выражении «зеленый портфель» в два с лишним раза больше. Если при тираже 3 100 000 экземпляров начать печатать старое название, то на каждом номере можно сэкономить флакончик типографской краски. Так что же рентабельнее?!

Сейчас назрело время вернуться к прежнему названию, и сделать это нужно как можно быстрее. Пылесосы в продаже встречаются реже, чем раньше. Новые поколения молодежи вскоре перестанут понимать смысл и значение этого слова.

В. ЩЕПОТКИН, зоотехник совхоза имени Мариуполя.

Письмо из редакции

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ РОТАЦИЙ!

Нам понятна озабоченность нашего читателя. Тем более что в своем желании он далеко не одинок. Письма с наказом о возвращении «Зеленому портфелю» прежнего названия поступили к нам из Ворошиловграда, Кирова, Горького, Калинин и других населенных пунктов.

Однако мы по-прежнему придерживаемся той альтернативной части плюрализма, что переименование — дело трудное. Далеко ходить за примерами тут не надо. Достаточно вспомнить, сколько людей просили вернуть старые названия сотням московских улиц. И что же в результате? С грехом пополам некая комиссия переименовала три-четыре улицы и выдохлась. При нашем же журнале специальной независимой комиссии, которая занималась бы возвращением прежних названий, нет и в помине. А уповать только на усилия редакции по меньшей мере наивно. Мы не дети, чтобы работать без спонсоров!

Да и вообще к чему производить ротацию названий? Слава богу, в санкционированном наименовании нашего отдела сатиры и юмора нет имени какого-нибудь вождя. Если бы он назывался, скажем, «Сусловский портфель» или «Уголок Жданова», тогда другое дело. А ведь человека с фамилией Портфель в нашем правительстве отродясь не было.

Поэтому нечего затевать тут форменный импичмент. И не надо плакаться о том, что из продажи исчезли пылесосы. Скажите спасибо, что есть портфели.

В НОМЕРЕ:

Проза

Сергей ДЫШЕВ. Да воздастся... По-
весть (2)

Наследие

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоми-
нания. Продолжение (24)

Анатолий КЛЕЩЕНКО. Стихотворения
(62)

Юрий БЕЛАШ. Стихотворения (64)

Поэзия

Валентин БЕРЕСТОВ (21), Кирилл КО-
ВАЛЬДЖИ (22), Ивня ГОФФ (48),
Марк КАБАКОВ (61), Ноина СЛЕПА-
КОВА (67), Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ
(75), Владимир БОГАТЫРЬ (87).

Публицистика

Рой МЕДВЕДЕВ. Они окружали Стали-
на. Глава четвертая: Красный маршал
Ворошилов (52)

20-я комината. Заседание двадцать ше-
стое (68)

Владимир КАЛИНИЧЕНКО. «Точка
отталкивания» — I. Окончание (71)

Критика

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ. «Ты
один мне надежда и опора...» (49)

Культура и искусство

Игорь ОБРОСОВ. «Край родной долго-
терпенья...» (65)

Наша публикация

Аркадий АВЕРЧЕНКО. Дюжина ножей
в спину революции. Предисловие
В. И. Ленина (76)

Наука и техника

Иваи КУНИЦЫН, Алексей НИКОЛА-
ЕВ. Недоумие или преступление? (88)
Кто обуздает мирный атом? Интервью
с В. Кизяковским (92)

Почта «Юности»

А. ВЕСНИН. Выполняя приказ (70)

Зеленый портфель

Лев НОВОЖЕНОВ. Монолог оптимиста
(95). Косая линейка (95).

Александр ПЕЛЕВИН. Урбаноид (96).

Рукописи объемом менее авторского листа не
возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака в эк-
земплярах журнала обращаться в издатель-
ство «Правда» по адресу: 125865, Москва,
А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление обложки М. Волковой
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цивилевский
Технический редактор О. Трененок.

Сдано в набор 19.05.89. Подв. к печ. 04.07.89. А 01596.
Формат 84×60%. Бумага офсетная. Печать офсет-
ная. Усл. печ. л. 11,68. Усл. кр.-отт. 19,53.
Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 709. Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1. Тел. для справок 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1989 г.

На стендах «ЮНОСТИ»

Геннадий
ЖИВОТОВ
Москва.



«Играют мальчики в войну»

«Дорога»



АНОНС

Юность. 1989. № 8, 1—96
Индекс 71120
70 коп.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В 12-м номере за 1987 г.
редакция «Юности», обращаясь к художникам,
объявила конкурс
на лучшее оформление обложки
нашего журнала.

Жюри конкурса рассмотрело большое количество
присланных эскизов и оригиналов.

Мы благодарим всех участников конкурса.

К сожалению, жюри отметило
преимущественно непрофессиональный
характер предложений читателей.

Жюри постановило не присуждать
три первые премии конкурса.

Мы публикуем один из лучших,
на наш взгляд, оригиналов —
молодой художницы из Ленинграда
Марины Волковой.

Хотя конкурс закрыт, отдел оформления
«Юности» будет рад новым предложениям.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

